Даниель Дефо

История полковника Джека

ИСТОРИЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОЙ, ПОЛНОЙ БУРНЫХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ, ЖИЗНИ ВЫСОКОЧТИМОГО ПОЛКОВНИКА ЖАКА, В ПРОСТОРЕЧЬЕ ИМЕНУЕМОГО ПОЛКОВНИКОМ ДЖЕКОМ, УРОЖДЕННОГО ДВОРЯНИНА, ОТДАННОГО В УЧЕНИКИ К КАРМАННОМУ ВОРУ, ПРОЦВЕТАВШЕГО НА ПОПРИЩЕ ВОРОВСТВА ЦЕЛЫХ ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ ЛЕТ, НАСИЛЬНО УВЕЗЕННОГО В ВИРГИНИЮ, ОТКУДА ОН ВЕРНУЛСЯ КУПЦОМ; ПЯТЬ РАЗ БЫЛ ЖЕНАТ НА ЧЕТЫРЕХ ШЛЮХАХ, УЧАСТВОВАЛ В ВОЙНАХ, ВЫКАЗАЛ ОТВАГУ, БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН В ПОЛКОВНИКИ, ВОЗВРАТИЛСЯ В АНГЛИЮ, УДОСТОИЛСЯ ЧЕСТИ ИМЕНОВАТЬСЯ КАВАЛЕРОМ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГА, БЫЛ СХВАЧЕН ВО ВРЕМЯ ПРЕСТОНСКОГО ВОССТАНИЯ, ПОМИЛОВАН ПОКОЙНЫМ КОРОЛЕМ, ОСТАЕТСЯ И ПОНЫНЕ КОМАНДИРОМ СВОЕГО ПОЛКА, СРАЖАЮЩЕГОСЯ В ЦАРИЦЫНЫХ ВОЙСКАХ ПРОТИВ ТУРОК, И ЗАВЕРШАЕТ СВОЮ УДИВИТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ, РАССЧИТЫВАЯ УМЕРЕТЬ ГЕНЕРАЛОМ. НАПИСАНА АВТОРОМ РОБИНЗОНА КРУЗО.

Предисловие

Подобного рода книги принято начинать с предисловия, дабы, выпуская их в свет, заранее расписать все их достоинства, так что опубликование сего сочинения без подобного начала могло бы показаться великой самонадеянностью. И все же осмелюсь заметить, эта добрая услуга необходима ему не более, чем прочим произведениям, публиковавшимся ранее. Все, что может доставить в нем удовольствие или вызвать восхищение, постоит само за себя, полезное же и поучительное настолько существенно в нем, так ясно имеет целью исправлять нравы и воспитывать ум, что потребовался бы отдельный том, ничуть не меньший по объему, чтобы изложить обстоятельно все наставления, какие можно почерпнуть из данного труда.

Здесь же уместно лишь поделиться обилием точных наблюдений, говорящих в пользу разумного воспитания[1], отсутствие или недостаток коего повлекли на гибель тысячи и тысячи наших соотечественников; следует, кроме того, отметить, что не мешало бы серьезно усовершенствовать школы и приюты для малолетних, дабы уберечь несчастных детей, из которых многие что ни год попадают в нашем городе в руки палача, от губительного влияния.

Горестное положение детей, чья натура мягка как воск и тяготеет более к воспитанию добра, чем зла, поистине достойно сожаления, в чем со всей очевидностью можно убедиться хотя бы на истории детства моего героя; обстоятельства жизни вынудили его стать вором, и все же он чудом сумел сохранить врожденную честность, которая с малолетства внушила ему отвращение к самой темной стороне его ремесла, а в конце концов заставила и вовсе от него отречься. Если бы с юных лет у него было преимущество в виде добродетельного воспитания и он бы знал, как совершенствовать заложенные в нем благородные свойства, каким бы прекрасным человеком и добрым христианином он мог бы стать!

Читателя ждет усладительная прогулка по пестрому полю жизни моего героя, полной самых неожиданных поворотов изменчивой фортуны; пред ним откроется сад, где он может рвать полные целебных соков плоды и не найдет ни одного пагубного и ядовитого, где он узрит саму Добродетель и все пути Мудрости, повсюду встречающей одобрение, почет, поддержку и награду; где Пороку и Расточительности сопутствует Несчастье и Горе, где Грех и Стыд идут рука об руку, Обидчик встречается лицом к лицу с Укором и Презрением, а Преступления — с Ненавистью и Карой.

Человека испорченного наш рассказ поощрит к исправлению, и всякий сможет убедиться, что единственно добродетельным завершением нечестивой, беспутной жизни является Раскаяние, в котором грешник находит Мир, Покой, а часто и Надежду, что покаяние щедро искупает все грехи, и, значит, конец дней его может сделаться лучше, нежели начало.

Произведение, написанное со столь похвальными намерениями и призванное способствовать столь полезным целям, кои перечислялись выше, не требует зашиты. К тому же читателю безразлично, изложены в нем достоверные факты или нет и собирался ли его герой преподнести нам историю, хоть в какой-то мере нравоучительную. В любом случае оно послужит поруганию Греха и восхвалению Добродетели.

* * *

Полагая жизнь свою игрушкою в руках изменчивой природы и имея возможность оглянуться на нее с более безопасного расстояния, чем бывает доступно человеку того круга, к коему я принадлежал когда-то, я рассчитываю, что история моя займет достойное место рядом с теми, какие, по моему наблюдению, читаются в наши дни с немалым удовольствием, хотя в них и нет той развлекательности и поучительности, каковую, я надеюсь, можно найти в моей.

Я мог бы похвастать не менее благородным происхождением, чем иные прочие, поскольку матушка моя была принята в хорошем обществе, да только это относится уже к ее истории, а не к моей; все, что я знаю об этом, я почерпнул из рассказов моей кормилицы, она-то и поведала мне, что матушка моя была дворянского роду, что отец мой тоже был из господ и что она, моя кормилица, получила от него хороший куш за то, что, приютив меня, развязала ему руки и освободила его и мою мать от всех неприятностей, связанных с тяжкой мукой растить ребенка, пряча его от чужих глаз и ушей.

Судя по всему, отец мой, по просьбе матушки, прибавил еще кое-что моей кормилице сверх уговора, взяв с нее торжественную клятву, что она будет со мной хорошо обращаться, отдаст меня в школу, и наказал ей, если я доживу до того возраста, когда уже кое-что начинают смыслить, внушить мне, что я дворянин. Вот, собственно, и все, что он ждал от нее как от воспитательницы, ибо, сказал он, у него нет сомнений, что придет время и тогда довольно будет легкого толчка, чтобы мысли мои оказались достойны моего происхождения, а поступки отличали бы во мне истинного дворянина, стоит мне только вспомнить, что я таковым и являюсь.

Но все это было только началом моих несчастий, которые на том не кончились; невезенье редко посещает нас лишь на один день: подобно тому как все великое по ступенькам величия возносится на вершину славы, чтобы блистать там во всей красе, так все ничтожное по цепочке несчастий скатывается в бездну и терзается там, мучимое бедственными обстоятельствами, пока судьба не сжалится, если только ей будет это угодно, и не подаст надежды на избавление.

Моя кормилица относилась к взятым на себя обязанностям со всем тщанием, какое только можно было ожидать от особы, живущей подобного рода поручениями, ибо она с великим усердием воспитывала меня вместе с родным своим сыном и еще с одним сыном греха, вроде меня, которого она взяла на тех же условиях.

Меня звали Джон, как она сообщила мне; какова же была моя фамилия, не знали ни она, ни я, таким образом, мне оставалось называть себя мистер Кто Угодно, в зависимости от обстоятельств.

Случилось так, что ее собственного сына (а у нее был мальчонка, примерно годом старше меня) звали тоже Джон, а двумя годами позднее она взяла, как я уже говорил, на воспитание еще одно дитя греха, и его звали тоже Джон.

А поскольку все мы были Джонами, нас всех стали звать Джеками, ибо в той части города, где мы росли и воспитывались, а именно возле Гудменс-Филдз[2], всех Джонов принято было звать Джеками; однако моей кормилице вполне естественно хотелось как-то отличить свое

родное дитя от остальных, и она стала звать его капитаном, потому что он и в самом деле был старшим среди нас.

Я досадовал, что мне велели называть этого мальчишку капитаном, и плакал и упрашивал кормилицу звать капитаном меня; ведь она же сама твердила мне, что я дворянин, а стало быть, кого и звать капитаном, как не меня. И добрая женщина, чтобы сохранить мир в доме, соглашалась: ну да, конечно, я дворянин, а значит, я должен быть выше капитана, то есть по меньшей мере полковником, это же куда лучше капитана; голубчик, говорила она, да любой матрос с самого захудалого судна, стоит ему дослужиться до лейтенанта, глядишь, уже зовется капитаном, а полковники — те настоящие солдаты, да и произведены в полковники могут быть только дворяне; к тому же, уговаривала она, ей были известны случаи, когда полковники становились лордами и генералами, хотя и были незаконнорожденными, потому и мне следует зваться полковником.

Что ж, на время я успокоился, хотя и не очень был удовлетворен таким объяснением, правда только до тех пор, пока вскорости не услышал, как она внушает своему сыну, что он должен величать меня полковником, потому что я дворянин, а тот ударился в плач, почему не его будут звать полковником; этот случай доставил мне большое удовольствие, наконец-то я убедился, что быть полковником лучше, чем капитаном. До чего же честолюбие в природе человека, если даже в сердце какого-то жалкого мальчишки оно нашло себе уголок!

Так и звали нас: Полковник Джек и Капитан Джек, а что до третьего, то несколько лет он звался просто Джеком, пока не вырвался вперед благодаря своему происхождению, о чем вы узнаете в свое время.

Мы все трое подавали надежды, и так сложилась наша жизнь, что уже с малых лет уподобились мы настоящим мошенникам, хотя и не могу отрицать, что честная женщина, если считать, что я прав, веря в ее честность, делала все, от нее зависящее, чтобы предотвратить это.

Прежде чем углубляться в нашу историю, будет весьма кстати обрисовать хотя бы бегло характер каждого из нас, каковым он запечатлелся в моей душе с той поры, как я помню себя и своих братьев Джеков; постараюсь сделать это кратко и беспристрастно.

Капитан Джек, старший среди нас, был приземистым, плотным крепышом, обещавшим стать таким же плотным и невысоким мужчиной. Характер у него был скрытный, угрюмый, замкнутый, злобный, мстительный; к тому же он отличался тупой кровожадной жестокостью; по манерам это был просто извозчик, мужлан, деревенщина, смекалистый, как все уличные мальчишки, однако невежественный и тупой к ученью. Отчаянно смелый, но отнюдь не великодушный, по характеру он походил на бульдога; ни одной учительнице, которых мы посещали, не удалось заставить его взяться за ученье, — какое там, хоть бы научиться простой грамоте, и то нет; он словно уродился вором и, едва выучившись говорить, тащил что ни попадет под руку, и не только у своей матери, но у кого угодно, даже у нас, своих братьев и товарищей. Он был врожденным негодяем[3], потому что совершал самые гнусные и низкие поступки исключительно по склонности натуры своей; он не имел понятия о честности и не желал блюсти ее даже со своими собратьями-жуликами, что среди воров считается своего рода делом чести; я имею в виду соблюдение честности по отношению друг к другу.

Следующий, то есть младший из трех Джонов, звался Майор Джек, и вот по какому случаю: леди, которая сдала его нашей кормилице на попечение, открылась ей, что отец ребенка — гвардейский майор, чье имя она вынуждена хранить в тайне, и этого было достаточно. Поэтому сначала его и звали Майор Джон, потом просто Майором и, наконец, когда нам пришлось вместе скитаться по свету, — Майором Джеком, наподобие остальных, так как наречен он был Джоном, о чем я уже успел сообщить вам.

Майор Джек, весельчак и славный малый, от природы одаренный живым умом — как говорится, хватал все на лету, — был большой насмешник и мастер на всякие выдумки; к тому

же, как я не раз замечал, в нем всегда угадывался дворянин; он обладал истинным мужеством, не боялся решительно ничего и мог смотреть смерти в лицо без содрогания; и вместе с тем он был самым великодушным и чувствительным существом на свете; ему от рождения была свойственна благородная отвага, ничего общего не имевшая, однако, с отвратительной жестокостью Капитана; одним словом, чтобы считаться совершенством, ему недоставало лишь честности. Подобно мне, он научился читать, умел складно говорить и писал очень толково, на редкость изящным слогом, в чем вы сами сможете убедиться, читая мой рассказ.

Что же касается вашего покорного слуги, Полковника Джека, он был бедным, несчастным, смирным псом, исполненным рвения научиться всему на свете от любого учителя, кроме разве самого дьявола. Он был выброшен в жизнь так рано, что, ступая на стезю греха, не понимал еще ни всей безнравственности его, ни грядущей вослед расплаты. Прекрасно помню, как, представ однажды перед судом за кражу, которой на самом деле не совершал, я пытался защитить себя, объясняя и доказывая, что мои обвинители заблуждаются и противоречат сами себе, и тогда судья сказал мне, как жаль, что я не нашел лучшего применения своим способностям, ибо, по всему видно, учили-то меня добру; однако его честь ошибался: ничему меня никогда не учили, кроме как воровать да еще, как я уже сказал, читать и писать, вот и вся моя наука за десять лет жизни. Но язык у меня был хорошо подвешен, и говорил я не хуже иных недоучек.

Среди товарищей моих слыл я парнем храбрым, решительным и отчаянным забиякой; однако сам я был о себе иного мнения и всячески избегал драк, хотя иногда все же в них ввязывался, а поскольку был я крепок и к тому же отличался проворством, победа всегда оставалась за мной. Однако, если кулаки не помогали, частенько меня выручал мой язык, не только когда я был мальчишкой, но и позже, когда стал уже взрослым мужчиной.

В нашем деле я был осмотрителен и ловок и попадался реже моих коллег-жуликов, даже в годы детства, а уж взрослым и вовсе никогда, ни единого разу за все двадцать шесть лет — вот сколько времени отдал я нашему делу, — а с виселицей так и не свел знакомства, а как мне это удалось, вы еще услышите.

Что до моего вида, то, поскольку я спал в угольной яме при стекольном заводе и вечно околачивался на грязной улице, то и выглядел я соответственно, как, впрочем, все мы, другого ждать от нас и не приходилось, — вылитый «Чистим-ваксим, ваша честь!» — попрошайка, жулик, что хотите, самая презренная и разнесчастная тварь; и все же, помню, иногда люди говорили обо мне: «Какое хорошее у мальчишки лицо, если бы его умыть да одеть получше, из него вышел бы ну просто славный мальчуган, только поглядите, какие у него глаза, какая приятная улыбка, вот жалость-то! Что только думают родители этого оборванца?» И они подзывали меня к себе и спрашивали, как меня зовут, а я отвечал, что меня зовут Джек. «Да нет, как твоя фамилия, плутишка?» — спрашивали они. «Не знаю», — отвечал я. «Ну, кто твои отец и мать?» — «Нет у меня отца и матери», — говорил я. «Но были когда-то?» — спрашивали они. «Нет, — отвечал я, — я никогда их не знал». Тогда они качали головой и восклицали: «Бедный мальчонка! Вот горе-то!» И тому подобное… И отпускали меня. Однако подобные разговоры западали мне в душу.

Мне было почти десять, Капитану одиннадцать, а Майору около восьми лет, когда умерла моя добрая кормилица. Ее муж был моряком еще во времена Карла II[4] и утонул незадолго до того, плывя на королевском фрегате «Глостер», который потерпел кораблекрушение по пути в Шотландию с герцогом Йорским[5] на борту, поэтому честная женщина умирала в великой бедности, и хоронить ее пришлось приходу, а мы, все три Джека, провожали ее тело; я, то есть Полковник (всю нашу троицу принимали за ее детей), возглавлял траурное шествие, а старший сын, Капитан, горевавший больше всех, его замыкал.

После смерти кормилицы наша тройка — три Джека — оказалась брошенной на волю судьбы; но так как приход взял нас на попечение, мы ни о чем особенно не беспокоились, всюду бродили втроем, и все, кто жил на Розмэри-Лейн, на Рэтклиф-Хайуэй[6] и по соседству,

знали нас прекрасно, а потому с едой у нас хлопот особых не было, даже попрошайничать не приходилось.

Что же касается меня, то я даже завоевал репутацию на редкость воспитанного и честного мальчика: когда меня посылали с каким-нибудь поручением, я выполнял его всегда старательно и точно, о чем тут же спешил сообщить, а если мне что доверяли, я никогда ничего не трогал, не запускал руку в чужое добро. Напротив, делом моей чести было доставить все, что бы меня ни просили передать, в целости и сохранности, хотя в других случаях я был таким же отпетым воришкой, как и мои собратья.

К примеру, владельцы лавочек, что победнее, часто просили меня посидеть у дверей постеречь их добро, пока они поднимутся к себе пообедать или перейдут через улицу в какое-нибудь питейное заведение, и я делал это для них всегда охотно и с радостью, соблюдая при этом отменную честность.

В отличие от нас Капитан Джек хранил всегда угрюмый, злобный вид, от него нечего было ждать ни доброго слова, ни приветливого обращения; на вопросы он отвечал только «да» или «нет» и услужливостью отнюдь не отличался; если его посылали с поручением, он половину позабывал или же по дороге мог заиграться с мальчишками и тогда вовсе не вспоминал о поручении или не давал себе труда вернуться с ответом; он выказывал такое небрежение и нелюбезность, что ни у кого не находилось для него доброго слова, и все говорили, что он законченный мошенник и угодит когда-нибудь на виселицу. Одним словом, он ни от кого не получал доброхотных даяний и, чтобы раздобывать себе хлеб насущный, был вынужден заделаться вором, ибо обращался он к людям за помощью таким дерзким тоном, точно требовал, а не просил, и один человек, от которого Джек кое-что получил и знавший его хорошо, сказал ему как-то: «Капитан Джек, — сказал он, — уж коли ты мальчишкой не умеешь просить по-хорошему, а прямо с ножом к горлу лезешь, уж боюсь, ставши взрослым, ты приспособишься требовать у людей не пенни, а весь кошелек».

Майор, беззаботный легкомысленный мальчишка, всегда веселый, независимо от того, голоден он или нет, никогда не жаловался ни на что и так зарекомендовал себя отменным своим поведением, что все соседи души в нем не чаяли, и потому уж чего-чего, а еды ему всегда хватало. Так мы и перебивались; чтоб не умереть с голоду, нам, детям, требовалось немного, а что до жилья, то летом мы спали где-нибудь поближе к сторожевым будкам или на крыше, а то и под дверью чьей-нибудь лавки, если хозяин знал нас, — про кровать, с тех пор как скончалась наша кормилица, мы и думать забыли, — зимою же забирались в угольные ямы или устраивались под сводом стеклодувной печи на стекольном заводе на Розмэри-Лейн, который назывался Дэллоуский стекольный завод, а иногда на другом стекольном заводе на Рэтклиф-Хайуэй.

Такую жизнь мы вели несколько лет и мало-помалу не могли не втянуться в шайку воришек, голых и босых, вроде нас самих, уже в столь нежном возрасте коварных, как истинные ученики дьявола, а с годами созревших для любых скверных дел.

Помню, как однажды холодной зимней ночью наш сон нарушили констебль со своим дозором, они требовали некоего Вертишейку, который, видимо, совершил какую-то кражу, и за ним выслали погоню, а властям было известно, что искать его надо среди юных бродяжек под печной дугой на стекольном заводе.

Посреди ночи нас разбудил шум и крики: «А ну, вылезайте, дьявольское отродье! Выходи на свет!» Вызвали нас, стало быть, наверх, одни вылезали сами, протирая глаза и скребя затылки, других выволакивали силой, всего человек семнадцать, однако Вертишейки среди нас не оказалось; наверное, речь шла о здоровенном детине, который частенько разделял с нами ночлег; он был замешан в краже, совершенной прошлой ночью, о чем сообщил его же товарищ, который попался и, в надежде избежать наказания, выдал его и донес, где тот ночует; однако тот, видимо, был предупрежден и скрылся, по крайней мере, на время; итак, нам разрешили

вернуться в наши апартаменты под укрытие теплой золы, где я провел немало студеных зимних ночей. Какое там ночей — много зим подряд. И спалось там так крепко, так уютно, как потом и на пуховых перинах никогда не спалось.

Такую жизнь мы вели довольно долго, пожалуй, года два, и ни о чем дурном даже не помышляли. Обычно мы трое держались вместе, иначе Капитан со своим отталкивающим характером и неспособностью ладить с людьми помер бы с голоду без нашей поддержки. А поскольку мы всегда держались вместе, нас так и прозвали Три Джека; однако Полковник Джек во многом перед ними имел преимущество; как я уже говорил, Майор был малый веселый и общительный, но беседы с людьми почтенными, я имею в виду тех из них, которые снисходили до разговоров с нищим мальчишкой, обычно вел Полковник. Я любопытствовал обо всем на свете, расспрашивал о делах и государственных и частных, особенно же любил поговорить с матросами и солдатами о войне, о великих морских сражениях или битвах на суше, в которых они побывали, а так как я помнил все, что они мне рассказывали, то вскоре, ну, скажем, через несколько лет, я мог описать войну с голландцами или там морские бои, битву во Фландрии или взятие Маастрихта[7] и тому подобное не хуже самих очевидцев, и потому бывалые солдаты и моряки не прочь были потолковать со мной; от них я узнал разные истории, не только о современных войнах, но и о сражениях времен Оливера Кромвеля, и про смерть Карла I[8], и всякое прочее.

Вот каким манером я, еще совсем мальчишка, стал своего рода историком, и хотя я вовсе не читал книг, никогда даже таковых не имел, я обладал изрядными познаниями о делах минувших и давно прошедших, в первую очередь наших отечественных. Я знал название каждого корабля в нашем флоте и имя его командира, и все это еще до того, как мне исполнилось четырнадцать, или чуть позже.

Между тем Капитан Джек попал в дурную компанию и бросил нас; прошло немало времени, пока до нас дошли о нем какие-либо слухи и толки; лишь спустя примерно полгода я узнал, что он орудует в шайке киднэпперов, как тогда говорили, самых отъявленных негодяев, которые похищали детей, то есть хватали их под прикрытием темноты, затыкали им рты, относили в дома, где их уже поджидали другие мошенники, а потом переправляли на борт какого-нибудь судна, идущего в Виргинию, и продавали там в рабство.

Вот к этакому ремеслу наш Громила Джек, как я его стал звать, когда мы выросли, был как нельзя более годен, особенно если надо было применять силу; когда ребенок попадал в его лапы, он готов был заткнуть ему не только рот, но и глотку, ничуть не беспокоясь, что тот может задохнуться, только бы он не подымал шума. Кажется, именно в то время их шайка совершила одно гнусное дело: то ли придушила ребенка, попавшего к ним, то ли по-иному искалечила его, главное, что это оказался ребенок одного из именитых граждан, и отец каким-то образом напал на след; ребенка нашли, хотя и в прискорбном виде, еле живого; я был тогда еще слишком мал, да и случилось это много лет тому назад, так что подробностей истории я не помню, знаю только, что вся шайка была схвачена и отправлена в Ньюгетскую тюрьму[9], и Капитан Джек в том числе, хотя лет ему тогда было совсем немного, не более тринадцати.

Какое наказание положили этим негодяям, я сейчас не могу вам сказать, что же касается Капитана Джека, то, поскольку он был подростком, его решили трижды подвергнуть строгой порке в Брайдуэлле[10]; и то, как заявил лорд-мэр или, может, главный судья, ему еще смягчили наказание, а стоило его вздернуть; впрочем, они не преминули заметить, что если судить по виду, то виселица по нему уже плачет, и посоветовали учесть это на будущее; вот какова была внешность у Капитана, даже в отроческие годы; впрочем, ему не раз об этом говорили и после, по самым разным поводам. Я проведал о его беде, когда он сидел в Брайдуэлле, и вместе с Майором отправился навестить его.

В тот день, когда мы пришли к нему, его как раз вызвали для «исправления», как они это называли, а поскольку по приговору порка полагалась строгая, то согласно приказу и действовали; сам олдермен, он же начальник Брайдуэллской тюрьмы, звавшийся, как помнится

мне, сэром Уильямом Тернером, прочел ему целую проповедь о том, как он юн и сколь это горько, когда такой еще молодой человек, а уже заслужил виселицу, и дальше в том же духе, что все это должно служить ему грозным предупреждением, ибо красть бедных невинных детей — это злодейство и так далее и тому подобное; а тем временем человек с голубой кокардой нещадно сек его и не имел права остановиться, пока сэр Уильям не ударит своим молоточком по столу.

Бедняга Капитан и ногами бил, и дергался, и орал, как безумный; должен признаться, я был напуган до смерти, и хотя близко подойти не мог — никто бы не подпустил какого-то там мальчишку-оборванца — и сам не видел, как его отделывали, зато увидел потом спину, всю исполосованную плетьми, в нескольких местах даже до крови, и подумал, что не перенесу этого зрелища; однако позднее мне приходилось быть причастным подобным экзекуциям.

Я утешал бедного Капитана, как мог, всякий раз, как меня к нему пускали. Но худшее было у него впереди, ибо, прежде чем выйти на свободу, ему полагалось вытерпеть еще две таких порки; ох, и отделали же они его — так крепко, что надолго отбили у него всякую охоту похищать детей; но он все равно не порвал с киднэпперами и держался с ними до конца, пока несколько лет спустя не накрыли всю шайку.

Несмотря на то что Майор и я были еще совсем мальчишками, жестокая расправа с Капитаном произвела на нас заметное впечатление, можно даже сказать, что она послужила исправлению не только его, но и нас, непричастных к этому преступному делу. Однако не прошло и года, как Майор, отличавшийся легким, покладистым характером, поддался на уговоры двух воришек, из тех, что часто пользовались гостеприимством стекольного завода, и отправился с ними, как они выражались, на прогулку; компания подобралась отменная: Майору было около двенадцати, старшему из тех двоих, что увели его, не более четырнадцати; решено было идти на Варфоломеевскую ярмарку[11], а цель путешествия — если в двух словах — обчищать карманы.

Майор был новичком в этом деле, поэтому от него ничего и не ждали, но обещали равную долю, как если бы он был мастером не хуже их. Итак, они пустились в путь; парочка юных жуликов оказалась такой ловкой, что уже к восьми часам вечера все благополучно вернулись в свои пыльные апартаменты на стекольном заводе и, усевшись в уголку, в отблеске огня стеклодувных печей, принялись делить добычу. Майор выложил все добро, потому что, хотя шарили по карманам те двое, они тут же сбывали краденое с рук, передавая его Майору, так что, если бы их и поймали, все равно ничего бы не нашли.

День оказался для них чертовски удачным, точно сам дьявол подкидывал им богатую добычу на радостях, что ему удалось завлечь молодого игрока и поощрить его к действию, когда он уж было совсем отступился после несчастья с Капитаном. Список наворованного в первый вечер был таков.

I. Белый носовой платок деревенской девушки, засмотревшейся на сдобный пудинг; в нем было завязано три шиллинга шесть пенсов, да еще в один из углов платка было воткнуто несколько булавок.

II. Пестрый шейный платок из кармана у молодого деревенского парня, пока тот покупал апельсины.

III. Плетенный из тесьмы кошелек с одиннадцатью шиллингами и тремя пенсами да серебряным наперстком в придачу, вытащенный из кармана у молодой женщины как раз в ту минуту, когда какой-то молодой человек пытался завести с ней знакомство.

Примечание. Она тут же хватилась своего кошелька и, не видя вора, обвинила молодого человека, который только что заговаривал с нею, и подняла крик: «Держите вора!», так что бедняга попал в руки толпы, но, к счастью, его все знали на этой улице, и потому ему удалось выпутаться, хотя и с большим трудом.

IV. Нож с вилкой, только что купленные двумя мальчуганами, которые собирались уже идти с покупкой домой; воришка стянул их через секунду после того, как один из мальчуганов опустил их к себе в карман.

V. Серебряная коробочка с семью шиллингами серебряными монетками по одному пенни, по два, три и четыре песа.

Примечание. Судя по всему, какая-то служанка вынула ее из кармана, чтобы заплатить за вход в балаган на представление, и маленькому воришке удалось запустить туда руку в тот самый миг, когда она положила коробочку обратно.

VI. Еще один носовой платок, шелковый, из кармана у джентльмена.

VII. Еще платок.

VIII. Кукла на пружинах и ручное зеркальце, украденные на ярмарке с прилавка торговца игрушками.

Принести домой такую добычу, полученную всего за один день, точнее, даже за один вечер, для двух малолетних воришек, скажу вам честно, дело просто невероятное; с этого дня Майор весьма высоко поднялся в глазах своих дружков.

Рано утром он пришел прямо ко мне, я спал неподалеку от него, и сказал: «Полковник Джек, мне надо с тобой поговорить». — «Да, — сказал я, — а в чем дело»? — «Дело серьезное, — сказал он, — здесь я не могу разговаривать». Мы вышли. Как только мы очутились в узком проходе рядом со стекольным заводом, он и говорит: «Смотри!» — протягивает мне ладонь, а на ней полная горсть монет.

Увидев их, я очень удивился, а он их спрятал, потом снова показал и говорит мне, что часть денег моя, и дает шестипенсовик и мелкое серебро, всего на шиллинг. Мне это было особенно приятно, так как, хотя я и родился дворянином и всегда помнил об этом, все же ни разу в жизни не располагал я сразу целым шиллингом, который мог бы назвать своим.

Я настойчиво расспрашивал, откуда у него такое богатство; оказалось, что его доля составляет семь шиллингов шесть пенсов, не считая серебряного наперстка и шелкового платка, что, право же, было для него целым состоянием, ибо у него, как и у меня, в жизни не водилось даже шиллинга.

«Что ты с ними собираешься делать, Джек?» — спросил я. «Перво-наперво, — говорит он, — пойду в Ветошный ряд и куплю себе пару башмаков и чулки». — «Дело, — говорю я, — пожалуй, я тоже». И мы с ним отправились в Ветошный ряд и купили там каждый по паре чулок за пять пенсов, не пять за пару, а пять за обе; и хороши же были чулочки, куда лучше остальной нашей одежды, это уж точно.

Подходящие башмаки найти оказалось много труднее; наконец, потратив на поиски уйму времени, мы набрели на лавку с большим выбором и купили там две пары за шестнадцать пенсов.

Мы тут же надели их и испытали истинное удовольствие, ибо давно уже не было у нас целых башмаков и чулок в придачу. Надев пару теплых чулок и недраные башмаки, я почувствовал себя как бы обновленным; повторяю, ничего подобного я не испытывал уже очень давно, и снова мне на ум пришло мое дворянское происхождение, и я подумал, что вот оно наконец начинает показывать себя; после того как мы приоделись, я сказал: «Послушай, Майор Джек, ведь у нас никогда в жизни не было ни гроша, ни разу в жизни мы толком не пообедали, а что, если нам пойти да поесть где-нибудь? Я голоден как волк».

«Что ж, возьмем да пойдем, — сказал Майор, — я сам голоден как волк». И мы отправились в настоящую харчевню на Розмэри-Лейн, где угостились на славу; про себя я даже подумал, вот это жизнь, достойная дворянина. Мы взяли на три пенса вареной говядины,

двухпенсовый пудинг, хлебец за пенни (или булку, как еще говорят) да вдобавок пинту крепкого пива, итого на шесть пенсов.

Примечание. Сверх того каждый из нас еще выпил изрядное количество восхитительного мясного бульона; но более всего порадовало меня за обедом то, что служанка и мальчик, прислуживавшие в этом заведении, проходя мимо открытого кабинета, где мы сидели, каждый раз заглядывали к нам и спрашивали: «Вы звали, господа?» — или: «Господа, вы звали?» Для меня это было дороже самого обеда.

Ни один добрый домохозяин во всем нашем приходе Степни, ни сам лорд-мэр Лондона, ни величайший из людей на земле не испытал, даже в воображении своем, столь чистого и полного блаженства, как я от свалившейся на меня вдруг удачи, хотя на мою долю выпала лишь малая толика ее по сравнению с Майором Джеком, который обладал теперь целым состоянием, и все же сам я тоже получил целое состояние по сравнению с тем, что было у меня прежде. Одним словом, ничто не дарует такого счастья, как полное неведение о еще больших благах, так что, хотя из всей добычи мне перепало каких-нибудь жалких восемнадцать пенсов, я был до крайности доволен и этим.

В эту ночь Майор и я, насладившись нашим первым успехом, спали спокойно, не потревоженные никем, на нашем обычном месте, согреваемые теплом от стеклодувных печей, расположенных над нами, что сполна вознаграждало нас за угольную пыль и золу, в которых мы валялись.

Кто знаком с устройством стекольных заводов и с печами, где производят отжиг уже изготовленных бутылок, знают, куда сбрасывают золу и шлак, вот там-то и спит бедная ребятня — в проемах кирпичной кладки, очень узких и расширяющихся только при входе; в них всегда тепло, словно в предбаннике, холод туда не проникает, будь то в Гренландии или на Новой Земле, поэтому мальчишкам там спать и безопасно, и очень уютно, если не считать, что все они перемазываются золой, но, впрочем, им до этого горя мало.

На другой день Майор со своими приятелями опять ходили в поход, с еще большим успехом; беда обходила их стороной и довольно долго, во всяком случае, не один месяц. Майор Джек так усердно старался следовать всем их наставлениям, что заделался не менее искусным карманником, чем они, и долго играл с судьбой, слишком даже долго, чтобы здесь останавливаться на этом, поскольку я спешу поведать вам мою собственную историю, что является главной целью повествования.

Майор дня не пропускал, чтобы не поделиться со мной своими новыми успехами, и был так щедр, что частенько подбрасывал мне шестипенсовик, а случалось, и шиллинг; и я стал замечать, что он уже начал одеваться как подобает владельцу приличной квартиры (описание которой, если позволите, я дам в другом месте), более того, он даже завел себе рубашку, чего ни он, ни я не позволяли себе вот уже три года.

Однако во все это время я не мог не заметить, что, хотя Майор Джек преуспевал и дела его процветали и по доброте своей и великодушию он давал мне при случае денег, все же, несмотря на это, он ни разу не пригласил меня в свою компанию и не предложил вступить с ним в дело, что составило бы и мое счастье, не тут-то было, он даже не посвящал меня в него.

Признаться, меня немного обижала такая скрытность, я уже знал, что их занятие — обчищать чужие карманы, и был уверен, что успеха в этом деле можно добиться, если у тебя легкая рука, достаточно ловкости и смекалки, а всему прочему не так уж трудно выучиться. И как подумаешь, сколько удобных случаев представляется им на каждом шагу, ибо все деревенские, приезжающие в Лондон, до того глупы, такие все разини, только знай себе по сторонам глазеют, так что никакого риску, как мне казалось, в этом промысле не было, да и постигнуть его не так уж трудно, усвой я хотя бы главные приемы и как их применять.

Лукавый дьявол, который никогда не дремлет и готов воспользоваться любым поводом, чтобы соблазнить верных слуг своих, отмел все затруднения на моем пути и свел меня близко

с одним из искуснейших щипачей, то есть карманников города: вот как возникла наша с ним дружба, а поскольку во мне ничуть не менее, чем в прочих его дружках, замечалась порочная склонность к воровству, то еще моему наставнику приходилось заботиться, как бы не разочаровать меня.

Он был на голову выше тех юнцов, что воровали на Варфоломеевской ярмарке всякую мелочишку, пустяки разные и рисковали угодить в руки властей за каких-нибудь три или четыре шиллинга, тогда как он зарился на большее, уж во всяком случае, на кругленькую сумму денег или векселя.

Он сам настоял, чтобы я вышел с ним «прогуляться», и добавил, что, как только меня немножко поднатаскает, я начну работать на собственный страх и риск, — иными словами, он мне только поможет освоиться, а дальше, если мне будет угодно, я смогу уже действовать сам по себе, а ему останется лишь пожелать мне удачи.

Все было точно, как с Майором Джеком, который отправился со своим наставником, чтобы поучиться у него приемам и прятать краденое, но все равно получил свою долю, так и со мной: если ему повезет, сказал он, я все равно получу свою долю, как если бы я был равным участником в этом деле; таков их обычай, заверил он меня, для того чтобы поощрять юных новичков, которым следует действовать безо всякого страха с самого начала, ибо в этом деле успех ожидает только того, у кого сердце льва.

Я долго колебался, меня пугал риск, я даже рассказал ему историю Капитана Джека, моего старшего брата, если его можно так назвать. «Э-ге, Полковник, — сказал он мне, — да ты, я вижу, малость трусоват, а трусам в воровском цехе не место, нет, только отвага помощница в нашем деле. А и то сказать, пусть тебе оно и не подойдет, все одно риску тут нет никакого, потому как, если меня схватят, — сказал он, — тебя все равно отпустят, раз ты тут ни при чем, а доказывать это проще простого: раз виноват я, значит, не ты это сделал».

Поддавшись на уговоры, я наконец отважился выйти с ним; вскоре я убедился, что мой новый друг был вором самого высокого класса, просто-таки выдающимся карманником, и метил куда выше моего братца Джека; он был много крупнее меня: хотя мне к тому времени исполнилось уже почти пятнадцать, но для своего возраста я был мелковат, а что до нового ремесла, тут я оказался простофилей; только значительно позже я узнал то, чего не знал с самого начала, и понял, что занятие это преступно. Раньше я полагал воровство обычным делом, которому и собирался выучиться; конечно, я был тогда еще несведущ в законах гражданских и слишком юн годами, но я и потом долго считал, что за такие дела, как воровство, полагается только крепкая накачка или взбучка, у нас это называлось «штаны спустить», а нам и не жаль было, все равно одно рванье носили; и я только много лет спустя узнал, что воровство считается уголовным преступлением, за которое нас могли отправить в Ньюгетскую тюрьму, и узнал это, когда одного взрослого парня, почти уже мужчину, из нашей компании за это вздернули, вот тогда я сильно напугался, но об этом вы еще услышите.

Итак, поддавшись на уговоры моего старшего друга, я пошел с ним — бедный, невинный ребенок (я как сейчас помню все, о чем я думал тогда), без всяких дурных наклонностей, в жизни не укравший ни гроша; когда ювелир оставлял меня в своей лавке присмотреть за грудами денег, рассыпанных перед самым моим носом, я до них и не дотрагивался — вот ведь до чего доходила моя честность; и все же коварный искуситель поймал меня на свой крючок, так как я был совсем еще дитя и по-детски даже в мыслях не имел, что шарить по чужим карманам — нечестно, напротив, как я уже сказал, я полагал это своего рода ремеслом, которому не мешает поучиться, но, занявшись им, я так увяз в этой трясине, что отступать было поздно. Вот так я и сделался вором помимо моей воли и преуспел в этом, как мало кто из моих собратьев, избежав общей участи людей нашей профессии: я имею в виду галеры или виселицу.

В первый же день, что я решился выйти с моим учителем, он повел меня прямо в город; когда мы спустились к реке, он зашел со мной в Длинный зал таможни; выглядели мы настоящими оборванцами, особенно я. Мой вожатый был все-таки в шляпе, в рубашке и даже с шейным платком; у меня же не было ни одного из этих трех украшений с тех самых пор, как умерла моя кормилица, а случилось это уже несколько лет назад, не такую жизнь я вел, чтобы прикрывать голову шляпой. Он велел мне держаться невдалеке у него на виду, но не вовсе рядом и словно бы не замечать его, пока он сам не подойдет ко мне, а если случится переполох, вести себя так, будто я его не знаю.

Я сделал все, как он приказал, а он тем временем совал свой нос во все углы и внимательно оглядывал каждого; я не спускал с него глаз, но держался все время на расстоянии, у противоположной стены зала, делая вид, что выискиваю на грязном полу булавки, а когда и в самом деле находил их, то подбирал и втыкал себе в рукав, так что понемногу у меня набралось не менее сорока — пятидесяти вполне годных булавок; однако своего компаньона я из виду не терял и видел, как он сновал туда-сюда в толпе людей, проходивших таможенный досмотр и разговаривавших с чиновниками.

Но вот наконец он подходит ко мне, наклоняется, словно чтобы поднять с полу рядом со мной булавку, и сует что-то мне в руку, бросив при этом: «Прячь и беги за мной вниз по лестнице, живо!» Сам он не побежал, а смешался с толпой и спустился вниз не главной лестницей, по которой мы поднимались, а маленькой узкой лестничкой в другом конце зала; я следовал за ним, он это заметил и продолжал свой путь, не остановившись даже внизу, как я рассчитывал, не сказав мне ни слова, пока через бесчисленные узкие улочки, проходы и темные закоулки мы не добрались до Фенчюрч-стрит, а оттуда через Биллитер-Лейн на Лиденхолл-стрит и дальше к Лиденхоллскому рынку.

То был день поста, и потому мы устроились на одном из прилавков рыночных мясников, и тут только он велел мне вытащить то, что я спрятал; это оказался небольшой кожаный бумажник, внутри которого был вклеен французский календарь и хранилась уйма всяких бумаг.

Мы просмотрели их и обнаружили несколько денежных документов, в том числе векселей и разных расписок; толку в них я не знал никакого, однако среди прочих я увидел вексель на имя ювелира от некоего сэра Стивена Ивенса на выплату, как объяснил мне мой друг, трехсот фунтов по предъявлении векселя, а кроме него, еще расписку на двенадцать фунтов десять шиллингов, тоже на имя ювелира, только не помню от кого; еще были там один-два векселя на французском, но мы оба не могли их прочесть, по-видимому, довольно крупные, поскольку на них стояло: «Иностранные векселя, акцептованные».

Мой учитель прекрасно разобрался, что причитается по векселям, выданным на имя ювелира, я наблюдал за ним, когда он читал расписку сэра Стивена; он решил, что этот вексель слишком крупный, чтобы путаться с ним, а когда дошел до расписки на двенадцать фунтов десять шиллингов, сказал: «Вот этот сойдет, пошли, Джек!» И тут же пустился бегом на Ломбард-стрит[12], а я за ним, засовывая на ходу остальные бумаги в бумажник; по дороге он первым делом выяснил имя владельца расписки и тогда уже направился прямо в ювелирную лавку, напустил на себя степенности и получил там деньги безо всякой задержки и без единого вопроса. Я стоял на противоположной стороне улицы, выполняя роль зеваки; однако я заметил, что, предъявляя вексель, он достал и бумажник, как будто он слуга купца, посвященный во все его дела, а потому имеет при себе все прочие его бумаги.

Ему выплатили золотом, он поспешил пересчитать все и убраться восвояси; перейдя улицу, он прошмыгнул мимо меня и направился в переулок, носивший название Двор Трех Королей; потом мы вместе пересекли улицу в обратном направлении и через Клемент-Лейн поспешили к Капустной гавани и там наняли за пенни лодочника, чтобы он переправил нас через реку прямо к собору Сент-Мэри-Овери[13], где мы высадились и почувствовали себя в полной безопасности.

Тут он оборачивается ко мне и говорит: «Счастливчик ты, Полковник Джек, хорошее дельце мы обделали, пойдем-ка с тобой сейчас к Сент-Джордж-Филдз и там разделим всю добычу». Мы отправились туда, он уселся на травку в стороне от дороги и вытряс все деньги. «Смотри-ка, Джек, — говорит он мне, — видал ты когда-нибудь такое?» — «Никогда! — говорю я и простодушно так спрашиваю: — И все это нам?» — «Так оно наше! — говорит он. — А чье же еще?» — «А как же, — говорю я, — а тому человеку, который лишился денег, ничего уже не достанется?» — «Достанется? Ты это о чем?» — говорит он. «Не знаю, — говорю я, — но ты же недавно сказал, что не будешь путаться с этим векселем и вернешь его хозяину, потому что он слишком крупный».

Он посмеялся надо мной. «Да ты, оказывается, совсем дурачок, — говорит он, — а я и не думал, что ты еще такой ребенок!» И он со всей серьезностью объяснил мне суть дела. «Это я про вексель сэра Стивена Ивенса сказал, — говорит он, — он действительно крупный, на триста фунтов, и ежели бедный малый, вроде меня, рискнет сунуться за такими деньгами, они тут же спросят, откуда у меня вексель, нашел я его либо украл, и тогда они меня задержат, — говорит он, — и отымут его, да еще и в переделку попадешь из-за всего этого, потому, — говорит, — я и сказал, что он слишком крупный, чтоб путаться с ним, и готов вернуть его владельцу, если бы знал как. Но что касается денег, Джек, тех денежек, что нам перепали, даю тебе слово, Джек, ему из них не достанется ничего! Да и к тому же, — говорит, — кто бы ни был этот человек, что лишился своих бумаг, будь уверен, как только он их хватится, он тут же побежит к ювелиру и предупредит его, так что, если кто и придет за деньгами, его непременно задержат, да я-то уж стреляный воробей, — говорит он, — на этом не попадусь».

«А что же, — говорю, — ты будешь делать с этим векселем? Выкинешь его? Если выкинешь, кто-нибудь его подберет, — говорю, — и пойдет да получит деньги!» — «Нет, что ты, — говорит он, — я же объяснил тебе: в таком случае его задержат вместо меня и станут допрашивать». Но я все равно толком ничего не понял, а потому не задавал больше вопросов; мы принялись делить добычу — столько денег я в жизни своей не видывал и понятия не имел, что с ними и делать-то, даже хотел было попросить моего друга припрятать их пока у себя, что было бы сущим ребячеством, — уж будьте покойны, больше бы мне их не видать как своих ушей, даже если бы с ним самим ничего не стряслось.

К счастью, я об этом умолчал, и он честно разделил между нами все деньги, только под конец сказав мне, что хотя он и обещал мне ровно половину, однако, поскольку это был мой первый выход и мне не пришлось ничего делать, только наблюдать, он считает, что будет справедливо, если я получу чуть меньше него; и он разделил сначала все деньги, то есть двенадцать фунтов десять шиллингов, поровну — по шесть фунтов пять шиллингов каждому, а потом взял один фунт пять шиллингов из моей доли и сказал мне, что я должен подарить это ему на счастье. «Что ж, — сказал я, — конечно, бери, я-то считаю, что ты заслужил их все». Тем не менее оставшиеся деньги я забрал. «Но что мне с ними делать? — сказал я. — Мне их держать негде!» — «А что, у тебя разве нет карманов?» — спрашивает он. «Есть, — говорю я, — только дырявые». Не раз потом я с улыбкой вспоминал, в какой растерянности был, обретя богатство, с которым не знал, что делать, ибо у меня не было ни своего угла, ни шкатулки, ни ящика, куда бы спрятать эти деньги, даже кармана, я имею в виду не дырявого; я был один на свете, мне не к кому было пойти и попросить, чтобы их сберегли для меня, такой жалкий голодранец, как я, только вызвал бы подозрение, все решили бы, что я ограбил кого-то, и, чего доброго, схватили бы меня, да чтобы заполучить эти самые деньги, еще и обвинили, как, говорят, делают частенько. Так-то вот, разбогатев, я приобрел столько забот, что и передать вам не могу! Весь следующий день мне покою не давала мысль, как же хранить эти денежки, и довела меня до того, что я попросту сел и заплакал.

Ничто никогда не доставляло мне больших хлопот и волнений, чем эти монеты; поначалу я просто таскал их в руке; кроме четырнадцати шиллингов, остальные были золотыми — всего четыре гинеи, и, надо сказать, эти четырнадцать шиллингов приносили больше неудобств, чем

четыре гинеи. В конце концов я уселся на землю, снял один башмак и засунул в него четыре гинеи, но проходил с ними недолго, так как сильно натер себе ногу и больше не мог ступить ни шагу; и снова я был вынужден присесть, вынуть их из башмака и опять таскать в руке. Наконец я подобрал на улице грязную полотняную тряпку, завернул в нее деньги и какое-то время нес их в узелке. Много раз слышал я потом, как люди говорят, когда не знают, где взять деньги: «Ведь на помойке они не валяются!» Что правда, то правда, однако я завернул мои деньги в грязный лоскут, грязный, будто и в самом деле с помойки, а когда на пути моем встретилась водосточная канава, я, сидя на корточках, выполоскал в ней свою тряпицу и потом снова завернул в нее деньги.

Так я и принес их в свою ночлежку на стекольном заводе, но, укладываясь спать, опять стал ломать себе голову, куда их деть; если бы хоть кто-нибудь из нашей воровской шайки проведал о них, меня бы в золу носом ткнули и отняли бы их, — словом, мне бы не поздоровилось; я не знал, как быть, и лежал, зажав их в руке, а руку спрятал за пазуху и не смыкал глаз. О, бремя забот человеческих! Я, бездомный бродяжка, который спал на груде камней, шлака или золы так крепко, как не спится иному богачу в своей мягкой постели, не мог теперь сомкнуть глаз из-за каких-то ничтожных денег.

Стоило мне задремать, как мне чудилось, будто у меня стащили мои денежки, в испуге я вздрагивал и просыпался, а убедившись, что крепко держу их в руке, долго пытался заснуть, потом засыпал наконец и снова пробуждался; вдруг мне пришло на ум, что, если я засну, мне непременно приснятся мои деньги, я стану говорить о них во сне, и, если я проговорюсь, что у меня завелись деньги, кто-нибудь из воришек меня услышит, залезет ко мне за пазуху и вытащит из руки моей деньги так, что я даже и не почувствую; после таких мыслей я и вовсе не мог заснуть; так, в тревоге и беспокойстве прошла эта ночь, и могу вас заверить, то была первая бессонная ночь, которую доставили мне жизненные треволнения и обманчивая привлекательность богатства.

Едва настал день, я вылез из ямы, в которой мы проводили ночь, и направился через Сент-Джордж-Филдз к Степни, там я опять долго размышлял и прикидывал, что мне делать с моими деньгами, и не единожды пожелал, чтоб у меня их вовсе не было, но сколько я ни думал об этом, так ничего и не придумал, и беспомощность моя привела меня в такое отчаяние, что, повторяю, мне оставалось лишь сесть и горько расплакаться.

Но слезами горю не поможешь; деньги никуда от меня не делись, и, как с ними поступить, я понятия не имел; наконец мне пришло в голову, нет ли в каком-нибудь дереве глубокого дупла, — вот там бы и схоронить их до поры до времени. Окрыленный этой идеей, которая казалась мне тогда поистине великой, я огляделся вокруг в поисках хоть какого-нибудь деревца, однако вокруг Степни и возле Майл-Энда не было ни одного дерева, подходящего для моей цели, а если и нашлось бы при более внимательном осмотре, все равно там было полно народу и кто-нибудь непременно заметил бы, как я что-то прячу; мне даже мерещилось, все так и глазеют на меня, а двое будто даже пошли за мной, желая проследить, что я намерен делать.

Это заставило меня отойти подальше, возле Майл-Энда я пересек дорогу и уже в самом центре города вышел на улицу, которая вела к Слепым Нищим, что у самого Бетнал-Грина; пройдя немного по улице, я обнаружил пешеходную тропу, ведшую обратно к Сент-Джордж-Филдз, где к моим услугам росло несколько деревьев, какие я искал. Наконец попалось и дерево с небольшим дуплом, расположенным довольно высоко от земли, — рукою было не достать, я влез на дерево и, когда дотянулся до него, пошарил там рукой и обнаружил (как я и надеялся), что лучшего тайника не сыскать. Я опустил туда мое сокровище и почувствовал величайшее облегчение. Но вот так история! Когда я снова засунул туда руку, чтобы поудобнее уложить там свой узелок, он неожиданно ускользнул от меня, и тогда я заметил, что дерево все полое, и мой узелок провалился вниз, так что его и не достать, а насколько глубоко он

провалился, я не знал; одним словом, денежки мои уплыли, потеряны для меня навсегда, безвозвратно и безнадежно, ибо дерево это было толстенным и огромным.

Хоть я был еще совсем юнец, все же я сообразил, что вел себя как сущий болван, — не сумел надежно спрятать свои деньги, а вместо этого забрел невесть куда, чтобы выбросить их в какую-то дыру, из которой мне их теперь не выудить; я засунул руку в дупло по самый локоть, но дна так и не достал; я отломил у дерева сук и проник поглубже, но с тем же успехом; и тогда я разрыдался, нет, какое там, я просто взревел от ярости и вне себя соскочил с дерева, потом снова влез и снова запустил руку в дупло и шарил там, заливаясь горючими слезами, пока не изодрал плечо до крови. Потом подумал, что у меня не осталось и полпенни на булочку, а я так хочу есть, и заревел еще громче. И вот я пошел прочь, вопя и стеная, словно малый ребенок, которого только что выдрали, потом снова вернулся к дереву, потом снова влез на него, и так делал несколько раз подряд.

В последний раз, когда я взобрался на дерево, я случайно слез с него не с той стороны, откуда влезал и куда спускался перед этим, а по другую сторону ствола. И что же? Я вдруг увидел в дереве сбоку большую дыру почти у самой земли, — у дуплистых деревьев так часто бывает; я заглянул в эту дыру и, к своей неописуемой радости, увидел там мои деньги, завернутые в полотняную тряпку точно так, как я положил их в дупло. Вероятно, дерево это было полое сверху донизу, а мох, или еще что-то, чем оно внутри поросло, оказался недостаточно плотным, чтобы задержать этот узелок, когда он выскользнул у меня из рук, и потому он сразу же провалился вниз.

Будучи, в сущности, еще ребенком, я и обрадовался, как дитя, и, увидев мой узелок, завопил не своим голосом; я бросился к нему, схватил его, прижал к груди и раз сто поцеловал грязную тряпку, потом принялся танцевать, прыгать и беситься как сумасшедший, — словом, я сам тогда не помнил, что вытворял, а теперь я подавно не вспомню, одно только никогда не забуду: то великое горе, какое сжало мое сердце, когда я решил, что потерял деньги, и бурную радость, охватившую меня, когда я их снова нашел.

Итак, в первом порыве радости я носился вокруг, не соображая, что делаю, но как только этот порыв прошел, я сел на землю, развязал грязный лоскут, в который были завернуты деньги, проверил их, пересчитал, обнаружил, что они в полной сохранности, и вдруг разрыдался так же горько, как раньше, когда думал, что потерял их.

Читателя утомит, если я вздумаю перечислять все глупости, какие я в своей детской радости и умилении вытворял, получив назад свои деньги, а посему на этом я ставлю точку. Радость может быть столь же безумной, сколь и горе, и, будучи уже взрослым мужчиной, я не раз думал: случись такое со взрослым человеком, то есть потеряй он все, что имел, вплоть до последнего пенни, а потом столь же неожиданно получи все обратно, когда мысленно уже примирился с потерей, — ручаюсь вам, случись такое со взрослым, он бы, чего доброго, спятил бы.

Наконец я ушел со своими денежками, но, прежде чем опять их завязать в узелок, я взял себе шесть пенсов, пошел на Майл-Энд в лавку Чэндлера и купил себе там на полпенни булку, на столько же сыра, потом уселся у входа и с аппетитом принялся за еду, а чтобы запить ее, попросил еще и пива, которое радушная хозяйка поднесла мне, не поскупившись.

Оттуда я направился в город на поиски кого-нибудь из моих приятелей, твердо решив оставить раз и навсегда поиски дуплистого дерева, где бы хранить мой клад. Когда я проходил улицей Уайтчэпел, я поравнялся с лавкой старьевщика, что рядом с церковью; в ней торговали поношенным платьем, а на мне, надо сказать, красовалась одна рвань, поэтому я остановился, разглядывая одежду, вывешенную в дверях лавки.

«Ну-с, молодой человек, — сказал хозяин, стоявший у входа, — вижу, глаза у вас разгорелись, присмотрели что-нибудь себе по вкусу? Да по карману ль вам будет хороший-то мундир, ведь вы, если не ошибаюсь, из полка голодранцев?» Я оскорбился словами этого

человека. «А какая вам забота, — сказал я, — дырявое на мне платье или нет, ежели я присмотрел то, что мне нравится, и могу заплатить за это? Впрочем, пойду-ка я в другое место, где не придется выслушивать всякие оскорбления».

Пока я таким образом весьма смело парировал хозяину, из дому вышла женщина. «Какая муха тебя укусила, — обратилась она к мужчине, — что ты вздумал отпугивать покупателей, а? Деньги этого бедного мальчугана ничем не хуже денег самого лорд-мэра! Да ежели б бедняки не покупали старую одежду, что стало бы тогда с нашей торговлей? — И, повернувшись ко мне, сказала: — Входи, входи, малыш, если тебе приглянулась какая вещь, бери, не бойся, а на него внимания не обращай. Какой славный парнишка, правда?» — обратилась она тут к другой женщине, которая в это время подошла к ней. «Пожалуй», — ответила та. «И такой хорошенький, — продолжала она, — если бы его умыть да одеть получше, он бы и за дворянского сынка сошел, почему и нет, чем он хуже, ежели б только приодеть его. Поди сюда, милый, скажи, что тебе надо?» До чего ж мне понравилось, когда она сказала про меня — дворянский сынок, я тут же вспомнил мое происхождение, но потом, когда она заметила, что я не мыт и одет в лохмотья, я не удержался и пустил слезу.

Она настойчиво спрашивала, приглянулось ли мне что-нибудь из вещей, на что я ответил «нет», потому что вся одежда, какую я там видел, была чересчур велика для меня. «Подожди, малыш, — сказала она, — есть у меня две вещички, они как раз тебе подойдут, и обе тебе понравятся, право слово, во-первых, вот эта шапчонка, смотри, — говорит она, кидая ее мне, — я отдаю ее тебе даром. А еще пара добротных теплых штанов, ручаюсь, — говорит она, — они тебе будут впору, они такие крепкие и совсем целые! К тому же, — говорит она, — если у тебя вдруг заведутся деньги и ты не будешь знать, куда их девать, у них, смотри, прекрасные карманы, — говорит она, — и даже вот кармашек для часов, куда можешь прятать золотые монеты или часы, когда ты их купишь».

Сердце у меня так и подпрыгнуло от несказанной радости при одной мысли, что у меня теперь будет место, где держать деньги, и больше мне не придется прятать их в дупле; я готов был прямо-таки выхватить штаны у нее из рук, удивляясь только, как это мне раньше не пришло в голову, что можно купить пару штанов с карманом, куда можно положить деньги, а не таскаться с ними, держа то в руке, то в башмаке, как мне пришлось эти два дня; одним словом, я заплатил ей за штаны два шиллинга и зашел во двор при церкви, чтобы переодеться, спрятал в карман мои денежки и почувствовал себя довольным и счастливым, словно принц, получивший новую карету, запряженную шестерней; я поблагодарил добрую женщину также и за шапку и сказал, что приду опять, как только раздобуду денег, чтобы купить себе еще что-нибудь; и с этим я ушел.

Конечно, я был всего лишь мальчишкой, но с той минуты, как у меня завелся карман, а в нем деньги, я почувствовал себя настоящим мужчиной и первым делом отправился искать моего друга, благодаря которому я разбогател; и тут я напугался до смерти, услышав, что его отправили в Брайдуэлл. Я ни о чем не стал расспрашивать, я и так знал, что это за тот самый бумажник и что я и сам могу туда угодить; на память мне пришла история с моим бедным братом Капитаном Джеком, неужели и меня подвергнут такой же жестокой порке? И я так был напуган, что просто не знал, что и делать.

Однако вечером я его встретил, он действительно попал в Брайдуэлл из-за того самого дела, но его уже выпустили. А случилось все так: поскольку накануне в помещении таможни счастье улыбнулось ему, он отправился туда снова и, когда очутился в Длинном зале, высматривая себе поживу, некий человек схватил его и тут же позвал чиновника, сидевшего за столом. «Вот, — сказал он, — это и есть молодой мошенник, который, как я вам говорил, околачивался здесь, когда у того господина пропал бумажник с векселями на имя ювелира. Ручаюсь, это он украл их!» Тут же их окружила толпа, и все наперебой стали обвинять его в краже; однако он был стреляный воробей, и одними угрозами без доказательств признание

вытянуть из него все равно не удалось бы, потому как он знал, что улик против него никаких нет, даже денег в кармане, кроме одного шестипенсовика и каких-то жалких фартингов.

Ему угрожали, волокли куда-то, кричали, чуть не сорвали с него одежду, наконец досмотрщики обыскали его, но все с тем же успехом, ничего у него не нашли; он сказал, что прохаживался по залу таможни просто из любопытства, как в этот раз, так и раньше, и признался, что уже бывал тут, а поскольку никаких фактов, связанных с пропажей бумажника, против него не было, задержать его они не могли; и все же они разыграли, будто ведут его в Брайдуэлл, и дотащили до самых ворот, пытаясь выудить у него признание, но он ни в чем не признался, так что права на заключение его в тюрьму у них не было, и они не посмели повести его туда; все равно его там бы не приняли, я так думаю, даже если бы они и повели, так как у них не было никаких законных оснований, чтобы засадить его за решетку.

И вот убедившись, что от него ничего не добьешься, они пригласили его в пивную и там сказали ему, что в бумажнике были ценные бумаги и что мелкому жулику они будут все равно без пользы, тогда как для господина, у которого их украли, это огромный урон, и якобы господин этот в присутствии человека, принявшего его за вора, пообещал таможенному чиновнику, что даст тридцать фунтов тому, кто их вернет, и, кто бы то ни оказался, обещает не причинять ему никакого вреда.

Когда я встретился с моим другом, он только что вырвался из их лап и тут же рассказал мне эту историю. «Все равно, — сказал он, — я ни в чем не признался, потому и ушел от них чист как стеклышко». — «Это хорошо, — говорю я, — а что же ты собираешься делать с бумажником и с векселями, разве ты не вернешь векселя несчастному господину?» — «Ну нет, — говорит он, — векселя векселями, но я им не доверяю». Тут я подумал, хотя и был еще совсем мал, какая, однако ж, досада владеть такими ценными бумагами и не иметь возможности их использовать; про себя я решил, что хозяин векселей все равно уже потерял свои деньги, и все-таки мне казалось диким, что он теряет целое богатство только потому, что мой друг держит у себя его бумаги безо всякой выгоды для себя. Помню, что я размышлял об этом без конца, и хотя я и не очень-то разбирался в таких делах, все же у меня это крепко засело в мозгу, и я нет-нет да повторял ему, — пусть, мол, вернет господину его бумаги: «Ну, пожалуйста, очень прошу!» И так приставал с этим «очень прошу» и «пожалуйста», пока наконец не расплакался, а он спросил, что, разве я хочу, чтобы его поймали с поличным и отправили в Брайдуэлл и высекли, как моего брата Капитана Джека? А я отвечал: нет, конечно, не хочу я, чтобы его пороли, я хочу только, чтобы он отдал тому господину бумаги, потому что ему они без пользы, а господина это может загубить. И опять за свое: «Очень прошу, отдай их, пожалуйста». Но он оборвал меня: «Нет, ты лучше скажи, — сказал он, — как я их отдам ему? Кто посмеет отнести их? Сам я не посмею, и думать нечего, потому что они меня задержат и позовут ювелира, чтобы он сказал, знает ли он меня или нет; а ведь я-то получил у него те деньги, вот вам и доказательство кражи, и меня повесят, ты разве хочешь, чтобы меня повесили, Джек?»

Тут я прикусил язык, потому, когда он спросил: «Ты разве хочешь, чтобы меня повесили, Джек?» — крыть мне было нечем; однако на другой день он подзывает меня к себе и говорит: «Полковник Джек, — говорит он, — я все-таки придумал, как сделать, чтобы тот господин получил назад свои бумаги, а мы бы с тобой разжились на этом деньжатами, только, чур, и ты поступишь со мной так же честно, как я с тобой». — «Клянусь, Уилл (так звали его), — говорю я, — в честности моей не сомневайся, я что хочешь сделаю, только чтобы он получил назад свои бумаги».

«Так вот, — говорит он, — мне сказали, что он пообещал в таможне дать без всяких лишних вопросов и разговоров тридцать фунтов тому, кто вернет ему бумаги. Ты, стало быть, идешь в Длинный зал, эдакий бедный, невинный мальчуган, да такой ты и есть, на это и расчет, и обращаешься прямо к таможенному чиновнику. Ты говоришь ему, что, если господин готов выполнить свое обещание, ты берешься сказать ему, у кого бумаги, и, если они будут хорошо

обращаться с тобой и сдержат свое слово, ты обещаешь достать бумажник с векселями и принести им».

Я сказал, что пойду с великим удовольствием. «Только вот что еще, Полковник Джек, — сказал он, — а вдруг все же они тебя схватят и станут угрожать плетьми? Ты меня тогда не выдашь?» — «Нет, — говорю я, — не выдам, даже если они запорют меня до смерти». — «Ну смотри, — говорит он, — вот бумажник, и можешь идти». И он мне дал подробные указания, как действовать и что говорить, но бумажник я с собой не взял, — а что, если они обманут и схватят меня, рассчитывая, что бумажник при мне, и таким образом поймают меня с поличным, поэтому бумажник я оставил у Уилла и на следующее утро, как условились, отправился в таможню; какие указания были мне даны, вы узнаете из дальнейшего, так что пересказывать их здесь я не стану, чтобы не повторяться; задача эта была и впрямь слишком трудной для мальчишки вроде меня, не только юному по годам, но и совсем неопытному в воровстве.

Две мысли засели у меня в голове, укрепляя мою решимость. Первая: этот человек должен получить назад свои бумаги, ибо мне казалось ужасным, что он потеряет такие деньги, а я считал, что он непременно их потеряет, если мы не вернем ему векселя. Вторая: что бы со мной ни случилось, я никогда не выдам моего друга и учителя Уилла. Вооруженный двумя такими залогами честности, — собственно, честность меня тут и заботила, — сердцем мужчина, но разумом еще дитя, я вступил на другое утро в Длинный зал таможни.

Когда я прибыл на место происшествия, я увидел того же чиновника, сидевшего там же, что и в прошлый раз, и вообразил, что он так сидит с тех самых пор; впрочем, мне было все равно, я подошел к его столу и встал по другую сторону перегородки; она была очень высокая, примерно мне по плечо — ведь роста я был небольшого.

Пока я там стоял, проходящие мимо толкали меня, и тот чиновник, что сидел за перегородкой, стал ко мне приглядываться, наконец он крикнул:

— Что здесь делает этот мальчишка? Уходи-ка лучше, бездельник! Не из тех ли ты негодяев, что украли в понедельник у одного господина бумажник с векселями? — И, обращая свой рассказ к господину, которому он подписывал бумаги, продолжал: — Был тут в понедельник мистер… как его… и такая беда с ним приключилась, не слышали часом?

— Нет, ничего не слыхал, — ответил тот.

— Да-а, он стоял вот здесь как раз, где вы сейчас, — говорит он, — и чтобы заполнить таможенную декларацию, вынул свой бумажник и положил на стол рядом с собой, как сам потом рассказывал, но пока он тянулся через стол к чернильнице, чтобы обмакнуть перо, кто-то стащил его.

— Подумать только! — воскликнул слушатель. — А были в нем векселя?

— В том-то и дело, — говорит чиновник, — в нем был счет сэра Стивена Ивенса на триста фунтов и еще один вексель на имя ювелира, примерно на двенадцать фунтов, да это бы еще ничего, но там было два иностранных акцептованных векселя на крупную сумму, не знаю в точности какую, один французский вексель, кажется, на тысячу двести крон, и тот господин очень убивался из-за них.

— Но кто же мог украсть? — спрашивает его собеседник.

— Никто не знает, — говорит чиновник. — Правда, один из наших надзирателей говорит, что видел в зале двух жуликоватых подростков, вон вроде того. — Он указал на меня. — Они болтались тут, а потом вдруг исчезли, оба сразу.

— Ах, мошенники! И зачем? Что им делать с такими векселями? Они ими все равно не смогут воспользоваться; надеюсь, тот господин пошел и тут же сделал заявление, чтобы задержать выплату?

— Конечно, — сказал чиновник. — Но жулики оказались проворнее, они опередили его с векселем на меньшую сумму в двенадцать с чем-то фунтов и получили по нему деньги,

остальная выплата, само собой, приостановлена, но потерять столько денег, потерпеть такой убыток, неслыханно!

— Что ж, тогда он должен объявить поощрительное вознаграждение тем, кто их прикарманил и теперь вернет их ему. Уверяю вас, они будут даже счастливы вернуть их.

— Он вывесил на дверях таможни объявление, что даст за них тридцать фунтов.

— Да-а, только он должен был прибавить, что обещает не задерживать того, кто принесет векселя, и не причинять ему неприятностей.

— И это он сделал, — говорит чиновник, — но, боюсь, они не решатся из страха, что он не сдержит своего слова.

— Пожалуй, это резонно, он может нарушить свое слово, хотя и не следовало бы, иначе ни один жулик больше не рискнет вернуть краденое. Это была бы дурная услуга всем, кто пострадает после него.

— Смею думать, это его не очень-то беспокоит.

В таком духе они продолжали свою беседу, а потом заговорили о другом; я слышал все, но долго не знал, как мне поступить; наконец я увидел, что господин отошел от стола, и бросился за ним следом, в надежде заговорить и сразу все ему выложить, однако он быстро прошел в комнату, смежную с длинным залом, где было полно людей, из нее — в другую, и, когда я собрался последовать за ним, привратник не впустил меня, сказав, что туда нельзя; я вернулся и долго бродил по залу неподалеку от стола, за которым сидел тот чиновник; я слонялся вокруг, пока часы не пробили двенадцать и зал начал понемногу пустеть; чиновник что-то писал, перед ним уже не было ни души, не то что утром, тогда я подошел поближе и опять остановился у самого его стола; он оторвался от бумаг, поднял на меня глаза и сказал:

— Все утро ты тут околачиваешься, бездельник, чего тебе надо? Ох, боюсь, на уме у тебя что-то недоброе.

— Нет, что вы, сэр, — говорю я.

— Что ж, хорошо, коли нет, — говорит он. — А какое у тебя может быть дело в таможне, ты ведь не купец.

— Мне надо с вами поговорить, — говорю я.

— Со мной? — говорит он. — А что ты хочешь сказать мне?

— Кое-что, — говорю я, — только, если вы мне за это ничего плохого не сделаете.

— Плохого? А что плохого я могу тебе сделать, а? — спросил он ласково.

— Вправду не сделаете, сэр? — говорю я.

— Право же, мальчуган! Ничего плохого я тебе не сделаю. Ну, так о чем речь? Ты что-нибудь знаешь про бумажник того господина?

Я ответил, но так тихо, что он не расслышал, тогда он пересел на соседнее место, открыл дверцу в перегородке и подозвал меня к себе; я вошел.

Он опять спросил, знаю ли я что-нибудь о бумажнике.

Я таким же тихим голосом ответил, что нас могут услышать.

Тогда он, понизив голос почти до шепота, еще раз спросил о бумажнике.

Я ответил ему, что, по-моему, кое-что знаю о нем, только у меня его нет и в этом деле я посторонний, а что находятся бумаги у одного парня, который хотел их сжечь и сжег бы, если бы не я, и что вот только что я услышал, будто бы тот господин рад получить их назад и даст за них, то есть за те бумаги, много денег.

— Да, да, я говорил это, — сказал чиновник, — и если ты сможешь вернуть их, он тебя щедро вознаградит, не меньше тридцати фунтов даст, как обещал.

— И еще вы сказали, сэр, другому господину, вот только сейчас, — говорю я, — что он ничего худого не сделает тому, кто их принесет.

Чиновник. Нет, нет, тебе и вправду ничего не грозит, могу ручаться.

Мальчик. А другим из-за меня не попадет?

Чиновник. Нет, тебя даже не спросят, кто они такие и как их зовут.

Мальчик. Ведь я просто нищий, и я всей душой хотел бы, чтобы тот господин получил назад свои бумаги, и клянусь, я сам не брал их и нет их у меня сейчас.

Чиновник. Ну скажи, а как же этот господин тогда их получит?

Мальчик. Если я сумею их достать, я принесу их вам завтра утром.

Чиновник. А сегодня вечером нельзя?

Мальчик. Постараюсь, только где я вас найду?

Чиновник. Приходи ко мне домой, мальчуган.

Мальчик. А где вы живете, я не знаю.

Чиновник. Пойдем сейчас со мной, и я тебе покажу.

Он повел меня на Тауэр-стрит, показал свой дом и назначил прийти к пяти часам вечера, что я, само собой, сделал, прихватив и бумажник.

Когда я пришел, чиновник спросил меня, принес ли я книжку, как он выразился.

— Какая же это книжка? — сказал я.

— Неважно, пусть бумажник, это все равно, — говорит он.

— Помните, — сказал я, — вы обещали не трогать меня. — И я начал всхлипывать.

— Тебе нечего бояться, малыш, — говорит он, — я не трону тебя, бедный мальчик! Никто тебя не тронет.

— Тогда вот он, — сказал я и вытащил бумажник.

Тут он пригласил еще одного господина, судя по всему, владельца этого бумажника, и спросил, тот ли это бумажник, и господин ответил: «Да».

И спросил меня, все ли векселя там.

Я ответил, что как будто одного не хватает, но думаю, что остальные целы.

— А почему ты так думаешь? — спросил он.

— Потому что я слышал, как один малый, который, по-моему, и украл их, говорил, что они чересчур крупные, чтобы ему путаться с ними.

Тогда господин, чьи были бумаги, говорит:

— А где этот малый?

Но чиновник вмешался и сказал:

— Нет, нет, вы не должны спрашивать его об этом, я дал слово, что ему не придется об этом говорить.

— Ну что же, дитя, — говорит тот, — а позволишь ты нам открыть бумажник, чтобы посмотреть, там ли бумаги.

— Открывайте, — говорю я.

Тогда чиновник спрашивает его:

— А сколько там было векселей?

— Всего три, — говорит он, — не считая расписки на двенадцать фунтов десять шиллингов. Один счет сэра Стивена Ивенса на триста фунтов и два иностранных векселя.

— Так, значит, если все они в бумажнике, мальчик получит свои тридцать фунтов, не так ли?

— Да, — отвечает господин, — он их непременно получит. — И, обращаясь ко мне, говорит: — Подойди ко мне, дитя, позволь мне открыть бумажник.

Я отдал ему бумажник, он открыл его и увидел там все три векселя и другие бумаги, в целости и сохранности, не смятые и не порванные, и признал, что все в порядке.

Тут чиновник и говорит:

— Я поручился мальчику за вознаграждение.

— Но позвольте, — говорит господин, — ведь жулики уже получили двенадцать фунтов десять шиллингов, пусть считают это частью тридцати фунтов.

По мне, и на это можно было согласиться без разговоров, но чиновник держал мою сторону.

— Нет, — сказал он, — вы уже знали, что двенадцать фунтов десять шиллингов получены, когда назначили за остальные векселя тридцать фунтов, объявили это через глашатого и вывесили объявление на двери таможни, и я обещал мальчику сегодня утром тридцать фунтов.

Они долго спорили, и я даже думал, они, чего доброго, еще поссорятся. Но они наконец сторговались, и чиновник дал мне двадцать пять фунтов золотыми гинеями; а потом велел мне протянуть руку и, пересчитав деньги на моей ладони, спросил меня, все ли верно, а я сказал, что не знаю, но, должно быть, верно.

— Как, — говорит он, — разве ты сам не можешь пересчитать?

Я сказал, что не могу, что в жизни своей не видал столько денег и не умею их считать.

— Да что ты, — говорит он, — неужели ты не знаешь, что это гинеи?

— Знаю, — говорю я, — только не знаю, сколько это — гинея.

— Вот так так, — говорит он, — а как же ты тогда сказал, что, должно быть, все верно?

— Потому, — ответил я, — что я верил, вы меня не обманете.

— Бедное дитя! — говорит он. — Как мало ты знаешь о жизни! Кто же ты?

— Я бедный бродяжка, — ответил я и заплакал.

— Я спрашиваю, как тебя зовут, — говорит он. — Ах да, я и забыл, — говорит он, — я же обещал не спрашивать твоего имени, можешь мне не отвечать.

— Меня зовут Джек, — сказал я.

— Ну, а фамилия у тебя есть? — спрашивает он.

— А что это такое? — спрашиваю я.

— Ну, есть у тебя еще какое-нибудь имя, кроме Джека? — говорит он.

— Да, — говорю я, — меня все зовут Полковник Джек.

— А другого имени у тебя нет?

— Нет, — говорю я.

— Тогда скажи, отчего же тебя стали звать Полковником Джеком?

— Мне сказали, что моего отца звали Полковником.

— А твои отец с матерью живы? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я, — отец мой умер.

— А где же твоя мать? — спрашивает он.

— Матери у меня никогда не было, — отвечаю я.

Тут он рассмеялся.

— Как же так, — говорит он, — а кто же у тебя был тогда, если не мать?

— Кормилица, — ответил я, — но она не была мне матерью.

— Ну вот что, — говорит он тому господину, — могу побиться об заклад, что не этот мальчик украл ваши бумаги.

— Честное слово, сэр, я их не крал, — сказал я и опять заплакал.

— Не надо, не надо, малыш, — сказал он. — Мы и не думаем, что это ты. Он мальчик смышленый, — говорит он господину, — но слишком невежественный и доверчивый, просто жалость берет, что некому присмотреть за ним и помочь. Давайте-ка потолкуем с ним еще немного.

И они сели, стали пить вино и меня угостили, а потом чиновник опять стал задавать мне вопросы.

— Ну, — сказал он, — а что ты, собственно, собираешься делать с этими деньгами, которые ты получил?

— Еще не знаю, — ответил я.

— А куда ты их положишь? — спрашивает он.

— В карман, — отвечаю я.

— В карман? — спрашивает он. — А карман у тебя целый? Ты не потеряешь их?

— Нет, — говорю я, — у меня карман целый.

— А куда ты их денешь, когда придешь домой?

— У меня нет дома, — ответил я и опять заплакал.

— Бедняга! — воскликнул он. — А чем же ты вообще пробавляешься?

— Хожу по поручениям, — говорю я, — для тех, кто живет на Розмэри-Лейн.

— А где же ты спишь ночью?

— Ночью я сплю на стекольном заводе, — сказал я.

— Спишь на стекольном заводе? Разве там есть кровати? — спросил он.

— А я на кровати никогда и не спал, — сказал я.

— На чем же ты тогда спишь там, на стекольном заводе? — спрашивает он.

— На земле, — отвечаю я, — когда на соломе, когда в теплой золе.

Тут господин, у которого украли бумаги, сказал:

— Слушаешь это бедное дитя и плакать хочется над злосчастиями человечества, а мы еще ропщем на свою судьбу, у меня даже слезы на глаза навернулись.

— И у меня тоже, — сказал господин чиновник.

— Послушай-ка, Джек, — говорит он, — а разве тебе не дают денег, посылая с поручениями?

— Мне дают есть, — ответил я, — а это куда лучше.

— А как же ты обходишься с одеждой? — спрашивает он.

— Иногда мне дарят старые вещи, когда лишние, — говорю я.

— У тебя и рубашки-то никогда небось не было, а? — говорит он.

— Рубашки? Нет, как умерла моя кормилица, не было.

— А когда она умерла? — спрашивает он.

— Весной будет шесть зим, — ответил я.

— Сколько же тебе лет? — спрашивает он.

— Не знаю, — говорю я.

— Ну ладно, — говорит чиновник, — а теперь, когда у тебя завелись деньги, купишь ты себе одежонку, потратишься на рубашку?

— Конечно, — говорю я, — я и собираюсь купить себе какую-нибудь одежку.

— А что сделаешь с остальными деньгами?

— Не знаю, — сказал я и заплакал.

— Отчего же ты плачешь, Джек? — говорит он.

— Я боюсь, — говорю я, продолжая плакать.

— Чего боишься?

— А если они узнают, что у меня есть деньги…

— Ну и что тогда?

— Тогда мне больше нельзя будет спать в теплой золе на стекольном заводе, не то они у меня их отнимут.

— А зачем же тебе теперь спать там?

И тут господа заговорили между собой о том, что волнение и заботы чаще всего посещают тех, у кого есть деньги, и это вполне естественно.

— Уверяю вас, — сказал таможенный чиновник, — пока у этого бедного мальчика не было денег, он проводил ночи на стекольном заводе и спал на соломе или на теплой золе самым крепким и сладким сном; а теперь, когда у него завелись деньги, забота о том, как бы их сохранить, вызывает слезы на его глазах и вселяет страх в сердце.

Они задали мне еще очень много вопросов, на которые я отвечал по-детски, как умел, но в то же время стараясь угодить им; наконец, я ушел от них с тяжело набитым карманом, но, даю вам слово, совсем не с легким сердцем, потому как меня пугало мое богатство, я просто-таки не знал, куда с ним деваться. Однако я ушел и бродил какое-то время, не ведая, что же мне теперь делать; проблуждав так часа два или около того, я вернулся и сел у дверей дома господина чиновника; я сидел там, и слезы лились из моих глаз ручьями, пока не иссякли, но я не решался постучать в дверь.

Правда, сидел я там, кажется, не очень долго, потому что кто-то из домочадцев заметил меня; вышла служанка, она заговорила со мной, но я ничего не мог ей ответить, а продолжал плакать; наконец, мой плач донесся до ушей чиновника (купец к тому времени уже ушел), он позвал меня в дом и спросил, почему я все еще здесь.

Я объяснил ему, что я не все время был здесь, я долго бродил и снова вернулся.

— Отчего же, — говорит он, — ты вернулся?

— Не знаю, — говорю я.

— А из-за чего ты так плачешь, — говорит он, — надеюсь, ты не потерял свои деньги?

— Нет, — сказал я, — я еще не потерял их, но боюсь, что скоро потеряю.

— Из-за этого ты и плачешь? — спрашивает он.

Я ответил, что да, потому что знаю, что не сумею сберечь их, они их у меня все равно выманят, а то и убьют, чтобы завладеть ими.

— Кто это они? — спрашивает он. — С какой шайкой ты связан?

Я сказал, что все это мальчишки, но мальчишки испорченные, воры и карманники, такие, сказал я, как тот, что украл бумажник с векселями, отчаянная банда, с которой я не хочу водиться.

— Да-а, Джек, — говорит он, — так чем же тебе помочь? Может, ты доверишь деньги мне, хочешь, я сберегу их для тебя?

— Да, — сказал я с радостью, — если только можно.

— Ну что же, — говорит он, — давай их мне и, пока они у меня, ты можешь быть спокоен, а когда захочешь, я верну их по-честному, с процентами. Я дам тебе на них расписку, если ты ее и потеряешь, — добавил он, — или кто-нибудь ее у тебя отнимет, неважно, никто, кроме тебя, не получит из них ни гроша.

Я тут же вытащил все деньги и отдал их ему, оставив себе примерно пятнадцать шиллингов, чтобы купить что-нибудь из одежды; этим завершилась наша первая встреча. Надежно схоронив мои денежки, я, к моему величайшему удовольствию, совершенно развязал

себе руки, да и тревожные мысли, дотоле не дававшие мне покою, стали постепенно выветриваться.

Да, теперь вы видите, как рождаются в нашей жизни треволнения и беспокойства, как они возрастают от вечной погони за деньгами и вечных забот, где бы их сберечь, когда ты их заполучил. Я, который не имел ничего и даже не знал, что такое деньги, не ведал и забот, где их взять и как сберечь; пока у меня не было ничего, я ни в чем и не нуждался; живя без забот, я никогда не ломал себе голову, где раздобыть пропитание или ночлег, я знать не знал, что такое деньги и что можно на них сделать, и, пока они не завелись у меня, не ведал, что такое бессонница или страх их потерять.

Без сомнения, на этот раз мне представлялся счастливый случай, если бы я не оказался глупцом и таким, в сущности, еще ребенком: да, мне представлялась счастливая возможность получить работу или хотя бы обеспечить себе внимание и помощь этих благородных людей, поскольку они проявили такое горячее желание принять участие в моей судьбе, изумившись простодушию моих речей и бедственности (как они полагали) моего положения.

Но я повел себя, как дитя, и, оставив, как я уже говорил, чиновнику все мои деньги, не являлся за ними потом несколько лет; моя дальнейшая судьба и приключения, выпавшие мне на долю, столь пестры и поучительны, что следует остановиться на них поподробнее.

Итак, первую счастливую возможность, предоставленную мне судьбой, я пропустил; обзавелся деньгами, но не знал им ни цены, ни пользы; та жизнь, какую я вел, казалась мне столь естественной, что я не намерен был ее менять, даже и к лучшему; не горел я желанием и приобретать себе одежду, хотя бы просто рубашку, а еще менее искать новое жилье, — стекольный завод был мне по душе, — или бросить привычное занятие — шататься по улицам. Я не знал добра и не умел отличить его от зла, то есть я хочу сказать, что жизнь, какую я вел, не казалась мне такой уж дурной.

Так, в наивности своей, я вернулся к моей нищей жизни, несчастной и убогой, хотя сам я этого не сознавал, ибо не знал иной, а стало быть, не мог о ней и судить.

Мой друг, который вернул те векселя и, если бы не моя настойчивость, никогда сам не подумал бы возвратить их владельцу, ни разу даже не спросил меня, что я за них получил, он только сказал мне, что, если они и дали за них что-либо, это все принадлежит мне, поскольку, как он сказал, он сам никогда не рискнул бы вернуть их, боясь показаться с ними хоть кому-нибудь на глаза, так что любая награда за них принадлежит мне; он даже не полюбопытствовал узнать, сколько я получил и получил ли вообще что-нибудь; таким образом, я обрел полное право владеть моими деньгами.

Как и прежде, я слонялся, где вздумается, но теперь у меня в кармане завелись деньги, правда, я никому об этом и слова не сказал; как и прежде, я охотно бегал по чужим поручениям и получал свое заработанное с искренней благодарностью; однако теперь, когда я бывал голоден, а никто не нуждался в моих услугах и не давал чего-нибудь поесть, я не обивал пороги и не попрошайничал, а шел в харчевню, где, как уже говорил вам, побывал однажды, и брал похлебку и кусок хлеба, всего на полпенни, в редких случаях немножко мяса, а если хотел себя побаловать, то еще на полпенни сыра, тратя на все про все не больше двух-трех пенсов в неделю. В отличие от всей нашей компании, я был малый на редкость бережливый и даже не притронулся к своим гинеям; правда, как я и сказал тому господину в таможне, я понятия не имел, сколько же это гинея и что на нее можно купить.

Так в безделье прошел целый месяц, но однажды утром ко мне пришел мой друг, как я называл его, и говорит: «Полковник Джек, когда мы с тобой опять выйдем на прогулку?» — «Когда захочешь», — ответил я. «У тебя нет сейчас дела?» — говорит он. Я отвечаю «нет», и так, слово за слово он признался, что раз однажды мне дьявольски повезло, то повезет и в другой раз. «Только теперь, Полковник, — говорит он мне, — условия будут другими. Потому как, — говорит он, — новичку у нас принято давать равную долю, чтоб поощрить его, но потом

уж все будет зависеть от моего благородства, разве что ты примешь в деле равное со мной участие и разделишь весь риск. Но мы джентльмены, — говорит он, — и всегда честно поступаем друг с другом. Так что, ежели ты надумаешь довериться мне и предоставишь все решать самому, я не поскуплюсь, можешь на меня положиться». Я ему признался, что делать ничего не умею и совсем в этом не смыслю, а потому и не рассчитываю что-либо заработать, однако буду исполнять все, что он мне велит; итак, мы отправились вместе.

В таможню мы больше не заглядывали, это было бы слишком рискованно, к тому же я вовсе не хотел показываться там снова, особенно в его обществе; поэтому мы направились прямо к Бирже[14] и рыскали по Касл-Элли, Суизен-Элли и перед входом в кофейню. День выдался на редкость неудачным, ибо вся добыча наша свелась к двум-трем носовым платкам, с которыми мы и вернулись домой в нашу родную ночлежку на стекольном заводе; весь день я не пил, не ел ничего, если не считать куска хлеба, которым он поделился со мной, да глотка воды из крана у входа в здание Биржи, поэтому, когда он расстался со мной, так как ночевал он не на стекольном заводе, был не чета мне, я тут же пошел в мою милую харчевню, где уже привык кормиться, и подкрепился там, а на другой день опять встретился с ним, как условились.

Утро было раннее, и он направился прямо к Билленгсгейту, где с самого рассвета, а в это время года даже задолго до рассвета, толпится народ: во-первых, агенты по продаже угля и владельцы судов для перевозки угля, или как их еще называют, угольщики, а во-вторых, рыбники — продавцы и скупщики рыбы.

За первыми-то он и охотился; мне он дал задание: «Заходи, — сказал он, — подряд во все пивные и прислушивайся, не говорит ли кто там о деньгах, а если говорит, выйдешь и скажешь мне». Итак, мы стали обходить пивные, он оставался у дверей, а я заходил внутрь. Угольщики, как правило, заключают свои сделки «у ворот», а денежные расчеты производят в пивных, поэтому ждать от меня первых весточек ему пришлось недолго; он тут же вошел в пивную, чтобы оглядеться, однако ничего интересного для себя не заметил. Наконец я сообщил ему, что в одном из таких заведении сидит человек, который только что получил от кого-то уйму денег, наверное, сразу от нескольких людей, и все они лежат грудой прямо на столе, он их подсчитывает и рассовывает по разным кошелькам. «Ишь ты, — говорит он, — что ж, бьюсь об заклад, придется ему со мной поделиться», — и заходит в пивную, обходит ее всю, общий зал и кабинеты, прислушиваясь, не назовет ли кто этого человека по имени, слышит, как кто-то окликает его «Калем» или что-то в этом роде, тогда он выбирает подходящий момент, направляется прямо к нему и плетет длинную историю, будто бы два господина из Охотничьей таверны послали его к нему и хотят, мол, с ним переговорить.

Деньги этого угольщика, как я говорил, лежали прямо перед ним на столе; два или три небольших черных от грязи кошелька, тоже с деньгами, он отложил в сторону. Еще только начинало светать, и мой друг прекрасно справился со своей задачей: разговаривая с угольщиком, он незаметно накрыл рукой один кошелек и спрятал его, не вызвав ни малейшего подозрения.

Исполнив дело, он тут же выскочил ко мне, — я стоял у самых дверей, — и, потянув меня за рукав, сказал: «Ну, теперь, Джек, давай бог ноги!» И бросился наутек, а я за ним, без передышки и без оглядки до самой Фенчерч-стрит, через Лайм-стрит до Лиденхолл-стрит, оттуда по Сент-Мэри-Экс до Лондонской Стены, через Бишопсгейт вниз к Старому Бедламу[15] в Мурфилдс. К тому времени мы оба уже выдохлись и не могли бежать слишком быстро, да нам и нужды не было забираться в такую даль, во всяком случае, я что-то не заметил, чтобы кто-нибудь погнался за нами. Когда мы очутились уже в Мурфилдсе и чуть отдышались, я спросил, что его так напугало. «Напугало? Вот дурак, да я же свистнул толстенный кошелек с деньгами!» — «Кошелек?» — переспросил я. «А то! — говорит он. — Только давай-ка уберемся куда подальше, чтобы никто нас не видел, я тебе тогда покажу его». И он повел меня через Лонг-Элли, потом мы пересекли Хог-Лейн и по Холуэй-Лейн попали в самый центр местечка,

которое потом стало называться Харчевня-на-Лугу. Здесь мы могли наконец передохнуть, но кругом было топкое болото, и нам пришлось идти дальше, пересечь дорогу на Эннисид-Клир и выйти опять к Мурфилдсу в том месте, где теперь стоит огромное здание больницы; отыскав укромное местечко, мы сели, и он вытащил кошелек с деньгами. «Счастливчик ты, Джек, — говорит, — если по справедливости, тут и твоя хорошая доля, поскольку добрые вести ты принес, разве нет?» — И он высыпает все содержимое ко мне в шапку; я ведь говорил вам, что тогда у меня уже появилась и шапка.

Как исхитрился он стянуть столько денег прямо из-под носа у человека, который не дремал и находился в здравом уме, я понять не могу; в кошельке было и денег полно, да еще лежал пакет, тоже с деньгами. Пакет вывалился из кошелька, и он воскликнул: «Смотри-ка, да это золото!» — и ну орать и вопить как безумный, но тут же заткнулся, так как в свертке оказались старые монеты по полпенни, всего на тринадцать пенсов; девять пенсов по половинке и четвертушке и еще четыре пенса по полпенни, все монеты старые, погнутые, по большей части шотландские и ирландские, так что он сильно приуныл. Худо, бедно ли, но всего в сумке оказалось около семнадцати или восемнадцати фунтов, как он сказал мне, сам-то я деньги считать не умел.

И вот он разделил все деньги на три части, так сказать, на три доли, две взял себе, одну дал мне и спрашивает, доволен ли я. Я сказал ему «да», у меня были все основания чувствовать себя довольным; а если еще прибавить эти деньги к тем, что оставались у меня от предыдущей нашей вылазки, то выходило так много, что я просто не знал, куда девать их, и самого себя в придачу.

Ох и тонкий мастер он был, этот жулик: стоило ему на что положить глаз, и дело можно было считать сделанным; я просто не знаю случая, чтобы он промахнулся либо попался на месте преступления.

Это был выдающийся щипач и настоящий виртуоз по женским золотым часам, однако любил замахиваться на большее и откалывал отчаянные номера, вроде тех, что я описал, однако всегда выходил сухим из воды, умея сорвать хорошенький куш; и в этой безнравственной воровской профессии я стал его верным учеником.

Поскольку мы теперь разбогатели, он не пустил меня больше ночевать на стекольный завод и не велел ходить таким обтрепанным, как я привык; он заставил меня купить две рубашки, жилет и пальто — в нашей работе пальто было особенно необходимо. Словом, по его наущению, я оделся, и мы на пару сняли мансарду, как раз подходящую для нашего брата.

Вскоре мы опять вышли на прогулку и на этот раз вторично попытали счастья в районе Биржи. Мы разделились и начали действовать самостоятельно, я пошел один, и первое же дельце обделал очень чисто, что потребовало известной ловкости от такого новичка, как я, поскольку никогда прежде мне не случалось наблюдать подобной работы. Я увидел двух оживленно беседующих джентльменов, один из которых раза два или три вытаскивал из кармана сюртука бумажник и снова совал его в карман, потом опять вытаскивал, вынимал из него одни бумаги, засовывал туда другие, после этого опять отправлял бумажник в карман — и так несколько раз, не переставая вести оживленную беседу со вторым господином, а еще двое-трое стояли совсем рядом с ними. Когда он в последний раз засунул или, лучше сказать, метнул бумажник к себе в карман, тот застрял по дороге, упершись в другой бумажник, или еще во что-то, что лежало в кармане, так что погрузился в карман не целиком, а остался торчать.

Мужчинам вообще свойственно небрежно засовывать в карман бумажник и прочее; поэтому мальчишкам, уже поднаторевшим в своем ремесле, ничего не стоит запустить туда руку, — что ж их за это бранить? Мужчины вечно спешат, их мысли и внимание всецело поглощены разговором, что делает их совершенно беззащитными перед такими глазастыми пронырами, как мы; им следовало бы или вовсе никогда не класть бумажников в карман, или

если уж класть, то аккуратнее, а лучше вообще не хранить в бумажниках ничего ценного. Я остановился как раз напротив того господина в переулке, который называют Суизен-Элли, а вернее — в проулке между Суизен-Элли и Биржей, как раз у прохода, который ведет от Элли прямо к Бирже. Само собой, когда я, как уже сказал, увидел, как злополучный бумажник путешествует из кармана и обратно, мне в голову пришла идея, что, прояви я известную ловкость, и бумажник будет мой; Уилл, на моем месте, наверняка бы вытащил его, если бы увидел, как тот снует туда-сюда. Когда же я заметил его кончик, торчащий из кармана, я сказал себе: «Не зевать!» Я пересек проход, протиснулся поближе к этому господину и потянул за торчащий кончик — рукой я при этом не двигал; бумажник оказался у меня, а господин даже не успел ничего заметить, остальные тоже. Я тут же прошмыгнул вперед и вышел на площадь с северной стороны, то есть к Бирже, оттуда по Бартоломью-Лейн прямо к Токенхаус-ярд и переулком, ведущим к Лондонской Стене, дальше через Ворота-у-Болота и во втором, считая от центра, квартале Мурфилдса уселся прямо на траву; это было условленным местом нашей с Уиллом встречи, если один из нас подцепит добычу. Когда я добрался туда, Уилла еще не было, он появился примерно через полчаса.

Увидев Уилла, я тут же осведомился, ухватил он что-нибудь или нет; он был бледен и казался испуганным. Однако ответил мне: «У меня-то пусто, ровным счетом ничего, а вот что у тебя, — говорит он, — сукин ты сын, счастливчик! Удалось-таки выудить у благородного господина на Суизен-Элли бумажник, а?» — «Удалось, — ответил я и засмеялся. — Только как ты узнал об этом?» — «Хм, узнал! Да этот господин, — говорит он, — рвет и мечет, он почти обезумел от горя, кричит, топает ногами, раздирает на себе одежду, он говорит, что пропал и разорен совершенно, а люди толкуют, будто в бумажнике было незнамо сколько тысяч фунтов. Давай-ка посмотрим, что там на самом деле», — говорит мне Уилл.

И вот улеглись мы с ним рядышком на траве у всех на виду, чтобы не возбуждать подозрений, и наконец открыли бумажник; в нем оказалось полно всяких бумаг и долговых расписок, некоторые из них от ювелиров, другие от страхового общества и так далее. Однако самое ценное, по-видимому, ценнее всего остального, хранилось в особом отделении бумажника. Это был маленький ларчик тоже с несколькими отделениями, и в одном из них завернутые в бумагу лежали неоправленные бриллианты. Как мы потом сообразили, тот человек был евреем, который занимался торговлей драгоценностями и которому, безусловно, следовало бы с большим тщанием беречь их.

Да, такое богатство показалось огромным даже Уиллу, неизвестно, что и делать с таким; и хотя к тому времени я уже начинал получше разбираться в подобных делах, не то что раньше, когда я вовсе не знал цены деньгам, все же Уилл тут был намного опытнее меня. Однако он был не менее меня озадачен. С нами получилось то же, что с петушком из басни, и виной всему — бумаги; среди них был вексель от сэра Генри Фёрнеса на тысячу двести фунтов, да еще бриллианты на сумму, как говорили, примерно в сто пятьдесят фунтов, и все это, сами понимаете, не имело для нас проку; небольшой кошелек с золотыми монетами пригодился бы нам куда больше. «Погоди, — говорит Уилл, — давай поглядим, может, среди них есть какой-нибудь скромный вексель».

Мы просмотрели все бумаги и обнаружили среди них чью-то долговую расписку на тридцать два фунта. «Это сойдет, — говорит Уилл, — пошли узнаем, где он живет». И мы снова отправились в город; Уилл зашел на почту и выяснил там, что этот человек живет у Темпл-Бара[16]. «Ладно, — говорит Уилл, — рискну, пойду и получу деньги, может, туда еще не поспело предупреждение, чтобы задержать выплату».

Но потом у него мелькнула новая мысль. «Стой, — говорит Уилл, — вернусь-ка я сначала на Суизен-Элли, может, что проведаю, уверен, паника там еще не утихла, а того человека, который остался без бумажника, кажется, увели в таверну „Королевская Голова“, что в самом конце улицы, там у входа собралась тогда целая толпа».

И Уилл уходит; он приглядывается ко всем, выжидает, наконец видит несколько людей, из тех, что не успели разбрестись и сбились все в кучку, и спрашивает у одного из них, что произошло; они ему рассказывают длинную историю, как один господин потерял бумажник, в котором был целый сверток с бриллиантами и векселя на много тысяч фунтов и всякое прочее; а еще, мол, только что объявили, что тому, кто найдет и вернет их, будет награда в сто фунтов.

«Если б мне только знать, — говорит Уилл одному из тех, с кем вел разговор, — у кого бумажник, я бы наверняка сумел помочь бедному господину, и он получил бы его назад. Не помнит ли он, не болтался тут кто-нибудь поблизости, мальчишка или парень? Если бы только он мог описать его, это бы много помогло». Кто-то из слушателей, принимавший особенно горячее участие в бедном господине, пошел и сообщил ему, что говорит у входа в таверну какой-то молодой человек, то есть Уилл; тогда другой господин выходит к нему, отводит Уилла в сторонку и просит повторить, что он только что говорил по поводу этого дела. Уилл выглядел вполне внушающим доверие молодым человеком, и хотя был он в своем деле уже мастером, однако по внешности этого никак нельзя было сказать. Он отвечал, что случайно осведомлен об одной истории, в которой замешана целая шайка карманных воришек, так что, если бы ему дали хотя бы примерное описание подозреваемой личности, он ручается, что найдет вора и сумеет вернуть награбленное. На это господин предложил ему пойти вместе с ним к пострадавшему, что они тут же и сделали. Уилл потом рассказывал, что тот сидел, откинувшись на спинку стула, бледный как полотно, совершенно безутешный, словно приговоренный к казни, по описанию Уилла.

Когда они пришли к нему и спросили, не шатался ли поблизости от того места, где он стоял, какой-нибудь мальчишка или оборванец постарше, не терся ли около него, он ответил «нет», таких там не было, он даже не помнит, чтобы к нему вообще кто-нибудь там подходил. «Да-а, — сказал Уилл, — тогда трудновато будет найти воров, если вообще это возможно. Однако, — сказал Уилл, — если вы считаете, что игра стоит свеч, я могу поближе сойтись с этими мошенниками, хотя не хотелось бы, чтобы меня с ними видели, однако я проникну к ним, и если это проделал кто-нибудь из их шайки, десять против одного, я что-нибудь да разузнаю».

Тогда Уилла спросили, знает ли он, какую награду предложил господин тому, кто вернет ему бумажник; Уилл ответил «нет» (хотя у входа и слышал об этом), тогда они сказали, что он обещал за это сто фунтов. «Это слишком много, — возразил Уилл, — и если вы доверяете это дело мне, я или раздобуду бумажник за меньшее вознаграждение, или если не сумею, то вовсе ничего не возьму». Тут господин, у которого украли бумажник, сказал другому: «Передай ему, что, ежели он сумеет раздобыть его за меньшее вознаграждение, разницу получит он». На что Уильям, как они его называли, сказал, что будет рад оказать господину такую услугу и получить за то награду. «Так вот, молодой человек, — говорит один из присутствующих, — что бы вы ни назначили этому юному виртуозу, совершившему кражу, ибо, клянусь, такое проделать мог только виртуоз, он получит свое в пределах ста фунтов, а вам господин желает вручить, помимо всего, пятьдесят фунтов за ваши старания».

«Поверьте, сэр, — говорит Уилл с самым серьезным видом, — все получилось совершенно случайно: я проходил мимо дверей в таверну и, увидев толпу, спросил, что произошло, однако, если благодаря моим усилиям несчастный господин получит назад свой бумажник со всем его содержимым, я буду очень рад; и, признаюсь, сэр, не так я богат, чтобы отказываться от пятидесяти фунтов, они мне весьма пригодятся». Вслед за этим он условился, куда должен прийти и кому сообщить, если он что-либо выяснит, и так далее.

Уилл задержался там так надолго, что я, как мы с ним решили, пошел домой; он не возвращался до самой ночи; мы еще раньше догадались, что не стоит идти от них прямо ко мне, на случай если они захотят последовать за ним и сцапать меня. Уговор был такой: если встреча окажется безуспешной, он вернется через полчаса, если задержится, то мы встречаемся в обычном месте наших вечерних свиданий на Розмэри-Лейн.

Вернувшись, он передал мне весь разговор, особенно напирая на то, в каком отчаянии находится господин, у которого пропал бумажник, и выразил полную уверенность, что если мы вернем его, то получим за это кругленькую сумму.

Весь вечер мы совещались и составили такой план: назавтра он у них не появится, а придет лишь послезавтра, но ничего им существенного не сообщит, а скажет лишь, что напал на след и надеется достичь успеха, словом, изобразит все дело как можно сложней и создаст видимость всяческих препятствий. Когда на третий день он встретился с пострадавшим господином, тот уже начал волноваться, почему Уилл долго не появляется, и сказал, что Уилл, верно, водит его за нос и напрасно, дескать, они были столь легковерны тогда, что отпустили его, даже толком не расспросив.

Уилл принял оскорбленный вид и сказал, что, если его принимали не за того, кто он есть, только потому, что он взял на себя смелость предложить им свои услуги, они могли бы уже понять, что ошиблись на его счет, поскольку он ведь сам добровольно вернулся к ним. Но если они полагают, что следовало бы допросить его, что ж, пожалуйста, пусть допрашивают хоть сейчас, а сообщить он хотел только то, что ему известно, где обитает кое-кто из молодых мошенников, прославившихся как раз подобными проделками, и, поговорив с ними, а затем предложив им деньги и всякое такое, он уверен, что заставит их выложить друг о друге все, что нужно, и таким образом соберет все сведения, которые, если это будет необходимо, он готов повторить хоть перед самим мировым судьей; и, наконец, последнее: он потерял день, а то и два, стремясь услужить им, а за все свои старания не заработал ничего, кроме подозрений, и это-то после всего, что он для них сделал, так что пусть теперь они ищут свое добро сами, как хотят.

Тогда они пошли на попятный и спросили его, есть ли хоть малейшая надежда вернуть пропажу, на что он ответил им, что, не для хвастовства будь сказано, он кое-чего добился, и благодаря ему бумажник, векселя и прочее не сожгли; однако он не станет им ничего рассказывать, пока они не будут любезны ответить на один-два его вопроса. Они сказали, что готовы, если сумеют ответить, и попросили сказать, что его интересует.

— Послушайте, сэр, — сказал он, — как можете вы рассчитывать, что хоть один жулик, обчистивший вас на такую порядочную сумму, явится, чтобы отдать себя в ваши руки, признается, что все ваше богатство у него и вот он его вам возвращает, если вы не гарантируете ему выплату обещанного вознаграждения и не дадите заверение, что его не задержат, не станут задавать ему вопросов и не призовут к ответу перед судом?

В ответ ему пообещали дать все возможные гарантии.

— Не знаю, — сказал он, — не знаю, что за гарантии! Когда бедный малый окажется в ваших когтях и выложит вам ваше богатство, вы имеете все основания тут же схватить его, как вора. Да он и есть вор. Вы заберете свое богатство, а его отправите в тюрьму, и чем же тогда можно будет исправить положение?

Такой поворот дела поставил их в тупик, и они попросили его, не может ли он постараться заполучить все в свои руки, и тогда они выплатят обещанные деньги ему еще до того, как он выпустит из рук добычу, а когда он уйдет от них, они обещают еще полчаса не покидать комнаты.

— Нет, господа, — сказал он, — так не пойдет. Если бы вы раньше так говорили, вместо того чтоб ни за что ни про что грозиться арестовать меня, я бы вам поверил, но теперь ясно, что у вас на уме, и ни я, ни кто другой не может быть уверен в своей безопасности.

Чего только они не предлагали, но все было напрасно; наконец кто-то из присутствующих измыслил способ обеспечить ему безопасность, посулив под залог долгового обязательства на тысячу фунтов, что не тронут его, чего бы ни случилось. Но Уилл отговорился тем, что это их все равно ни к чему не обяжет, да и обязательство это никакой цены не имеет, ибо стоит только показать им добычу, и они ее схватят, а подумаешь, дело, сказал он, отправить какого-

то жалкого воришку под суд? В виде награждения, так сказать. На это они не знали, что и возразить, сказали только, чтобы он сам взял у того мальчишки, если это мальчишка, украденное, а они тогда выплатят все обещанные деньги ему. Но он лишь рассмеялся и сказал: «О нет, господа, я ведь не вор! И совершенно не желают брать на себя такую роль в расчете на вашу милость».

Тогда они сказали, что просто не знают, что делать и как это ужасно, что он не хочет им довериться, а он заметил, что, напротив, он очень хотел бы им довериться и услужить, если бы не думал, как это ужасно навлечь на себя обвинение в воровстве и погубить себя из-за одного только желания помочь им.

Наконец они предложили выдать ему расписку, что ни в чем его не подозревают, что никогда не предъявят никаких обвинений в связи с этим делом, а также подтверждают, что он производил розыски ценных бумаг по их просьбе, и если он их представит им, они обязуются выплатить ему такую-то сумму при вручении или даже до вручения этих бумаг, не требуя от него назвать или представить то лицо, которое отдаст ему эти бумаги.

Получив такое свидетельство, подписанное тремя из присутствующих господ и среди них самим господином, у которого украли бумаги, Уилл заявил, что пойдет и сделает все возможное, чтобы раздобыть бумажник со всем его содержимым.

Но сначала он попросил составить подробный список всего, что находилось в бумажнике, чтобы никто не мог сказать потом, когда он предъявит бумажник, что в нем чего-то не хватает, и этот список запечатать, а он, в свою очередь, заставит наложить печать на бумажник, когда получит его. Они с этим согласились, и тут же господин составил подробный перечень векселей, какие, как он помнит, сказал он, были в бумажнике, а также всех бриллиантов.

Один вексель за подписью сэра Генри Фёрнесса на 1200 ф.
Один вексель за подписью сэра Чарлза Данкома на 800 ф. с вычетом 250 ф. 550 ф.
Один вексель за подписью Ф.Тассела, ювелира 165 ф.
Один счет на имя сэра Фрэнсиса Чайлда 39 ф.
Счет на имя некоего Стюарта, который содержит контору по закладным и страховке 350 ф.
Сверток с 37 неоправленными бриллиантами, стоимостью примерно в 250 фунтов.
Маленький пакетик с тремя большими необработанными бриллиантами и с одним, тоже большим, отшлифованным и граненым, стоимостью в 185 фунтов.

И за все эти богатства они обещали ему столько, на сколько он сторгуется с самим жуликом, однако не более пятидесяти фунтов и еще пятьдесят фунтов ему за то, что он доставит им все это.

Теперь он знал, за какую ниточку ему ухватиться, и пришел прямо ко мне и честно выложил все, как есть; я тут же вручил ему бумажник, и он сказал, что, по его мнению, будет вполне справедливо взять всю обещанную сумму, поскольку дело выглядит так, будто он оказывает им услугу, облегчая тем самым их положение; я с этим согласился, и на другой день он отправился на условленное место, где господа уже ожидали его.

Он сразу же сообщил им, что выполнил их поручение, чем, он надеется, они будут довольны; он признался им, что, если бы не бриллианты, он бы вручил все назад за десять фунтов, однако бриллианты так играли и сияли в мальчишеском воображении, что воришка уже поговаривал о бегстве во Францию или Голландию, чтобы прожить там свою жизнь благородным джентльменом, на каковые слова господа только рассмеялись. «Однако же, — сказал он, — вот бумажник!» И с этими словами он вытащил бумажник, завернутый в грязный цветной лоскут, такой грязный, словно во всех лужах выкупался, и запечатанный каким-то никудышным сургучом с изображением фартинга вместо печати.

Они распечатали опись всех ценностей, а он одновременно развязал грязный лоскут и показал господину его бумажник, от чего тот пришел в неописуемую радость, но хотя

предварительные переговоры и подготовили его к этой радости, он все-таки был вынужден попросить бокал вина или коньяку, чтобы не лишиться чувств.

Открыли бумажник и первым делом достали оттуда сверток с бриллиантами, все они оказались на месте, все до одного, лишь маленький пакетик лежал отдельно, но и в нем, как засвидетельствовал владелец, все было в полном порядке, только необработанные бриллианты смешались с остальными.

Затем зачитали подряд все векселя и обнаружили один лишний на восемьдесят фунтов, который не был упомянут в описи, да еще некоторые бумаги, не ценные, но очень важные для господина; и он признал, что все возвращено по-честному. «А теперь, молодой человек, — сказали они, — вы убедитесь, что и мы честно сдержим свое слово по отношению к вам». И первым делом они выдали ему лично пятьдесят фунтов, а затем отсчитали пятьдесят для меня.

Он взял свои пятьдесят фунтов и спрятал их в карман, но так как они были в золотых, он сначала завернул их в бумагу. Затем он стал отсчитывать следующие пятьдесят фунтов, но, отсчитав тридцать, сказал: «Так вот, господа, поскольку я вел честную игру, пусть у вас не будет оснований считать, что я был честен не до конца. Я беру у вас только тридцать фунтов, поскольку на эту сумму я уговорился с юным вором, так что вот вам назад двадцать фунтов».

Они смотрели друг на друга, изумленные такой честностью. Потому как до этой минуты в глубине души у них все-таки таилось подозрение, что Уилл и есть вор, однако подобная хитрость совершенно обелила его в их глазах. Господин, обретший снова свои бумаги, заметил тихо одному из присутствующих: «Отдайте ему все». Но другой возразил (тоже тихо): «Нет, не стоит, раз уж он сам назвал цену и удовлетворен своими пятьюдесятью фунтами, которые вы ему дали». — «Ну хорошо, пусть будет по-вашему». Однако не так уж тихо они говорили, и Уилл, услышав их, заметил: «Нет, нет, не надо, я совершенно удовлетворен, я очень рад, что мне удалось оказать вам услугу», — и на этом они стали прощаться.

Но до того, как все разошлись, один из господ-свидетелей сказал ему: «Послушайте, молодой человек, вот вы сейчас убедились в нашей справедливости, мы поступили с вами так же честно, как вы с нами, и не просим вас открыть нам, кто этот ловкач, схвативший награду, но, поскольку уж вам довелось говорить с ним, не могли бы вы удовлетворить наше любопытство и рассказать, как он это проделал, чтобы впредь нам остерегаться таких виртуозов».

«Сэр, — сказал Уилл, — когда я передам вам, что мне сказали и как обстояло дело, господин будет винить во всем себя больше, чем кого-либо другого. Юный воришка, которому удалось схватить эту награду, был на охоте вместе со своим товарищем, самым ловким и опытным лондонским карманником, однако в тот решающий момент учитель находился далеко от ученика, и этот мальчуган, в жизни своей еще не обчистивший ни одного кармана, стоял, как он сказал, напротив входа в здание Биржи с восточной его стороны, а господин находился у самого входа и был совершенно поглощен разговором с другими господами, при этом он часто доставал свой бумажник, открывал его, вынимал оттуда одни бумаги, прятал другие и снова засовывал бумажник в карман сюртука, так что в один прекрасный момент бумажник то ли застрял по дороге, то ли наткнулся на что-то, что лежало в кармане, и остался так торчать. Мальчуган, который уже давно наблюдал за ним, заметил это, прошелся совсем рядом с господином и незаметно подхватил бумажник, так что господин даже ничего не почувствовал».

Продолжая разговор, Уилл сказал: «Ну не чудно ли, что господа, у которых в бумажнике такие ценности, суют его так небрежно прямо в карман». — «Совершенно верно», — согласился беседовавший с ним господин. Поговорив еще о всяких пустяках, Уилл вернулся ко мне.

Мы теперь сделались так богаты, что не знали толком, куда девать деньги, я во всяком случае, поскольку у меня не было ни родных, ни друга, и спрятать деньги было негде, разве что в собственном кармане; что же касается Уилла, у него была мать, бедная женщина, правда,

грешница и под стать Уиллу нечиста на руку, но он ее озолотил, и она вместе с ним порадовалась его успеху.

Добычу мы поделили поровну, несмотря на то что досталась она мне, однако, если бы не он, нам бы не удалось ею воспользоваться: это же его стараниями мы получили деньги, а друг без друга мы ничего не смогли бы добиться; что до векселей, то не приходилось сомневаться, а отнеси мы их немедленно к ювелиру, чтобы получить по ним деньги, их хозяин мог опередить нас с требованием приостановить выплату или пришел бы как раз, когда один из нас получал деньги, и схватил бы его на месте; а что до бриллиантов, такие бедняки, как мы, все равно никому не могли бы предложить их, кроме известных нам скупщиков краденого, но те заплатили бы нам за них всего ничего, по сравнению с тем, что они стоят на самом деле, ибо, как я уяснил себе позже, те, кто промышляют краденым, умеют так ловко обмануть на весе, что бедняга, совершивший кражу, теряет, по крайней мере, один к трем, если считать в унциях.

Так или иначе, мы, рассмотрев все возможности, воспользовались наилучшей; в ту пору у меня еще оставалась своеобразная врожденная совестливость: хотя я ничуть не угрызался, обделывая подобные делишки, в то же время я никогда не допускал, чтобы зря погибали векселя и бумаги, поскольку для других это был огромный ущерб, а для меня — все равно без пользы, и каждый раз я мучился из-за этого и не имел покою ни днем, ни ночью, пока не возвращал назад бумаги.

Итак, теперь я был богат, так богат, что не знал, что делать и с собой и с деньгами. Я жил настолько скудно и бережливо, что, хотя мне и случалось, как я уже говорил, выложить два-три пенса, чтобы утолить голод, все равно находилось так много людей, посылавших меня с поручениями и дававших за это еду, а иногда и одежду, что за целый год я не израсходовал даже пятнадцати шиллингов из тех, что хранились у господина из таможни, да еще у меня имелись в кармане четыре гинеи от самой первой добычи, я имею в виду деньги, которые когда-то провалились в дупло дерева.

Но аппетиты мои разгорелись; мы еще не раз выходили с Уиллом на охоту, но уже из-за такой мелочи, как платки и прочее, не пачкались, избегая рисковать по пустякам. Вот как-то в одну из пятниц прогуливались мы возле Уэст-Смитфилда[17] и набрели на одного старика, приехавшего из деревни продавать на рынке здоровенных волов, по всему судя из Сассекса[18], так как мы слышали, как он похвалялся, что во всем сассекском графстве не сыщешь лучших волов; его милость — так к нему все обращались — получил деньги за своих волов в таверне, название которой сейчас уж не припомню, засунул их все в кошель и нес этот кошель в руке, как вдруг на него напал приступ кашля, так что пришлось ему остановиться и опереться рукою, в которой держал он кошель с деньгами, об угол какой-то лавки, находившейся неподалеку от Монастырских ворот, в Смитфилде, дома за три-четыре от них. Мы оказались тут как тут, и Уилл говорит мне: «Не зевай!» — и с этими словами, притворившись, что споткнулся, налетает с размаху на старого господина в тот самый момент, когда у того совсем перехватило дыхание от кашля, чуть бедняга не задохнулся.

Мощный удар сшиб благородного старца с ног, однако кошель с деньгами он при этом из рук не выпустил, но тут подскочил я, схватился за кошелек, рванул его к себе, и, завладев им, понесся, словно ветер, вдоль по Монастырской[19], а потом, пробежав ее всю, свернул налево и прямиком через Литл-Бритн в Варфоломеевский тупик, пересек Олдерсгейт-стрит и через Полз-Элли выбрался на Ред-кросс и дальше, минуя бесчисленные улицы и переулки, не давал себе передышки, пока не очутился во втором квартале Мурфилдса, где было давнишнее наше место встречи.

Тем временем Уилл, который вместе со стариком полетел на землю, быстренько вскочил; почтенный господин — таковым он, во всяком случае, казался — был в перепуге от своего падения и так зашелся в кашле, что совсем не мог какое-то время говорить; этой минуты было достаточно, чтобы проворному Уиллу подняться с земли и улизнуть. Старик долго не мог даже крикнуть: «Держи вора!» — или хотя бы объяснить кому-нибудь, что у него что-то отняли;

продолжая сильно кашлять, отчего кровь прилила у него к лицу, так что оно даже побагровело, он лишь вымолвил: «В… в… во… кхе, кхе, кхе, воры… кхе, украли, кхе, кхе, кхе, кхе, кхе…» Затем набрал воздуха и снова: «Воры… кхе, кхе…» — и так после многочисленных «кхе, кхе» и «воры», докончил: «Украли у меня кошелек с деньгами!»

Люди не скоро поняли, что случилось, а потому ворам вполне хватило времени, чтобы скрыться, и через полчаса Уилл явился на наше место встречи; мы уселись, как всегда, на травку и вытряхнули все деньги, которых оказалось восемь гиней, пять фунтов и восемь шиллингов серебром, итого в целом четырнадцать фунтов; разделив все на месте, мы в тот же день отправились за новой добычей; однако, то ли успех ударил нам в голову и мы утратили зоркость, то ли не представилось еще одного удобного случая, уж не знаю, только ничего больше мы в этот вечер так и не раздобыли, даже и не пытались.

Такого рода прогулок мы совершали немало, иногда вдвоем, держась на некотором расстоянии друг от друга; на нашу долю выпало несколько мелких удач, но, как я уже говорил, успех так ударил нам в голову, что на мелочь мы не растрачивались, иные были бы и ей рады, но только не мы, нас интересовали бумажники, портфели да звонкая монета.

Следующее наше приключение случилось под вечер в одном из дворов, через который можно попасть с Грейс-Черч-стрит на Ломбард-стрит, где стоит Дом Квакеров; там попался нам один молодой человек, после мы узнали, что он был учеником у суконщика с Грейс-Черч-стрит и, как видно, только успев получить порядочную сумму денег, направлялся с ними к ювелиру на Ломбард-стрит; пока он расплачивался там, отдав большую часть денег, которые были при нем, уже стемнело, и ювелир принялся запирать свою лавку и зажигать свечи. Мы стояли на другой стороне и наблюдали, что он будет делать. Выплатив сполна все, что полагалось, он еще задержался, чтобы получить расписку; к этому времени сумерки совсем сгустились; наконец он покинул ювелирную лавку и вышел прямо в темный двор, держа под мышкой все еще довольно толстую сумку с деньгами; посередине двора идет крытая галерея, в конце которой есть ступенька, и стоит шагнуть вниз, как по левую руку от вас уже и Грейс-Черч-стрит.

«Будь наготове, — говорит мне Уилл, — не мешкай». И с этими словами ринулся на молодого человека и толкнул его с такой силой, что тот, не в силах сохранить равновесие, устремился вперед, попытался устоять на ногах, споткнулся о ступеньку и, словно на крыльях, вылетел уже в другом конце двора, распластавшись на земле головой в сторону Дома Квакеров. Я был наготове и тут же подхватил сумку с деньгами, которая выпала у него из рук, когда он вынужден был спасать свою жизнь, а не деньги. Схватив сумку, я бросился наутек, а Уилл, поняв, что я подобрал ее, побежал назад; когда я находился уже на Фен-Черч-стрит, он нагнал меня, и мы вместе помчались домой. Бедный юноша пострадал от падения только слегка, и все же, как мы потом узнали, доложил своему хозяину, что был сбит с ног сильным ударом дубинки, однако это неправда, потому как ни у меня, ни у Уилла никакой дубинки в руках не было; кажется, хозяин юноши был так счастлив, что это случилось уже после того, как его ученик успел выплатить часть денег (а она составляла более ста фунтов) ювелиру, которого звали сэр Джон Суитэпл, что большого шума из-за своей потери не поднимал; как выяснилось, он лишь предупредил своего ученика впредь быть поосторожнее и не ходить подобными дворами, когда стемнеет. И все-таки истинную причину своего спасения молодой человек угадать не мог, ибо не знал, что мы-то положили на него глаз еще раньше, когда все деньги были при нем, однако для нашей работы то было неподходящее время суток, и потому он оказался вне опасности.

Добыча наша составляла двадцать девять фунтов шестнадцать шиллингов, то есть по четырнадцать фунтов восемнадцать шиллингов на брата, что значительно увеличивало мои сбережения, которые становились уже чересчур солидными, чтоб таскать их все с собой, так что теперь мне только прибавилось забот, как бы их сберечь. Я нуждался в верном друге, которому мог бы доверить их, но откуда у бедняги, выросшего среди воров, возьмется такой

друг? Стоило бы мне признаться честным людям, что я владею таким богатством, они бы перво-наперво спросили, откуда оно у меня, да и побоялись бы взять его на сохранение — а что, ежели меня за мои делишки рано или поздно сцапают, ведь тогда и их обвинят в утайке краденого и в поощрении воровства.

А покуда суд да дело, мы еще много удачных вылазок совершили, самого разного свойства, и все же ни разу не попались; однако мой напарник Уилл — к тому времени он уж стал взрослым мужчиной, — окрыленный нашими успехами, ступил на совсем иную стезю преступлений и свел дружбу с шайкой отпетых негодяев, которые готовы были взяться за любое грязное дело.

Уилл был парень что надо, здоровяк да к тому же отчаянный храбрец, спуску никому не давал и готов был на все; я заметил, что он уже ставит себя выше нашего брата, ничтожных карманных воришек, и появляется среди нас все реже. Но вот как-то он приходит ко мне и заводит дружескую беседу, как, мол, идут у меня дела, я отвечаю, что по-прежнему занимаюсь нашим старым ремеслом, что было у меня два-три удачных дельца, одно с молодой женщиной, чей карман я облегчил на одиннадцать гиней, другое — с крестьянкой: она только успела сойти с дилижанса, и я видел, как она вытащила кошелек, чтобы расплатиться с кучером, и последовал за ней, пока не представился удобный случай стянуть его, да так чисто, что, хотя в нем хранилось целых восемь фунтов семнадцать шиллингов, она и не заметила, как их не стало; рассказал я ему про несколько дел, принесших мне славную добычу. «Я всегда говорил, что ты счастливчик, Полковник Джек, — сказал Уилл. — Послушай, ты ведь уже не мальчик, не собираешься же ты весь век играть в бирюльки. Я тут втянулся в одно стоящее дело, ей-ей, стоящее, тебя тоже можно взять на него. Введу-ка я тебя в нашу компанию, Джек, — ребята там все отважные и настоящие джентльмены, вот увидишь».

И он вкратце описал мне, чем они занимались; оказывается, эти молодчики набили себе руку на двух самых отчаянных в воровском искусстве специальностях, а именно: когда стемнеет — грабеж на дорогах, а по ночам — кража со взломом. Уилл рассказал мне столько заманчивых историй, о таких великих делах поведал мне, что я, и так привыкший его во всем слушаться, без колебаний решил последовать за ним.

Ясно одно, что из-за полного моего невежества, так как детство я провел без учителей, о чем я уже не раз упоминал, а в какой-то мере также из-за грубости и безнравственности компании, какую я водил, да прибавить к этому, что только к их ремеслу я имел склонность, повторяю, по всем этим причинам мне до сих пор не приходилось даже задумываться, добро или зло я творю, а следственно, меня не тревожили ни угрызения совести, ни сожаления из-за совершенных мною дурных поступков.

И тем не менее оставалась во мне какая-то неведомая сила, которая не давала мне окончательно погрязть в беспутстве и пороке и разделить ничтожный удел моих товарищей. Никогда, к примеру, не имел я привычки употреблять бранные слова; хоть кто-нибудь когда слышал, как я ругаюсь? И пить не пил, не пристрастился к крепким напиткам. Не могу тут не рассказать вам, какой случай уберег меня от этого. Была у меня, как я уже говорил, некая убежденность в моем благородном происхождении; целый ряд самых неожиданных событий укрепили во мне эту своего рода фантазию, и случилось однажды так, что, когда я находился во дворе стекольного завода, что между Розмэри-Лейн и Рэтклиф-Хайуэй, туда зашел один богато одетый господин, свою карету он оставил на улице; зашел, я полагаю, чтобы купить бутылки или еще что из тамошних товаров; и вот, договариваясь о покупке, он через каждое слово вставлял самые грязные ругательства, какие знал.

Наконец хозяин стекольного завода, серьезный, преклонных лет человек, осмелился сделать ему замечание, на которое тот ответил руганью еще похлеще; понемногу, однако, господин этот поостыл, хотя долго еще продолжал сквернословить, разве что не так бойко; в конце концов хозяин стекольного завода не выдержал и повернулся, чтобы уйти. «Ну и ругатель вы, сэр, — сказал честный старик, — бога вы не боитесь, поминая имя господне всуе.

Не могу я больше с вами тут разговаривать, уж будьте добры, оставьте в покое мои бутылки и прочее и ступайте за ними в какое-нибудь другое место, не в обиду будь вам сказано, не хочу я иметь дело с таким хулителем божиим, а то как бы мой стекольный завод не обрушился тут вам на голову».

Господин принял сей выговор весьма добродушно и сказал: «Стойте, не уходите, обещаю больше не ругаться, — сказал он. — Если, конечно, утерплю, — добавил он, — во всяком случае, постараюсь, потому, что ни говори, а вы правы».

Тут старик хозяин глянул на него и, воротившись, сказал: «Честное слово, сэр, — сказал он, — просто горько наблюдать, когда такой благородный, хорошо воспитанный господин, и к тому же добродушный, подвержен столь ужасной привычке; ну разве пристало джентльмену ругаться, вы же не из этих чумазых, что работают у печи, или вон тех голодранцев, разбойников малолетних, — сказал он, указывая на меня и на прочих из нашей грязной команды, спавшей в золе. — Даже для них это стыд и срам, — говорит он, — их бы тоже стоило за это проучить. А уж для воспитанного человека, сэр, — сказал он, — для дворянина! Это ставит вас ниже их, а дворяне ведь люди образованные и ученые, не как прочие, сразу вот видно, что вы человек ученый. Заклинаю вас, сэр, когда вы испытываете искушение употребить крепкое словцо, спросите себя, достоин ли будет сей поступок истинного джентльмена? К лицу ли он дворянину? Задайте себе только один вопрос, и разум ваш восторжествует, и вы бросите сие недостойное занятие!»

От этих слов, из коих я не пропустил ни одного, кровь застыла в моих жилах, особливо когда он сказал, что ругаться пристало только таким, как мы; словом, на меня все это произвело такое же сильное впечатление, как и на самого господина, который принял стариковское внушение вполне благосклонно и поблагодарил старика за совет. Именно с тех пор я навек утратил всякую склонность к брани и к крепким выражениям и совершенно не терпел, когда их употреблял кто-нибудь из наших; что же до выпивки, то мне и случая-то не представлялось, поскольку пил я только воду или слабенькое пиво, когда угощали, а крепким кто угостит? И даже после того, как завелись у меня деньги, я все равно обходился без крепкого пива, и желания не было, да и денег тратить на него не хотелось.

А в общем-то, спору нет, никаких принципов, какие внушает образование, у меня не было, и, будучи с малолетства увлечен судьбою моею на путь порока, я совершенно не отдавал себе отчета, сколь губительный след это оставляет в моей душе. Когда же я стал приближаться к сознательному возрасту и уразумел, что я вор, выросший среди всякого рода гнусностей, и мне уготована дорога на виселицу, меня стала часто посещать мысль, что я неверно живу, что я прямиком качусь в ад, и я не раз задумывался и спрашивал сам себя: разве это жизнь, достойная дворянина?

Однако легкие укоры совести улетучивались так же быстро, как возникали, и я продолжал заниматься своим ремеслом, в особенности когда меня поощрял к этому Уилл, о чем я уже рассказывал вам, ибо в подобных делах он был для меня своего рода наставником, и я, следуя привычке подражать ему, достиг в нашей работе такой же ловкости, какою славился мой учитель.

Итак, возвращаюсь к тому, на чем я остановился: ко мне пришел Уилл и рассказал, каким стоящим делом он теперь занимается, и предложил мне присоединиться к нему, пообещав, что тогда наконец и я почувствую себя джентльменом. Только Уилл это слово понимал иначе, чем я, его «джентльмен» означал всего-навсего — джентльмен среди воров или мошенник более высокого пошиба, чем карманный воришка, словом — всякий, кто способен на темные дела, за которые грозит виселица, не чета нам. А мой «джентльмен», которого я вынашивал в своем сердце, означал совсем другое, хотя в точности я и не мог бы объяснить вам, что именно.

Слово это, однако, на меня подействовало, и я отправился за Уиллом; мы оба были еще молоды: Уиллу стукнуло двадцать четыре, а мне к тому времени почти исполнилось восемнадцать, но для своего возраста я был уже довольно рослым малым.

Для начала он познакомил меня с двумя молодцами; мы встретились в нижней части Грейс-Инн-Лейн примерно за час до захода солнца и двинулись оттуда на Пустошь, к тому месту, которое называется Пиндар-оф-Уэйкфилд, где стоит множество печей для обжига кирпича. Отсюда решено было разными тропинками выйти к большой дороге и следовать по ней дальше к Панкрас-Черч[20] в поисках случайной дичи, которую они могли бы, по их выражению, подстрелить на лету. Там, где от большой дороги отходит тропа на Кентиш-Таун, двое из нашей банды — Уилл и один из тех двоих — встретили одинокого путника, торопившегося в город; почти совсем уже стемнело, и Уилл крикнул: «Готовьсь!» Это, кажется, означало, что нам следует замереть на месте в отдалении от него и, если ему понадобится помощь, приблизиться, если же заметим опасность, дать ему сигнал.

И вот Уилл подходит к этому господину, останавливает его и говорит: «Ваши деньги, сэр!» Прохожий, видя, что Уилл один, замахивается на него своей палкой, однако Уилл, парень верткий и сильный, налетает на него и валит на землю; тот просит пощады, а Уилл божится, что перережет ему глотку. Пока разворачиваются эти события, мимо по дороге проезжает наемная карета, и тогда четвертый из нашей шайки, который стоял как раз на дороге, кричит: «Готовьсь!» Этим он дает знать, что пахнет богатой добычей, а опасности нет никакой, и напарник Уилла немедля бросается ему на помощь; они останавливают карету, в которой ехали доктор и хирург, возвращавшиеся от солидного пациента, получив от него, я полагаю, не менее солидный гонорар, поскольку у них отняли два туго набитых кошелька, один с одиннадцатью или двенадцатью гинеями, а другой с шестью, не считая карманной мелочи, двух пар часов, одного кольца с бриллиантом да еще ящичка с хирургическими инструментами из чистого серебра.

Пока наши дружки были заняты делом, Уилл стерег пешехода, которого повалил на землю; впрочем, он пообещал не убивать его, если тот не будет шуметь, однако не давал ему даже шевельнуться, пока не услышал снова стук кареты и не убедился, что дело на той стороне дороги обделано чисто. Тогда он оттащил человека от проезжей части, связал ему за спиной руки и посоветовал лежать смирно, не шуметь, посулив через полчаса вернуться и развязать руки, в чем дал честное благородное слово, а ежели тот закричит, то он вернется, чтобы прикончить его, сказал он.

Бедняга пообещал лежать смирно и не шуметь, и свое обещание сдержал; в кармане у него оказалось всего одиннадцать шиллингов шесть пенсов, которые Уилл и забрал, а потом примкнул к остальным; когда они встретились, я находился уже около Пиндар-оф-Уэйкфилд, и мне тоже представился случай крикнуть: «Готовьсь!»

Я увидел двух бедных женщин, одна смахивала на няньку, другая на горничную, и направлялись они в Кентиш-Таун. Поскольку Уилл знал, что я новичок в этом деле, он тут же подлетел ко мне на подмогу, однако, увидев, что дело выеденного яйца не стоит, сказал: «За работу, Полковник!» Я подошел к женщинам и, обращаясь к старшей, то есть к нянюшке, сказал: «Не спешите так, я хочу с вами поговорить». Они, видимо, испугались и остановились. «Не бойся, милая, — сказал я горничной, — пошарь-ка лучше на дне своего кармана, и, пусть сумма невелика, дело сразу устроится, я вас не обижу». Как раз в это время к нам подошел Уилл, которого они раньше не видели и потому от неожиданности вскрикнули. «Перестаньте, — говорю я, — не вопите, если не хотите заставить нас против нашей же воли действовать силой. Отдавайте-ка все ваши деньги без лишних слов, и мы вас отпустим подобру-поздорову». На это бедная служанка вытаскивает пять шиллингов шесть пенсов, а старуха целую гинею и еще шиллинг, оплакивая их горючими слезами, потому как отдала последние свои деньги.

Что делать, мы забрали у них все, хотя сердце мое обливалось кровью при виде отчаяния бедной женщины, когда она расставалась со своими деньгами, и я спросил ее, где она проживает. Она ответила, что фамилия ее Смит и что живет она в Кентиш-Тауне; больше я ничего не сказал ей и предложил следовать по своим делам, а деньги отдал Уиллу, и через несколько минут мы присоединились к остальным. Тогда один из двух грабителей и говорит: «Пошли, нечего топтаться на одном месте, пора сматывать удочки». И мы двинулись прочь оттуда, пересекли Мурфилдс, а оттуда — напрямик к Тотенхэм-Корту[21], когда Уилл вдруг говорит: «Стойте, я должен вернуться и освободить того человека!» — «А-а, черт с ним, — говорит один из тех, — пусть валяется». — «Нет, — говорит Уилл, — не хочу я нарушить слово, пойду развяжу его». И он вернулся на место, однако человек уже исчез, то ли сам развязал себя, то ли кто мимо проходил и он взмолился о помощи, и его освободили, во всяком случае, Уилл его не нашел и тот не отозвался, хоть Уилл и осмелился дважды громко окликнуть его.

Это заставило нас заторопиться, однако идти по Тотенхэм-Корт-Роуд им показалось слишком опасно, так что они вошли в город возле Сент-Джайлз[22], потом свернули на Пикадилли и следовали по ней до ворот Гайд-Парка: здесь они, вернее, Уилл и один из его компании, рискнули ограбить еще одну карету где-то в районе между воротами парка и Найтсбриджем; в карете ехали лишь джентльмен с дамой легкого поведения, то есть шлюхой, которую, судя по всему, он подцепил неподалеку от Спринг-Гарден; они отобрали у джентльмена все деньги, часы и шпагу с серебряным эфесом, когда же подступились к его даме, она покрыла их на чем свет стоит за то, что они отняли у джентльмена все его деньги и для нее ничего не осталось, у нее же самой не оказалось и шестипенсовика, хотя одета она была вполне прилично.

После этого подвига мы покинули дорогу и, миновав пустошь Мурфилдс, пришли в Челси[23]; по пути от Уэстминстера к Челси нам повстречались три джентльмена, но на вид они были крепкие ребята, так что связываться с ними не стоило, к тому же, побоявшись идти одни через Мурфилдс в такое позднее время (уже пробило восемь, и хотя луна светила, все же было слишком поздно и слишком темно, чтобы чувствовать себя в безопасности), они наняли в Челси троих провожатых, двое были с вилами, а третий, лодочник, с багром на шесте, чтобы охранять господ, так что мы постарались убраться с их дороги, чтобы они нас, по возможности, не заметили, но они все-таки увидели нас и крикнули: «Кто идет?» Мы ответили: «Добрые люди!»

И они проследовали дальше, к великому нашему удовольствию.

Когда мы добрались до Челси, оказалось, нам предстоит другая работа, которая также была мне в новинку, а именно — ограбление дома. Судя по всему, у них был сговор со слугой из этого дома, который тоже принадлежал к их шайке; этот мошенник служил то ли камердинером, то ли ливрейным лакеем и должен был впустить их по условленному сигналу. И вот этот малый не оттого, что у него не хватило подлости, а просто по пьянке забыл свою роль, чем горько разочаровал нас, так как он пообещал встать в два часа ночи и открыть нам дверь, а вместо этого напился и не пришел домой как положено к одиннадцати, за что господин вообще велел его прогнать, двери в доме запереть и другим слугам его не впускать ни под каким видом.

Мы были около дома уже к часу ночи, — надо было осмотреться, а потом залечь у стены Боферт-Хаус[24], пока не пробьет два, и только тогда вернуться. Но вот послушайте только: подходим мы к дому и видим у дверей нашего молодца, который дрыхнет без задних ног, в стельку пьяный. Уилл, который, как я понял, был главарем в этих делах, стал будить его, а так как негодяй уже проспал часа два, то он слегка очухался и доложил нам о своем, как он выразился, невезенье, из-за которого не может теперь попасть в дом; с собой у них имелись кой-какие инструменты, которые помогли бы взломать замок, однако Уилл полагал, что лучше подождать другого раза, когда их впустят в дом по-тихому, и было решено отложить дело до следующего случая.

Да, пьянка эта сослужила хорошую службу владельцам дома, потому как, будучи не только выпивохой, но и наглецом, слуга спьяну обронил несколько слов, звучавших подозрительно, в том духе, что, мол, пусть лучше откроют ему дверь, не то им же хуже будет, и все в таком роде; господин слышал его слова и утром велел ему убираться восвояси и носу больше не казать в его дом; вот я и говорю, хорошую службу сослужила эта пьянка всему семейству, ибо спасла их от ограбления, а может, и от гибели, потому как судьба поставила на их пути грязную шайку убийц, в которой, как я потом выяснил, насчитывалось всего тринадцать человек, из коих трое, как правило, нанимались в услужение к господам, чтобы как-нибудь ночью открыть дверь и впустить в дом остальных бандитов, а там уж пусть они грабят и убивают хоть всех подряд.

Я провел с ними всю ночь; из Челси, где, как я уже упоминал, их постигло разочарование, они отправились в Кенсингтон[25], там они влезли в пивоварню и в прачечную, а оттуда проникли на кухню господского дома, где сняли небольшой медный котел и унесли его, а с ним заодно кое-что из оловянной посуды, и благополучно скрылись; потом каждый добрался до условленного места, где обычно оставлял краденое.

Весь следующий день мы спокойно отдыхали и делили выручку за прошлую ночь; на мою долю пришлось восемь фунтов девятнадцать шиллингов; медный котел и оловянную посуду взвесили, и тут же нашелся человек, который взял их на вес за половинную стоимость. Вечером мы с Уиллом вышли пройтись, Уилл был весьма доволен нашим успехом и выражал уверенность, что если так дальше пойдет, мы каждый день будем выручать столько же. Однако он заметил, что меня не окрылил успех нашей ночной прогулки, не то что бывало прежде, а также что я не разделяю его надежд на лучшее будущее, хотя сам я об этом ничего ему не сказал.

Из головы у меня не шел случай с бедной женщиной из Кентиш-Тауна, и я решил, коли представится возможность, разыскать ее и непременно вернуть ей деньги. За чувством отвращения, какое вызвал у меня этот жестокий поступок, естественно, последовало легкое разочарование в самом роде занятия, и я, как никогда ясно, понял, что это прямая дорога в ад и, уж конечно, не жизнь для урожденного джентльмена.

На этом мы с Уиллом расстались, однако на другое утро опять встретились; Уилл казался очень весел и оживлен.

— Ну, Полковник Джек, — сказал он, — скоро мы станем богачами.

— Ну и что мы будем делать, — говорю я, — когда станем богачами?

— Ха, — говорит он, — купим себе пару добрых коней и будем действовать дальше.

— А что ты имеешь в виду под «действовать дальше»? — говорю я.

— А то, — говорит он, — что мы выйдем на большую дорогу настоящими джентльменами и награбим кучу денег.

— Ну, а что тогда? — говорю я.

— Вот тогда мы наконец заживем по-джентльменски.

— Скажи, Уилл, — говорю я, — а если мы награбим кучу денег, разве мы не бросим наше ремесло, не успокоимся наконец, не заживем тихо-мирно?

— Нет, — говорит он, — вот когда мы накопим целое состояние, тогда при большом желании можно и бросить.

— Да, но только где мы окажемся к тому времени, — говорю я, — если будем продолжать заниматься нашим проклятым ремеслом?

— Послушай, не ломай ты себе голову, — говорит Уилл, — если будешь много думать об этом, никогда не станешь джентльменом.

Слова его сильно задели меня, ибо меня не покидала мысль, что мне на роду написано быть джентльменом, и потому на какое-то время я замолк, но потом опять принялся за свое и довольно резко спросил Уилла, почему он называет это жить по-джентльменски?

— А как же еще? — говорит Уилл.

— Ну разве это по-джентльменски, — говорю я, — отнять двадцать два шиллинга у бедной старухи, которая на коленях молила не забирать их, объясняя мне, что это все, что есть у нее на пропитание — свое собственное и ее больного мужа. Неужели ты думаешь, что, не стой ты рядом со мной, у меня хватило б жестокости отнять у нее деньги? Да я обливался такими же горючими слезами, как сама бедная женщина, хотя и виду тебе не показал.

— Ну и дурак же ты, — говорит Уилл, — не годишься ты ни черта для нашей профессии, коли тебя бередят такие мысли, ну да я живо излечу тебя от этой дури. Ежели ты и впрямь хочешь добиться успеха в нашем ремесле, ты должен научиться отвечать силой на их сопротивление, а когда просят пощады, затыкать им глотку. Что такое жалость, скажи? Кто-нибудь пожалеет нас, когда поведут нас в Олд Бейли[26]? Да слово тебе даю, эта старуха, что так вопила и клянчила назад свои шиллинги, и не подумала бы спасти нас, даже если бы мы с тобой упали перед ней на колени и просили, чтобы она не являлась свидетельствовать против нас. Где, когда ты видел, чтоб кто-нибудь плакал, когда нашего брата джентльмена ведут на виселицу, а?

— И все-таки, Уилл, — говорю я, — лучше бы нам заниматься тем прежним делом, во всяком случае, тогда все обходилось без насилия, а денег выручали больше, чем мы получим здесь, уверяю тебя.

— Нет, нет, — говорит Уилл, — ты просто глупец, ты даже не представляешь себе, какие дела нам предстоят вскорости.

Поговорив так, мы расстались, однако я дал себе зарок никогда впредь не участвовать в подобных его предприятиях. И в самом деле, это была такая мерзкая шайка отъявленных негодяев, что страшно даже вспомнить; чего я только не наслушался за то короткое время, что провел с ними, но особенно противна мне была их привычка ругаться на каждом слове и осыпать проклятьями самих себя и друг друга; на уме у них, как я заметил, только и было, что убивать да резать. Впервые я понял это, когда обсуждалась их неудача в Челси, и те два негодяя, какие были с нами, и сам Уилл ругались и чертыхались, что нам не удалось проникнуть в дом, клялись, что с удовольствием перерезали бы хозяину горло, если бы наконец очутились там, и, скрепив эту клятву рукопожатием, призвали на свою голову еще худшие проклятья, ежели они не прикончат все семейство, как только Тому (так звали того лакея) представится случай впустить их в дом.

Два дня спустя Уилл наведался ко мне домой, — к тому времени я уже поселился в отдельной комнате и завел себе вполне приличное платье и несколько рубашек, так что выглядел теперь не хуже людей, — но случилось так, что он меня не застал, поскольку я вышел на разведку в другом направлении; хоть я и не докатился еще до того, чтобы стать подлым злодеем, как этого хотелось Уиллу, однако я не придерживался и твердых правил, которые помогли бы бросить жизнь по-своему достаточно порочную и грозящую гибелью, пусть и не столь быстрой и неукоснительной. Он оставил мне весточку, чтобы я пришел на встречу с ним в условленное место на другой вечер; я постарался быть вовремя, приняв заранее решение, что тут же порву с ним и с его шайкой.

К великому моему удовольствию, я его не нашел, так как он вообще не явился на место, потому что отправился на встречу со своими дружками: те срочно послали за ним, получив известие насчет какой-то там добычи; наверное, им дал знать один из сообщников, служивший неподалеку от Хадслоу[27], в чужом доме, который они тогда же лихо ограбили; правда, они ранили хозяйского садовника, и тот, кажется, отдал богу душу, но зато уволокли оттуда много денег и столового серебра.

Однако чисто сработать и сбыть все с рук без помех им на этот раз не удалось из-за стычки с соседями; за нашими джентльменами была послана погоня, и уже в Лондоне, куда они явились со своей добычей, одного из них сцапали. Ловкачу Уиллу, главарю всей шайки, удалось смыться: он как был в одежде да еще с порядочным грузом — деньгами и столовым серебром — бросился вплавь через Темзу и вылез на берегу в глухом месте, чтобы никто не подумал его там искать. Выбравшись из воды, весь мокрый, он направился в ближайшую рощу неподалеку от Чертей, как он мне потом рассказывал, и скрывался там и в окрестных полях, пока не просохла его одежда, после чего уже ночью добрался до Кингстона, а оттуда в Мортлэк[28], где нанял лодку до Лондона.

Он ни сном ни духом не ведал, что одного из его дружков сцапали; знал только, что погоня буквально наступала им на пятки, а потому им надлежит рассеяться и каждому спасать свою шкуру. Судьба ему явно благоприятствовала, так как он пришел к себе домой вечером тут же вслед за тем, как там побывали констебли; его соучастник, который попался, за обещанное помилование выдал остальных членов шайки, среди них и Уилла, как главаря всего предприятия.

Уилл получил об этом уведомление как раз вовремя, чтобы успеть сбежать, так что его не сцапали, и он отправился прямиком ко мне; однако судьба улыбнулась и мне, и он опять не застал меня дома, правда, он оставил в моей комнате всю награбленную добычу, завернув ее в старый сюртук и засунув ко мне под матрац, а мне велел передать, что заходил, дескать, братец Уилл и оставил сюртук, который брал у меня взаймы, и что он лежит у меня под матрацем.

Я не знал, что и думать, и тут же поспешил осмотреть постель; обнаружив пакет, я пришел в совершеннейший ужас, так как в нем было завернуто более ста фунтов столового серебра и еще деньги, к тому же для меня было полной неожиданностью появление, как он себя назвал, братца Уилла, от которого я не имел никаких известий в продолжение трех-четырех дней.

Прошло еще четыре дня, и по чистой случайности я узнаю, что Уилл, которого часто видели со мной и который называл меня своим братом, попался и ждет виселицы. В тот же день один бедняк сапожник, который раньше проявлял ко мне доброжелательство, посылал меня с разными поручениями и угощал иногда чем бог пошлет, увидел меня на Розмэри-Лейн, когда я проходил мимо, и — цап меня за плечо.

— Ага, молодой человек, — говорит он, — вот ты и попался, — и поволок меня, словно констебль вора. — Вот ты и попался, Полковник Джек, — повторяет он. — А ну-ка, пойдем со мной, поговорим. Значит, и ты тоже затесался в их шайку? Выходит, ты у нас взломщик! Пойдем, пойдем, уж я похлопочу, чтоб тебя вздернули.

Хоть я и не был замешан в этой истории, слова его заставили меня содрогнуться, — я ведь и раньше беспокоился, не представляя себе, какое обвинение мне могут предъявить за связь с Уиллом, если того схватят, а этим самым утром я услышал, что его уже схватили. Высказавшись, сапожник поволок меня, словно я все еще был мальчишкой.

Но понемногу я пришел в себя и сердито спросил его:

— О чем вы толкуете, мистер…? Пустите меня, не то я вас заставлю это сделать! — И с этими словами я остановился, чтобы он мог своими глазами убедиться, что, пожалуй, я уже вышел из того возраста, когда меня можно гонять с поручениями, и что так волочить меня теперь неудобно, при этом я слегка повел рукой, словно собираясь съездить ему по физиономии.

— Как, Джек! — воскликнул он. — Ты хочешь меня ударить? Ударить меня, твоего старого друга? — И он тут же выпустил мою руку и засмеялся. — Ну, ладно, ладно, Полковник, — сказал он, — а знаешь, я и в самом деле слышал про тебя плохие вести. Говорят, будто ты встрял в дурную компанию и этот самый Уилл называет тебя своим братом; он большой негодяй, и, слышь, его обвиняют в мокром деле и беспременно повесят, коли схватят. Надеюсь,

ты тут не замешан, а коли замешан, советую тебе поскорее смываться, потому как за ним охотятся констебль и сам шериф, и, если он что может свалить на тебя, он беспременно это сделает, будь уверен, чтобы спасти себя, он не пожалеет отправить тебя на виселицу.

С его стороны сообщить это было любезностью, и я поблагодарил его, однако заметил, что дело это слишком серьезное и чревато последствиями, и шутки, какие он только что себе позволил, здесь неуместны; чего доброго, какой-нибудь случайный прохожий по неведению может схватить меня, как настоящего преступника, тогда как никакого отношения я к этому не имею, кроме знакомства с главарем, словом, я могу влипнуть в историю ни за что; во всяком случае, люди обвинят меня в связи с этой шайкой, неважно, так это на самом деле или нет, и одно обвинение уже очернит меня, хотя я ни в чем не замешан.

Он согласился со мной и сказал, что пошутил, так уж, по старой привычке. «Ладно, Полковник, — говорит он, — шутки в сторону, раз дело такое серьезное и опасное, только советую тебе не водить больше компанию с этими ребятами».

Я поблагодарил его и ушел в самых расстроенных чувствах, не зная, что мне делать с самим собой и с моим неправедно нажитым богатством; и вот побрел я в раздумье, один, моей знакомой дорогой через Мурфилдс в сторону Степни[29]; тут стал я прикидывать, что же предпринять, и мне пришло в голову, что раз этот голубчик спрятал свою добычу на моем чердаке, а его, чего доброго, схватили, то он может во всем признаться и направить полицию прямо ко мне за награбленным, они обнаружат его добро, и тогда я пропал, меня арестуют как сообщника, хотя я понятия не имел об этом деле и не принимал в нем участия.

Пока я так размышлял, находясь в полной растерянности, я вдруг услышал, что кто-то меня окликает; оглядываюсь и вижу Уилла, бегущего ко мне. Сперва я не знал, что и подумать, однако приободрился, увидев, что он один; я остановился в ожидании и, когда он подошел ко мне, спросил:

— Как дела, Уилл?

— Дела? — говорит Уилл. — Такие, брат, дела, что пропал я. Ты когда был у себя дома?

— Я уже видел, что ты там оставил, — сказал я, — но что все это значит? Откуда ты это взял? На этом ты и попался?

— Эх, — говорит Уилл, — на всем вместе. Полиция ищет меня, и, коли сцапает, мне крышка, потому как Джорджа отправили в тюрьму, и, спасая свою шкуру, он выдал меня и остальных.

— Почему же крышка? — спрашиваю я. — Почему тебе крышка, если сцапают? Что же с тобой сделают, а?

— Что сделают? — говорит он. — Да повесят, вот что. Даже если гвардия короля и недосчитается через это одного из своих солдат, все равно повесят, это так же верно, как то, что я стою сейчас перед тобой жив-здоров.

Я сильно перетрухнул и спрашиваю:

— А как же ты собираешься выпутываться?

— Не знаю, — говорит он. — Уехал бы за границу, если бы знал как, но я не сведущ в таких делах и даже не знаю, как за это взяться. Хоть бы ты посоветовал мне, Джек, — говорит он, — ну, скажи, куда мне податься? Я бы хотел куда-нибудь за море.

— Значит, думаешь уехать, — говорю я. — А что будешь делать со своим добром, которое спрятал у меня на чердаке? Там ему оставаться нельзя, — говорю я, — потому что, если меня сцапают и выяснится, что это те самые деньги, мне крышка.

— Плевать я хотел на это добро, — говорит Уилл. — Хочешь, забирай его, когда я смоюсь, и делай с ним, что угодно. А я должен бежать и брать с собой его не могу.

— Не нужно мне его, — говорю я ему. — Я лучше схожу за ним и принесу тебе, — говорю я. — А я с ним связываться не хочу. Да там еще столовое серебро, куда мне его-то девать? — говорю я. — Куда бы я с ним ни пошел, меня тут же задержат.

— Насчет серебра, — говорит Уилл, — его бы я живо пристроил, да вот только не должны меня видеть среди старых моих друзей; на меня ведь уж донесли, так что любой теперь выдаст. Но, если хочешь, я скажу, куда пойти, чтобы сбыть его, вопросов там задавать не станут, только скажи им заветное словцо, какое я тебе открою.

И он сказал мне пароль и направил к ростовщику, что жил возле Суконного ряда[30]; а пароль был такой — «Чистой Тауэрской пробы»; наставив меня, Уилл сказал:

— Я уверен, Полковник Джек, что ты меня не выдашь, и я тебе обещаю, если меня схватят и решат повесить, я твоего имени им не открою; сейчас я пойду в один кабак, который называется Кабачок-на-Бромли-возле-Дуги, мы с тобой там не раз бывали, — говорит он, — там я отсижусь до темноты, а позднее переберусь ближе к городу и проведу ночь под стогом сена — место тоже нам с тобой известное; если ты не успеешь обделать дело и застать меня там, я вернусь к Дуге.

Я пошел домой, взял драгоценный товар и отправился с ним в Суконный ряд; услышав заветное: «Чистой Тауэрской пробы», они без лишних слов забрали у меня все серебро, взвесили его и заплатили из расчета два шиллинга за унцию; с этим я ушел и поспешил на встречу, но было уже слишком поздно, чтобы застать его в первом месте, поэтому я пошел прямо к стогу сена, где и нашел его крепко спящим.

Вручив ему его богатство, размеров которого я в точности не знал, так как не считал эти деньги, я вернулся к себе на квартиру уже затемно и совершенно измученный. Я сразу лег спать, однако, несмотря на ужасную усталость, долго не мог заснуть, а если и спал, то очень неспокойно; только я заснул по-настоящему, как тут же проснулся от стука в дверь, такого, словно ее хотели вышибить, и от криков: «Эй, люди, вставайте, откройте констеблю, мы пришли за вашим жильцом с чердака».

Я до смерти перепугался и сел на постели, но, когда совсем очухался, все было тихо, только два ночных сторожа стучали своими колотушками по дверям, — значит, три часа уже пробило и приближалось дождливое утро. Я понял, что это был сон, и, счастливый, снова лег, но вскоре меня опять разбудил тот же шум и те же слова. На этот раз я проснулся быстрее, соскочил с кровати и, подбежав к окну, обнаружил, что прошел еще только час, так как сторожа выстукивали «четыре», после чего все быстро стихло; я снова улегся и остаток ночи проспал уже спокойно.

Большого значения таким пустякам, как этот сон, я не придавал, да и вообще до самого последнего времени в сны я не верил. Поднявшись на другое утро и выйдя из дому с твердым намерением повидать моего дружка Уилла, кого бы, вы думали, я повстречал? Бывшего моего братца Капитана Джека, вот кого. Увидев меня, он прямиком подходит ко мне и говорит:

— Слыхал новости?

— Нет, ничего не слыхал, — говорю я. — Какие такие новости?

— Твоего закадычного друга и учителя сегодня утром забрали и отправили в Ньюгет.

— Не может быть! — говорю я. — Сегодня утром?

— Да, — говорит он, — сегодня утром, в четыре часа. Ему хотят пришить ограбление с убийством где-то в районе Брентфорда. Дело дрянь, потому как один из их шайки, чтобы спасти свою шкуру, выдал его и согласился выступать свидетелем, так что ты поразмысли, — говорит Капитан, — что тебе делать.

— А что мне делать? — говорю я. — Что ты, собственно, хочешь этим сказать?

— Ну, ну, Полковник, — говорит он, — только не злись, тебе же лучше знать, угрожает тебе что или нет. Нет, так тем лучше, только я-то не сомневаюсь, что ты был с ними.

— Да не был я, — говорю я, — слово даю, не был.

— Что ж, — говорит он, — коли в этот раз не был, то был в другой, а это все одно.

— Да не был я, — повторяю, — ты ошибаешься, я в их шайке не состою, они птицы более высокого полета.

Поговорив так еще немножко, мы расстались, и Капитан Джек ушел; но, уходя, он покачал головой, и я заметил, что он озабочен сильнее, чем мне показалось вначале; он и в самом деле был необычайно встревожен, и тревожила его именно моя судьба, а почему, вы еще узнаете, и очень скоро.

Я сильно перетрухнул, услыша, что Уилл в Ньюгетской тюрьме, и знай я, куда скрыться, пустился бы без оглядки, а там — давай бог ноги; колени у меня подгибались, я вздрагивал от малейшего шороха, словом, весь этот вечер и последующую за ним ночь я находился в самом плачевном состоянии; я ни о чем не мог думать, кроме тюрьмы и виселицы; вот повесят меня — и по заслугам, говорил я себе, хотя бы даже за то, что отобрал у бедной старой нянюшки двадцать два шиллинга.

Первая мысль, какая возникла в моем смятенном разуме, была о деньгах: они лежали в карманном компасе, который я всюду таскал с собой; там уже набралось, как вы, может быть, помните, по последним подсчетам более шестидесяти фунтов, поскольку я ничего не тратил и, куда их девать, я не знал. Наконец мне пришло в голову, что я мог бы отнести их моему покровителю, чиновнику из таможни, если сумею разыскать его и он согласится оставить на хранение еще и эти деньги; единственная трудность была придумать правдоподобную историю, чтобы он не удивился, откуда у меня взялась такая сумма.

Однако тут пришла на помощь смекалка: в одном из наших тайных притонов хранилось платье на случай, если кому-нибудь из шайки потребовалось бы вдруг изменить свой облик. Там была зеленая ливрея, украшенная красным галуном и на красной подкладке, шляпа, окантованная тесьмой, пара башмаков и кнут. Я пошел и переоделся в ливрею, а потом отправился к моему покровителю домой на Тауэр-стрит, где и нашел его в добром здравии и все таким же истинным джентльменом, как прежде.

Я встретился с ним в самых дверях, и он с удивлением поглядел на меня; я несколько раз ему поклонился, зажав шляпу под мышкой, он, повторяю, воззрился на меня и, так и не узнав, спросил:

— У вас ко мне разговор, молодой человек?

Я ответил:

— Да, сэр. Вижу, ваша милость (я уже успел выучиться хорошим манерам) не узнает меня. Ведь я тот бедный мальчик Джек.

Он внимательно вглядывается в меня и, наконец вспомнив, говорит:

— Неужели Полковник Джек! Где же ты пропадал столько времени? Уже, верно, лет пять-шесть мы не виделись.

— Разрешите вам заметить, больше шести лет, ваша милость, — говорю я.

— Где же ты все это время был? — спрашивает он.

— Я находился в деревне, сэр, — говорю я, — в услужении.

— А знаешь, Полковник Джек, — говорит он, — выходит, ты очень терпеливый кредитор. Но по какой же, интересно, причине ты так долго не приходил за деньгами или хотя бы за процентами? Чего доброго, ты так разбогатеешь с одних процентов, что скоро не будешь знать, куда девать деньги.

На это я ничего не ответил, а снова ему поклонился.

— Так идем же, Полковник Джек, — говорит он, — войдем в дом, и я отдам тебе твои деньги и проценты в придачу.

Я склонился в низком поклоне и сказал, что пришел к нему не за деньгами, что сменил за это время одно-два хороших места и в деньгах не нуждаюсь.

— Скажи, Полковник Джек, — говорит он, — а у кого ты служишь?

— У сэра Джонатана Локсэма, сэр, — говорю я, — в Сомерсетшире, к вашим услугам, сэр. — Такое имя я действительно слыхал, но знать не знал ни самого господина, ни тех мест.

— Ну так что, Джек, — говорит он опять, — хочешь забрать свои деньги?

— О нет, ваша милость, — говорю я, — с вашего позволения, сэр, у меня хорошее место, сэр.

— А чего ты хочешь, с моего позволения? Деньги твои тебя ждут.

— Ах нет, не надо, сэр, — говорю я, — у меня хорошее место.

— Тогда о чем же ты, Джек? Я что-то не пойму.

— Если позволите, сэр, мой старый господин, сэр, отец Джонатана, завещал мне перед смертью тридцать фунтов и траурное платье, и…

— Ты хочешь, стало быть, сказать, Джек, что принес мне новые деньги? — Наконец он стал понимать, к чему я клоню.

— Да, сэр, — говорю я, — если ваша милость любезно согласится взять их и положить вместе с теми, да я тут еще откладывал кое-что из моего жалованья.

— Я же сказал, Джек, — говорит он, — что ты скоро разбогатеешь. Сколько же тебе удалось отложить? Давай посмотрим.

Короче говоря, я выложил все свои деньги, и он с удовольствием их принял, дав мне расписку, с учетом процентов, на всю сумму, которая составляла теперь девяносто четыре фунта, а именно:

25 ф. — первый вклад
9 ф. — проценты за шесть лет
60 ф. — вновь принесенные деньги
Итого: 94 фунта

Я ушел от него премного довольный, отвешивая поклон за поклоном и расшаркиваясь, потом немедля отправился переодеться в мое старое платье и решил надолго покинуть Лондон, чтобы глаза мои на него не глядели. Однако на другое утро меня ждал сюрприз: переходя Розмэри-Лейн в том месте, которое называется Лоскутным рядом, я услыхал, как кто-то позвал меня: «Джек!» Перед этим было сказано еще что-то, только я не расслышал что. Я оглянулся и увидел трех мужчин, приближавшихся ко мне с решительным видом, а за ними констебля. Я в полном замешательстве бросился бежать, но один из них поймал меня и держал крепко, пока остальные не окружили нас; я спросил, что они от меня хотят и что я такого сделал. Они ответили, что это не место для подобных разговоров, однако показали мне приказ о взятии меня под стражу и предложили прочитать его, заметив, что остальное мне станет известно, когда я предстану перед судом, и велели поторапливаться.

Я взял приказ, но, к великому моему огорчению, ничего не узнал из него, так как не умел читать, пришлось просить их прочитать его мне; они прочли, что им предписывается схватить известного вора, одного из трех Джеков с Лоскутного ряда, обвиняемого под присягой в том, что он принимал участие в знаменитом ночном ограблении со взломом и в убийстве, совершенном так-то и так-то, в таком-то месте, такого-то числа.

Я все отрицал и говорил, что ничего об этом деле не знаю, — но все было напрасно, их это не касается, сказали они, спорить будешь в суде, сказали они, там тебе представят показания, данные под присягой, и тогда, может быть, ты перестанешь отпираться.

Мне оставалось только терпеливо ждать, сердце мое разрывалось от ужаса и чувства вины, под их тяжестью я готов был умереть тут же в дороге, поскольку отчетливо сознавал свою долю участия в первом деле, хотя к последнему никакого касательства не имел. Я ни

минуты не сомневался, что меня отправят в Ньюгет, а значит, обязательно повесят; по моим представлениям, эти два события — отправка в Ньюгетскую тюрьму, а потом на виселицу — всегда следуют одно за другим.

Однако прежде, чем дошло до этого дело, со мной произошла неожиданная история, и случилась она, когда я предстал перед судьей. Меня доставили в суд, констебль ввел меня в зал, и судья спросил, как меня зовут. «Впрочем, обождите, молодой человек, — сказал он, — прежде чем спрашивать ваше имя, справедливости ради, я должен сказать вам, что вы не обязаны отвечать, пока не вызовут ваших обвинителей». И, обращаясь к констеблю, попросил показать приказ об аресте.

— Значит, так, — говорит судья, — вы привели сюда этого молодого человека на основании этого приказа, а является ли этот молодой человек именно тем лицом, какое здесь указано?

Констебль. Надеюсь, так, ваша честь, если позволите.

Судья. Надеюсь? А почему вы не говорите, что уверены?

Констебль. С вашего разрешения, ваша честь, я не уверен. Люди сказали, когда я брал его.

Судья. Это необычный приказ, он предписывает арестовать молодого человека, известного под именем Джек, фамилия отсутствует, сказано только — по кличке Капитан Джек или что-то в этом роде. Так как же, молодой человек, Капитан Джек — это ваше имя или ваша кличка?

Тут я смекнул, что эти люди вовсе не знали меня, когда забирали, и констебль арестовал меня понаслышке, поэтому я набрался храбрости и сказал судье, что, по моему мнению, вопрос, как меня зовут, несвоевремен, поскольку, как бы меня ни звали, сначала надо установить, в чем состоит обвинение.

Судья улыбнулся. «Верно, молодой человек, — сказал он, — совершенно верно, я согласен, что, если они забрали вас, не зная, кого забирают, и не могут представить вашего обвинителя, значит, они совершили ошибку, за которую понесут наказание».

Тут я сказал судье, что надеюсь, я могу не называть своего имени, пока в суд не явится мой обвинитель, а тогда, что ж, я своего имени скрывать не стану.

«Вполне справедливо, — сказал его честь и, поворотившись к страже, спросил: — Господин констебль, уверены ли вы, что это тот человек, который значится в приказе об аресте? Если нет, вы должны послать за обвинителем, со слов которого под присягой составлен этот приказ об аресте». Было потрачено много слов, чтобы доказать, что я именно тот, кто нужен, о чем и сам прекрасно знаю, и должен назвать свое имя.

Я же настаивал на несправедливости этого требования, говорил, что нельзя заставить признать себя виновным, если ты невиновен; судья тоже не скупился на слова, объясняя, что не может принуждать меня к этому, разве что я признаюсь добровольно. «Сами видите, — сказал судья, — он слишком хорошо разбирается в деле и не даст себя провести». Словом, после часового препирательства с ними перед лицом его чести, когда мне пришлось отвечать на нападки всех четверых, судья наконец объявил им, что они должны представить суду обвинителя, иначе он будет вынужден освободить меня из-под стражи.

Мне это придало смелости, и я еще энергичнее продолжал отстаивать свои права. Наконец обвинитель был доставлен прямо из тюрьмы как был в кандалах, и до чего же я обрадовался, когда увидел его и убедился, что знать его не знаю и что он не из тех двоих мошенников, с которыми я находился в ту ночь, когда мы ограбили бедную старушку.

Узника ввели в зал и посадили прямо против меня.

— Знаете вы этого молодого человека? — спрашивает его судья.

— Нет, сэр, — отвечает колодник, — в жизни своей не видел его.

— Хм, — говорит судья, — разве вы не предъявляли обвинения человеку, известному под именем Джек, или Капитан Джек, принимавшему участие в ограблении и убийстве, за которое вы сами взяты под стражу?

Узник. С вашего разрешения, да, ваша честь, — говорит узник.

Судья. Это тот человек или не тот?

Узник. Не тот, сэр, этого я никогда раньше не видел.

— Прекрасно, господин констебль, — говорит судья, — что же мы теперь должны делать?

— Я крайне удивлен, — говорит констебль, — я находился в одном заведении, которое так и называется Заведение, когда молодой человек проходил мимо, и эти люди закричали: «Вон Джек, вон он, ваш голубчик», — и побежали за ним, чтобы задержать его.

— Так, — говорит судья, — имеют эти люди что-нибудь сказать ему? Могут они доказать, что он и есть нужное лицо?

Один сказал «нет», другой тоже сказал «нет», короче, все сказали «нет».

— Ну так что же теперь делать? — говорит судья. — Молодого человека следует из-под стражи освободить, но должен вам сказать, господин констебль, и вы, господа, потрудившиеся привести его сюда, что он может доставить вам серьезные неприятности, если сочтет нужным взыскать с вас за вашу прыть. Однако, по чести говоря, молодой человек, — говорит судья, — вы все же не очень пострадали, и констебль, хотя и был неправ, поступил так не по злому умыслу, а из верности своему служебному долгу, так что, я думаю, вы можете предать забвению случившееся.

На это я ответил его чести, что готов по его совету предать случившееся забвению, однако хотел бы, чтобы констебль и остальные потрудились вернуться со мной на то место, где они оскорбили меня, и объявить там во всеуслышание, что я с честью оправдан и не являюсь тем, кого разыскивают. Его честь согласился, что такое желание мое вполне законно, на что констебль и его подручные сказали, что обещают выполнить его, и мы все вместе как добрые друзья отправились назад к Заведению, и я был там торжественно оправдан.

Замечание: Именно тогда судья в разговоре со мной и сказал, как я уже упоминал выше, что я рожден для лучшей жизни и что, судя по моей умелой самозащите, он убежден, хотя и не спрашивал меня, что я получил хорошее образование, и ему жаль, что со мной случилось подобное недоразумение, однако он надеется, что этот случай не принесет мне бесчестья, поскольку я так блестяще оправдан.

Хотя его честь и заблуждался насчет моего образования, однако слова его возымели на меня то весьма положительное действие, что я решил, поелику будет возможно, научиться читать и писать, чтобы не чувствовать себя беспомощным настолько, что не уметь даже прочитать приказ об аресте и убедиться своими глазами, кого предписано задержать, меня или не меня.

Однако в деле этом была и другая сторона, всю важность которой я не сразу оценил, а коротко — вот что: мой братец Капитан Джек был готов считать меня соучастником преступления, не интересуясь, соответствует это истине или нет, тогда как выходит, он сам был в нем замешан, и если у кого и была причина для опасений и для бегства, то именно у него, а он еще мне советовал, как вывернуться.

Когда эти мысли пришли мне в голову, я счел своим долгом поскорей разыскать его и предупредить.

Что же до меня самого, то, успокоившись насчет собственной безопасности, я не проявлял большой заботы о себе, теперь меня больше тревожил бедный Уилл, мой учитель и наставник в темных делах, который томился за решеткой в Ньюгете, пока я тут наслаждался свободой, и мне очень хотелось его повидать, что я и выполнил.

Я нашел его в плачевном состоянии, на него надели тяжелые кандалы, и на спасение бегством не было никакой надежды; он сказал мне, что его ждет смерть, но чтобы я ни о чем не волновался: поскольку топить меня ему смысла нет, тем более что я с ними и не работал, кроме одного того раза; я могу быть совершенно спокоен: он не станет меня впутывать в эту историю; что же касается негодяя, который их всех предал, он тоже не может повредить мне, так как никогда в жизни своей меня не видел, и пусть меня это утешит. «А вот знаешь, Полковник Джек, — говорит он, — кто был тогда с нами? Твой братец Капитан, и этот предатель, конечно, выдал его, поэтому, — говорит Уилл, — если удастся, предупреди его вовремя, чтобы он успел скрыться».

Он дал мне еще много наставлений, предостерегая меня от следующих шагов по тому пути, на который сам вывел меня. «Заблуждался я, Джек, — сказал он, — когда говорил, будто быть знаменитым вором — значит жить по-джентльменски». Больше всего он боялся, что в тот раз они прикончили хозяйского садовника, причем он сам ранил его в шею, отчего тот и мог умереть.

У Уилла при себе оказалось много денег, и все золотом, это были те деньги, что я отнес к стогу сена, ему удалось так ловко спрятать их, что, когда его схватили, их все равно не нашли; он попросил большую часть из этих денег отнести его матери, что я честно выполнил; я ушел от него с тяжелым сердцем, больше я его не видел, так как он был казнен примерно через три недели после того по приговору ближайшей сессии суда.

Теперь мне оставалось только разыскать Капитана, о котором не без труда, но все-таки наконец я получил известие, и обо всем подробно рассказать ему: как вместо него забрали по ошибке меня, как мне удалось выпутаться, и что приказ о его аресте находится еще в силе, и ведутся тщательные поиски; когда я выложил ему все это, он, будучи застигнут врасплох, тут же признал себя виновным и в дальнейшем разговоре откровенно сознался, что так оно все и было, что он участвовал в этом ограблении и что у него хранится большая часть награбленного добра, но, куда его деть и самому куда деться, он не знает, разве что я ему посоветую, однако проку от меня было мало, поскольку я плохо в таких делах разбирался; тогда он сказал, что хотел бы удрать в Шотландию, что это не так уж трудно осуществить и не хочу ли я присоединиться к нему. Я сказал, что с великим удовольствием, только денег у меня нет, чтобы разделить расходы; судя по его ответу, он не собирался бросать свое ремесло.

— Имей в виду, — сказал он мне, — путешествие окупится.

— У меня духу не хватит, — говорю я, — идти опять на риск, а кроме того, если мы попадем в новую неприятность, мы уже не выкарабкаемся, можно тогда ставить на нас крест.

— Эх, — говорит он, — но здесь-то мы денег не раздобудем, раз нас вот-вот могут сцапать, а там они до нас не доберутся. Нет, я всегда за риск.

— Капитан, — говорю я, — неужели ты зря терял время и ничего не отложил на черный день?

— Очень мало, ей-ей, мне что-то давно не везет.

Врал он, — ведь он сам признался, что в последнем деле получил львиную долю добычи, другие даже жаловались, что он и Уилл прикарманили себе почти все, так что остальные свою долю не получили, и потому всем хотелось, чтобы они попались.

Однако у него все-таки оказалось около двадцати двух фунтов наличными и кое-что, что можно было обратить в деньги, полагаю, это было столовое серебро; правда, мне он не захотел сказать, что это такое и где спрятано, признался только, что не смеет пойти забрать свое добро, потому как его могут выдать, и тогда его поймают, лучше уж он обойдется без этого. «Уверен, — сказал он, — что рано или поздно мы сюда вернемся».

Я честно выложил все деньги, какие у меня были, что составляло шестнадцать фунтов и несколько шиллингов в придачу. «Что ж, — сказал я, — если мы не будем транжирами и станем тратить в пути экономно, этого вполне хватит, чтобы добраться до безопасного места». Мы

были оба убеждены, что стоит нам покинуть Англию, как всякая опасность останется позади, никто уже нас не тронет, даже если и узнает все про нас. Однако мы и не предполагали, сколько мытарств нам предстоит испытать, прежде чем мы попадем в Шотландию.

Я говорю о равной опасности, которой якобы подвергались мы с братом Джеком, лишь потому, что мы испытывали равный страх, на самом же деле мое положение было несравненно лучше.

Не могу умолчать о том, что в один из тихих дней еще до того, как я отнес мои деньги господину, жившему на Тауэр-стрит, я отправился в одиночестве в Мурфилдс, а оттуда в Кентиш-Таун, чтобы выполнить долг справедливости перед той бедной старушкой, и не заметил, как ноги словно сами вынесли меня к тому самому месту, где я ограбил бедную нянюшку и служанку, или, вернее было бы сказать, где Уилл заставил меня их ограбить; я много раз угрызался в душе из-за этого жестокого поступка и не раз давал себе обещание непременно найти способ утешить ее и вернуть ей ее деньги, но из-за разных дел все откладывал с этим; я был слегка удивлен, очутившись вдруг на том злополучном месте.

Место напомнило мне о низости, какую я совершил здесь, и во мне вдруг родилась не скажу молитва, ибо я никогда не молился, но страстная потребность навсегда бросить мое проклятое ремесло. Я сказал себе: «Если бы только нашлась для меня работа, которая прокормила бы меня, я бы никогда не стал больше воровать, вот уж воистину злое и мерзкое занятие».

И тут я особенно отчетливо осознал, как это тяжело расти без родителей, которые одни могут или даже должны помогать своим детям выбрать себе стоящее ремесло или иное дело. Сколько раз я плакал, не зная, что мне делать, к чему приложить руки, когда уже решил окончательно порвать со своим позорным прошлым.

Однако вернусь к рассказу о моем путешествии. Я хотел спросить дорогу на Кентиш-Таун у бедной женщины, которая, как выяснилось случайно, там жила, и я поинтересовался, а не знает ли она там старушку по фамилии Смит. Она ответила, что знает, и даже очень хорошо, что своего дома у нее нет, но она снимает в городе квартиру, что она честная, работящая, бедная женщина, которая своим трудом и стараниями поддерживает больного мужа, так как вот уже несколько лет, как он не может себя обслуживать.

Ну и негодяем же я был, сказал я сам себе, ведь, ограбив эту бедную старушку, я добавил еще горя и слез к ее страданиям и семейным несчастьям! Эта мысль еще подхлестнула мое желание вернуть ей деньги, и не только вернуть, но, я твердо это решил, прибавить ей еще сверх того, что она потеряла; итак, я отправился дальше и, согласно указаниям, какие получил, без труда отыскал ее дом. Стоило мне спросить ее, и она тут же вышла ко мне из дома, так как слышала, как я произнес ее имя, когда говорил с девочкой, первой подошедшей к двери. Я сразу же приступил к делу.

— Сударыня, — сказал я, — не нападали ли на вас грабители примерно с год тому назад, когда вы возвращались домой из Лондона, возле Пиндара в районе Уэйкфилда?

— И в самом деле нападали, — ответила она. — Ох, и страху натерпелась я тогда.

— А сколько денег у вас отняли? — спросил я.

— Да все, что были при мне. С таким трудом я их заработала! Это были деньги за ребенка, которого мне дали тогда нянчить, и я аккурат ездила в Лондон, чтобы получить их.

— Ну, а всего сколько их было, сударыня? — спрашиваю я.

— Двадцать два шиллинга шесть пенсов. Полпенни и двадцать два шиллинга я только перед тем получила, а остальная мелочь у меня раньше была.

— Послушайте, хозяюшка, а что бы вы сказали, если бы я помог вам получить назад эти деньги? Дело в том, что человек, который их отнял у вас, крепко засел сейчас за решетку, и

очень может быть, я сумею оказать вам в этом деле услугу, ради чего я, собственно, и пришел сюда.

— О, господи, — говорит старушка, — я поняла вас, но, право, не могу поклясться, что узнала бы его в лицо, тогда было так темно, и к тому же я бы нипочем не хотела, чтобы беднягу из-за моих денег повесили, пусть живет и кается.

— Это очень благородно с вашей стороны, он того и не заслуживает, однако пусть вас это не тревожит, его все равно повесят, покажете вы против него или нет. Так как же, хотите вы получить назад деньги, которых вы лишились?

— Ну, конечно, — говорит женщина, — была бы очень даже рада, потому как давно у меня не бывало так туго с деньгами, как сейчас, приходится изворачиваться, чтобы раздобыть на кусок хлеба, хотя я день и ночь работаю, не разгибая спины. — И она даже заплакала.

У меня сердце чуть не разорвалось от мысли, что бедняжке приходится так тяжело работать в свои почти шестьдесят лет, а я, молодой бездельник, которому и двадцати еще не стукнуло, отнял у нее последний кусок хлеба, чтобы самому вести праздную, нечестивую жизнь; и, вопреки всем моим усилиям, слезы так и потекли у меня из глаз, она это заметила.

— Как горько, — сказал я, — что всякие негодяи могут грабить и обижать бедную, несчастную женщину. Теперь-то у него есть время для раскаяния, уверяю вас.

— Ох, сударь, — говорит она, — видно, вы и впрямь очень сострадательный человек, а я бы только одного пожелала, чтобы он с пользой употребил время, какое ему ссудил господь, и успел еще раскаяться. Я сама буду молить о том бога, и, что бы он ни совершил, я прощаю ему его грех; сумеет он вернуть мне долг или нет, я все равно буду молить бога простить его. Нет, нет, пагубы ему я не желаю! — И она стала молиться за меня.

— Подойдите ко мне поближе, сударыня, — говорю я и с этими словами лезу к себе в карман; она приблизилась. — Протяните руку, — говорю я, она протянула, и я положил ей на ладонь девять полукрон. — Здесь, — говорю я, — все ваши двадцать два шиллинга шесть пенсов, которых вы лишились, и знайте, сударыня, что эти деньги вы получаете только благодаря моим стараниям. С того самого дня, как в числе историй о нечестивых своих похождениях он поведал мне эту, я покою ему не давал, пока не вырвал у него обещание вернуть вам деньги.

Говоря так и передавая ей деньги, я держал ее руку, смотрел ей в лицо и видел, как она то краснеет, то бледнеет от величайшего изумления и несказанной радости.

— Благослови, господи, его грешную душу, — воскликнула она, — и, если будет на то твоя воля, избавь его от несчастья, которого он страшится! Вот уж поистине поступил как благородный человек! Вот уж не думала, не гадала. — И долго еще она так приговаривала, жалея его, пока я не сказал ей, что вряд ли есть хоть какая-нибудь надежда на спасение его жизни.

— Да принесет ему тогда господь раскаяние, — молвила она, — и призовет его на небо, ибо верю я, в глубине души его есть место добру и чести, может, просто его скверная компания сбила с пути, или дурной пример, или еще какие искушения. Только знаю я, что все равно до смерти он придет к раскаянию.

Я принял ее слова ближе к сердцу, чем она могла себе представить, ибо человек, о котором она молилась, был я, хотя она этого и не подозревала, и в душе своей я сказал ее молитве: «Аминь!» Я же прекрасно сознавал, что было подлостью напасть на бедную беззащитную старушку и не внять ее мольбам, когда она слезно просила оставить ей ее жалкие гроши.

Одним словом, щедрые ее молитвы так растрогали меня, что заставили меня снова полезть в карман.

— Сударыня, — сказал я ей, — вы так милосердны в своих молитвах к этому несчастному, что надоумили меня сделать для него еще кое-что, пусть и без его ведома. Я буду просить у вас прощения за вора, ограбившего вас, ибо он нанес вам обиду и оскорбление, совершив несправедливость, а поэтому я хочу повиниться перед вами за него. Можете ли вы искренне и от души простить его? Я очень прошу вас об этом, сударыня. — И с этими словами я принял приличествующую позу, снял шляпу и попросил у нее прощения.

— Не надо, что вы, сударь, — сказала она, — не снимайте передо мной шляпу, я всего лишь бедная женщина, я не держу зла на него и на всех, кто был с ним, я всей душой им прощаю и бога молю простить им.

— Спасибо, сударыня, — сказал я, — за вашу доброту, вот вам еще вдобавок к тому, что вы потеряли тогда, — и с этими словами я дал ей еще крону.

Потом я спросил ее, кто была та женщина, которую ограбили вместе с ней. Она ответила, что служанка, проживавшая тогда в их городе, однако она уже ушла со своего места, а где живет теперь, старушка не знала. «Прошу вас, сударыня, если случится вам что-либо услышать о ней, велите ей оставить о себе весточку, где ее найти; коли жив буду и приду еще раз вас навестить, я возьму у него деньги и для нее, чтобы вернуть их, думается, их было не так уж много». — «Нет, нет, — говорит старушка, — всего пять шиллингов шесть пенсов, мне это доподлинно известно». — «Очень хорошо, — говорю я, — так проведайте о ней, если случай будет». Она пообещала, и с тем я ушел.

От этого посещения я получил огромное удовлетворение, но сам собой напросился вывод, который заставил меня впоследствии задуматься вот над чем: а почему бы не возместить таким же путем убытки всем, кому я когда-либо нанес ущерб? Только как же это осуществить? Ответа на вопрос я не находил, и со временем порыв мой угас, потому как подобная затея была, в общем-то, невыполнима. Я не представлял себе, как к этому подступиться, и не знал людей, перед которыми был виноват; успокоившись на время, впоследствии я забыл и думать об этом.

Теперь я подхожу к описанию путешествия с моим названным братом Капитаном Джеком. Из Лондона мы отправились пешком и в первый день дошли до Уэйра[31]; мы хорошо изучили наш путь и знали, что он лежит через этот город; устали мы за первый день очень, так как совсем не привыкли путешествовать, однако, добравшись до города, мы все же прогулялись по нему разок.

Довольно быстро я смекнул, что эту прогулку Джек совершил вовсе не из любознательности — похвальная сия черта нисколько не была ему свойственна, — а лишь в расчете, не подвернется ли какая добыча, ибо был он жуликом от природы и ни на что не обращал внимания, кроме одного: как бы половчее что-нибудь стянуть да незаметненько унести, вот и все.

Но день был не базарный и ничего, достойного его внимания, в Уэйре не попалось; что до меня, то, хотя я не слишком угрызался, когда пил и ел на его ворованные деньги, все же я твердо решил сам к делу, как они это называли, руку не прикладывать и ничего, даже самую малость, ни у кого не красть.

Обнаружив твердое мое решение отступиться от нашего ремесла, он полюбопытствовал: а на что, собственно, я собираюсь путешествовать? Я же спросил его, подумал ли он о себе, ведь если его схватят, его же беспременно повесят, на какой бы мелочи он ни попался. «Пустяки все это, — сказал он, — откуда им тут в деревне знать, кто я такой?» — «Ужель ты думаешь, — говорю я, — что, поймав здесь вора, они не запрашивают Ньюгетскую тюрьму, не сбежал ли от них кто, не разыскивают ли они кого-нибудь, чтобы не дать промашки? Уж будь уверен, — говорю я, — тюремщикам положено сообщаться друг с другом. И если тебя схватят здесь за воровство хотя бы корзины яиц, тут же вызовут свидетеля, чтобы он опознал тебя».

На какое-то время слова мои сильно его напугали, так что дня три-четыре он вел себя как честный человек, однако на дольше его не хватило; без моего ведома он совершил еще

великое множество мошеннических проделок, пока наконец не попался, тоже без моего ведома, — впрочем, случилось это много лет спустя, о чем будет речь в своем месте; а поскольку подвиги эти причастны не к моей истории, а к его и описание их, а также всей его жизни могло бы составить увесистый том, поболее настоящего, я опускаю подробности, непосредственно не связанные с нашим и без того утомительным путешествием.

Из Уэйра мы проследовали в Кембридж, хотя он вовсе не стоял у нас на пути, а попали мы туда вот почему. По дороге, проходя деревней Пакеридж, мы остановились на постоялом дворе под вывеской «Сокол» перекусить; пока суд да дело, туда зашел какой-то крестьянин, а коня своего он привязал у ворот. Мы заказали пива и сидели во дворе, потягивая из кружек. Хозяин, с которым мы разговорились насчет дороги в Шотландию, посоветовал нам держаться на Ройстон[32]. «Только есть тут поворот, чуть отойдете немного, — сказал он, — так туда не идите, это поворот на Кембридж».

Мы расплатились за пиво и спокойно отдыхали, в это время вдруг подкатила господская карета, а за нею три или четыре всадника; всадники проскакали во двор, и хозяину пришлось заняться ими. «Молодой человек, — сказал он, обратившись к Капитану, — не сочтите за труд отвязать этого коня, — он имел в виду крестьянского коня, о котором уже упоминалось, — и отвести его с дороги, чтобы карета могла проехать». Джек выполнил это, а потом поманил меня к себе и говорит: «Пошли до поворота, ты ступай вперед и сворачивай, я нагоню тебя». И я направился к повороту; не прошло и нескольких минут, как он, уже верхом на коне, нагоняет меня. «А ну, быстро в седло, — говорит он, — не мытьем, так катаньем, не купили коня, так украли».

Я без труда уселся позади него, и мы поскакали во весь опор, благо конь попался добрый. Час, а то и больше мы гнали без передышки, пока не решили, что погоня нас уже не настигнет, потому как, когда крестьянин хватится своего коня, ему сообщат, что мы спрашивали дорогу на Ройстон, и он пустится в погоню именно в ту сторону, а не в Кембридж. После первой гонки в течение нескольких часов мы пустили коня потише; миновав один-два города, мы решили по очереди спешиваться, а в деревнях вдвоем вообще не показываться.

Теперь, когда у нас завелся конь, на котором можно было увезти любую добычу, искушение воровать у Капитана только выросло, ибо он просто не мог пройти мимо чего-нибудь, что плохо лежит, и не украсть; так в деревне он не мог миновать изгородь, на которой какая-нибудь усердная хозяйка вывесила сушить белье, без того, чтобы не стянуть пару, пусть даже непросохших, но крепких еще рубах, а потом, пришпорив коня, догонял меня по дороге; я тут же вскакивал позади него, и мы мчались галопом, сколько хватало у нашего коня сил. На этом этапе нашего путешествия, то ли по его вине, то ли по моей, мы сбились с пути и, когда обнаружили это, решили разузнать дорогу, но совсем заблудились и проплутали бог знает сколько, двигаясь все вправо и вправо, пока, то ли именно поэтому, то ли по причине, о которой я сейчас расскажу, мы попали наконец возле Бишоп-Стортфорда[33] на почтовый тракт из Лондона в Кембридж. А причина, которая привела нас туда, заключалась в следующем. Вся эта местность была сплошным хлебным полем без изгородей; когда мы поднялись на небольшую возвышенность, я попросил Капитана Джека остановить коня, чтобы я мог спешиться и немного пройтись, так как ужасно устал долго скакать позади него без стремян и хотел размять ноги. Соскочив на землю, я огляделся и увидел примерно в двух милях от нас широкую светлую дорогу, какой мы и должны были держаться.

Глянув ненароком влево, я вдруг обнаружил на этой дороге четырех или пятерых всадников, несшихся во весь опор на порядочном расстоянии друг от друга, такая поспешность явно выдавала в них преследователей.

Меня словно ударило. «Эй! Братец Джек, — крикнул я, — слезай-ка живо с коня, потом спросишь почему!» Он тут же спрыгнул и спрашивает: «В чем дело?» — «Глянь-ка туда, увидишь, — говорю я. — Вот повезло, что мы заблудились. Видишь, как они скачут, это погоня за нами, не иначе! Или они выехали из последней деревни, где ты стащил две рубахи, —

говорю я, — или из самого Пакериджа, тогда они — за конем». Тут он, не дожидаясь моих приказаний и сохраняя полное присутствие духа, живо уволок коня за высокий серебристый куст чертополоха, росший рядом, чтобы преследователи его не увидели: мы ведь находились на вершине холма, и, не сделай он этого, они бы непременно заметили коня и на всякий случай поехали бы в нашу сторону.

Ну, а раз конь им был не виден, то мы и подавно — с такого-то расстояния, так как мы уселись на землю, чтобы иметь возможность разглядеть их, оставаясь сами в полной безопасности.

Дорога так извивалась, что мы еще долго видели, как они скачут, не жалея лошадей; когда они исчезли из глаз, мы поднялись и тоже поспешили убраться оттуда, и, хотя нас было двое на одном коне, скорости мы не сбавляли, где только позволяла дорога, и ни у кого не справлялись, куда нам держать путь, пока, после почти двухчасовой скачки, не достигли города, который, как выяснилось, назывался Честерфилдом. Тут мы сделали остановку и наконец спросили, но не как проехать в такое-то место, а куда ведет эта дорога, и услышали в ответ, что это и есть почтовый тракт, ведущий в Кембридж, и не только в Кембридж, но и в Нью-Маркет, и в Сент-Эдмундс-Бери, и дальше в Норидж, Ярмут, Линн, Или и далее.

В Честерфилде мы сделали передышку, так как считали себя здесь в безопасности, а ближе к вечеру направились в местечко, называемое Бернбридж, где дороги на Кембридж и Нью-Маркет разветвляются. Там было всего два дома, и тот и другой — постоялые дворы. Когда мы пришли туда, Капитан и говорит мне: «Нас ведь ищут по дороге на Кембридж, смекаешь? И ежели мы двинемся именно туда, нас тут и сцапают, а Нью-Маркет всего в десяти милях отсюда, и там нас никто не тронет, а может, подвернется и какое-нибудь стоящее дельце».

На это я сказал ему:

— Знаешь, Джек, чтобы ни о каких дельцах я больше от тебя не слышал! Во всяком случае, я сам ни в чем таком участвовать не стану; честно говоря, я бы предпочел доставить тебя в Шотландию до того, как на твоей шее затянется веревка. Если от меня хоть что-то может зависеть, я не допущу, чтобы тебя вздернули тут в Англии, поэтому не пойду с тобой в Нью-Маркет, если ты не дашь мне слова вести себя там чинно-благородно.

— Что ж, — говорит он, — раз надо, так надо, но я надеюсь, ты хоть позволишь мне раздобыть второго коня, чтобы мы могли побыстрей передвигаться, а?

— Нет, — говорю я, — я против этого, а вот если ты разрешишь мне честно вернуть нашего коня хозяину, я научу тебя, как поступить дальше: ведь можно нанять лошадей на один-два перегона, а там ехать на них сколько потребуется, надо будет только отправить владельцу письмо, чтобы он прислал за лошадьми, и тогда даже если нас задержат, опасаться нам особенно нечего.

— Ну и хитер ты! — говорит Капитан. — Но я-то считаю, что лучше оставить все, как есть. Стоит нам уехать отсюда, и нам уже ничего не грозит, на дороге нас не задержат.

Мы быстро кончили наш спор, однако среди ночи в ворота соседнего постоялого двора — как я уже упоминал, там их было два — постучал какой-то человек и потребовал пива, но слуги уже легли и вставать с постели не пожелали; тогда он спросил, не проезжали ли тут случаем два молодца верхом на одном коне. И хозяин ответил, что проезжали днем и еще спрашивали дорогу на Кембридж, а задерживаться не стали, только выпили кружку пива. «Ах, вот что, они, стало быть, поехали в Кембридж? Ну, теперь я их живо нагоню!» Мне не спалось на нашем тесном чердаке, и только я услышал, что в ворота соседнего постоялого двора стучат, я тут же вскочил и бросился к окну; любой шум повергал меня тогда в смятение, потому мне и удалось все услышать. Да, дело было ясное, наш час еще не пробил, судьба распорядилась иначе, и опасность на этот раз обошла нас стороной. А все обстояло вот каким образом: прибыв в Бернбридж, мы зашли на первый постоялый двор, чтобы спросить дорогу на Кембридж, выпили

кружку пива и ушли; люди видели, как мы тут же направились в указанном направлении, однако близилась ночь, мы изрядно устали, подумали, что можем заблудиться, и вернулись, уже совсем в сумерках, но не на тот же постоялый двор, а на другой, который теперь, на обратном нашем пути, был ближе.

Можете вообразить себе, как я испугался, тем более что причины к этому были; Капитан крепко спал в своей постели, но я разбудил его, растолкав так яростно, что он не на шутку перепугался. «Вставай, Джек! — сказал я. — Мы пропали! Они пришли сюда за нами». Может, не стоило нагонять на него такого страху, ибо он соскочил с кровати и, не соображая, где он и что с ним, кинулся к окну; он еще не успел как следует проснуться и хотел тут же выпрыгнуть на улицу, но я вовремя схватил его. «Ты что хочешь делать?» — спросил я. «Я им не дамся, — ответил он, — отпусти меня! Где они?»

Он был в полном замешательстве и совсем потерял голову от страха, мне стоило больших трудов не позволить ему выброситься из окна, так как он все еще находился во власти сна. Но я крепко держал его, и тем временем он окончательно проснулся, пришел наконец в себя и успокоился.

Я рассказал ему все, и, сидя на краю кровати, мы долго обсуждали, как же нам поступить. В общем-то, поскольку тот человек, очевидно, отправился в Кембридж, особенно нам опасаться было нечего, можно было спокойно дождаться утра, а тогда вскочить на коня — и поминай как звали.

Так мы и сделали; едва забрезжил рассвет, мы были уже на ногах. К счастью, мы заранее спросили дорогу на первом постоялом дворе, и нам сказали, что на Кембридж надо свернуть по дороге налево, а на Нью-Маркет идти все время прямо. Итак, помня об этом, Капитан предложил мне, что выйдет пешком и в одиночку направится в Нью-Маркет, таким образом, я буду уезжать как бы один. И он тут же отправился, как уговорились, и зашагал прочь по дороге; он шел так быстро, что, когда я последовал за ним, у меня было мелькнула мысль, не бросил ли он меня, так как, хотя я гнал во весь опор, прошел почти час, а его все еще не было видно. Наконец, миновав крутой откос, прозванный Чертовой Ямой, я нашел его и велел садиться позади меня на коня. Так мы и ехали вместе верхом почти до самой окраины Нью-Маркета. В городе возле первого же дома у дверей стояла лошадь, совсем как тогда в Пакеридже. «Эх, — говорит Джек, — встреться нам этот конь уже при выезде из города, я бы прихватил его, точно как того, в Пакеридже!» Но тут он этого не мог, а потому, спешившись, пошел через город пешком, держась все время правой стороны дороги.

Не успел он проделать полпути, как лошадь каким-то чудом сама отвязалась и преспокойно затрусила рысцой, однако никто ее не хватился. Когда лошадь очутилась далеко впереди Капитана и он увидел, что следом никто не бежит, он тут же сам припустил за ней; в таких делах он в подсказке не нуждался. Услышав его шаги за собой, лошадь затрусила быстрей, тогда Капитан стал кричать: «Остановите лошадь!» К этому времени лошадь уже почти достигла противоположного конца города, а в доме, возле которого она была привязана, никто ее так и не хватился.

На его крики «Остановите лошадь!» бедные горожане, случившиеся тут на улице, сбежались с обеих сторон дороги и с великой готовностью поймали и держали ее, пока Джек не подошел. Он с сердитым видом приблизился к лошади, отвесил ей пару тумаков и обозвал скотиной за то, что сбежала, а человеку, поймавшему ее, протянул два шиллинга, потом вскочил верхом и поскакал вслед за мной.

Вышел на редкость чудной случай: не Капитан облюбовал себе эту лошадь, а лошадь — Капитана, и когда он подъехал ко мне, то спросил: «Ну, что ты скажешь о такой удаче, Полковник Джек? Не станешь же настаивать, чтобы я отказался от лошади, которая так любезно сама предложила мне на ней прокатиться?» — «Да нет, конечно, — сказал я, — эту

лошадь ты добыл смекалкой, а не обманом, можешь и дальше на ней скакать, и, пожалуй, если нас схватят, тебе даже меньше угрожает опасность, чем мне».

Теперь встал вопрос, какой дорогой ехать. Перед нами расходились четыре дороги, но какую выбрать, мы не знали. Первая, справа, в какой-нибудь миле от города, вела на Сент-Эдмундс-Бери; та, что шла прямо, а потом сворачивала вправо, тянулась до Батн-Миллза, Тетфорда и дальше до Нориджа; прямо перед нами лежала широкая дорога на Брендон и Линн, а слева шла дорога поуже на Или, которая вела потом к Фенам[34].

Короче говоря, не зная, какую дорогу выбрать и каким путем добраться до главного Северного тракта, с которого мы сошли, мы двинулись наугад в сторону Брендона, а следовательно, на Линн. В Брендоне, или, как его еще называют, в Бренде, нам сказали, что, когда мы оставим позади местечко, именуемое Даунэмбридж, мы сможем пересечь Фены, чтобы выйти к Уизбичу, а уж оттуда берегом реки Нин добраться до Петерборо и дальше до Стамфорда, где мы снова попадем на Северный тракт. Кроме того, из Линна мы могли переправиться через залив Уош в графство Линкольншир и дальше держать путь на север. Так или иначе, а в мой обычай вошло, уж коли спрашивать о дороге, никогда ею не следовать, а выбирать совсем иную, какую мог подсказать случайный разговор. Так мы поступили и на этот раз: расспросив о том, как попасть на Северный тракт, мы решили отправиться прямиком в Линн.

Мы тихо-мирно прибыли туда, но, когда стали обсуждать, каким путем ехать далее, обнаружили, что выбора нет, и нам придется добираться до Линкольнширского графства через залив Уош, а это считалось опасным. Но случай помог нам: одному человеку тоже предстоял путь через Фены, и мы наняли его в качестве провожатого. Вместе с ним мы доехали до Сполдинга[35], оттуда в городишко под названием Дипинг[36] и далее в Стамфорд, что в графстве Линкольншир.

Стамфорд — большой, густо населенный город. Приехали мы туда как раз в базарный день и остановились в скромной гостинице на самой окраине, а оттуда уже пошли в город.

Удержать Капитана от излюбленных его проделок было невозможно, и душа у меня была не на месте. Я сразу заявил ему, что не пойду с ним, ибо он все равно не сдержит своего слова, а мне слишком хорошо известна его склонность к рискованным поступкам, и это меня беспокоит, поэтому я шагу из дому не сделаю. Но разве его убедишь? Все было напрасно, он отправился на рынок и живо отыскал там то, что ему надо было. О том, как он обчистил там за четверть часа два чужих кармана, как приволок в наше пристанище два куска голландского полотна в восемь или девять элей[37] и шерстяной отрез да обделал еще три-четыре таких же дельца менее чем за два часа, а потом еще успел ограбить доктора и вышел сухим из воды — все это, как мне уже доводилось говорить вам, относится к его истории, но не к моей.

Я крепко отругал его, когда он вернулся, и заявил ему, что он погубит и себя и меня, если не оставит это занятие, и наговорил ему много слов, пригрозив бросить его, а самому вернуться в Пакеридж, чтобы отвести назад коня, которого мы там позаимствовали, и потом направиться в Лондон одному.

Он пообещал исправиться, но так как мы решили отныне путешествовать только по ночам (мы уже достигли главного тракта), а ночь еще не наступила, он опять ускользнул от меня, и не прошло и получаса, как вернулся с золотыми часами. «Ты еще не готов? — спрашивает. — Я могу отчалить в любую минуту, как ты соберешься». — И с этими словами он вытаскивает золотые часы. Я был поражен: откуда тут в глуши взялась такая дорогая вещь? Но, оказывается, он зашел в церковь, где шла вечерняя служба, и по воле случая сел рядом с богатой дамой, у которой незаметно сбоку и срезал часы, а потом удрал с ними.

В ту же ночь, как только взошла луна, мы двинулись в путь, но перед тем потешились на славу, когда услышали объявление констебля, что за часы, если их вернут, обещают вознаграждение в десять гиней. Капитану очень хотелось получить вместо часов десять гиней, однако у него духу не хватало отнести их. «Что ж, — сказал я, — у тебя есть все основания бояться, лучше дай их мне, я рискну вернуть их владельцу». Но он мне их не дал, а сказал, что, когда мы доберемся до Шотландии, мы сможем без опаски продать что угодно, и это оказалось правдой: лишних вопросов там нам не стали задавать.

Итак, мы выехали поздно вечером при луне и, скача во весь опор, благо дорога была ровная и широкая, прибыли в Грантам[38] что-то около двух часов пополуночи. Город еще спал мертвым сном, и мы отправились дальше в Ньюарк, которого достигли часов в восемь утра; там мы легли спать и проспали почти весь день — и слава богу, не то, боюсь, я не сумел бы удержать его от его обычных пагубных поступков.

Из Ньюарка[39], случайно подслушав, как какой-то человек рассуждает о сравнительных достоинствах дорог, мы выбрали самую подходящую для нас, что вела в Ноттингем. Для этого мы свернули с главного тракта и двинулись берегом Трента вверх по течению, пока не достигли Ноттингема. Здесь Капитан опять принялся за свои проделки, столь наглые, что я диву давался, как это он ухитряется уйти целым и невредимым. Добыча его была столь велика, что ему пришлось купить чемодан и все сложить туда. Мои попытки урезонить его оказались тщетными, и с этих пор он вел себя уже совсем независимо.

Повторяю, в Ноттингеме Капитан действовал так успешно, что мы были вынуждены выбираться оттуда скорее, чем предполагали, не то бы нас задержали и препроводили в тюрьму. Покинув Ноттингем, мы опять сошли с главного тракта, ведшего на север, и, миновав Мансфилд[40], прибыли в Скарсдейл[41], а потом в Йоркшир[42].

Более я не намерен отвлекаться от моей истории, чтобы расписывать проделки Капитана, они вполне заслуживают отдельной книги, я остановлюсь лишь на том, что было связано с нашим путешествием. В двух словах: я старался как можно скорее добраться с ним до города Лидса в Йоркширском графстве; несмотря на то что Лидс большой и населенный город, Капитану ничего не удалось там стянуть, равно как в Уэйкфилде[43], в результате чего он заявил мне, что все люди тут на севере не иначе как сами жулики. «Почему же? — удивился я. — Люди как люди». — «Ну, нет уж! — сказал он. — Они так зыркают по сторонам, ушки на макушке, будто каждый встречный у них карманник, не то с чего им всех подозревать? А и то сказать, — добавил он, — что у них красть-то, они же все нищие, и, боюсь, чем дальше на север, тем будет хуже». — «Так какой же ты делаешь из этого вывод?» — спросил я. «А такой, — отвечал он, — что нечего нам тут околачиваться, какая разница, вернуться нам на юг, чтоб нас там вздернули, или идти дальше на север и подохнуть с голоду?»

И вот мы наконец попали в Ньюкасл-на-Тайне. В базарный день тут полным-полно народу, многие из горожан отправляются на рынок закупать провизию, и Капитану было где порезвиться, сначала он надул какого-то лавочника, набрав у него фунтов на пятнадцать — шестнадцать товару, и смылся с ним; стащил лошадь, а свою, приблудную, продал, словом, столько дел натворил, что я за него натерпелся-таки страху. Я говорю за него, потому как сам я держался в стороне и не покидал нашей гостиницы, а если и выходил, то, уж во всяком случае, не с ним, а с кем-нибудь из постояльцев или из прислуги, чтобы, в случае чего, спутник мог засвидетельствовать мою невиновность.

Я не зря проявлял такую осторожность, так как он слишком уж увлекся своими мошенническими проделками и в любой момент мог попасться. Если бы только он с самого начала не ловчил, сообщая всем и каждому, что приехал из Шотландии и держит путь в Лондон, расспрашивая о дороге туда и всяком таком прочем, чем в первый день сбил с пути своих преследователей, его бы непременно схватили и, по всей вероятности, повесили бы тут же на месте. Однако благодаря своей изобретательности он выиграл у них полдня, и все-таки дело кончилось тем, что он вынужден был броситься в реку Твид[44], как был на коне и в

одежде, и, только перебравшись вплавь, ушел от погони. Правда, он уже находился на шотландской земле, и его не так-то просто было схватить, — любой мог вмешаться и воспрепятствовать этому. И все же, если бы погоня продолжалась, его бы настигли и рискнули бы забрать, а отпустили лишь после тщательного дознания.

Так или иначе, ему удалось переплыть Твид и благополучно пристать к берегу, а преследователям пришлось оставить погоню, так как вода в Твиде у места переправы стояла слишком высокая, да ежели бы они его и настигли, им бы ни за что не переправить его обратно на свой берег.

В том месте, где он переплыл реку, чуть пониже города Келсо[45], обычно был брод, да только из-за высокого паводка нельзя было им воспользоваться, а времени, чтобы добраться до перевоза, который находился примерно в двухстах ярдах, как раз напротив самого города, у Капитана не хватило. Уйдя таким образом от погони, он направился в Келсо, куда, как мы условились, должен был приехать вслед за ним и я.

С тяжелым сердцем отправился я в путь, опасаясь в любую минуту встретить его на дороге под конвоем в сопровождении констеблей или же услышать весть, что он попал в тюрьму. Однако, прибыв в местечко Уоллербохед, на границе Англии и Шотландии, я узнал, как ему удалось скрыться.

Прибыв в Келсо, я без труда отыскал его, поскольку его отчаянная переправа вплавь через бурный и широкий Твид вызвала немало толков, хотя, судя по всему, там не знали, что заставило его сделать это и кто он вообще такой, поскольку у него хватило ума помолчать и, пока я не приехал туда, жить тихо-скромно.

Не могу сказать, что я так уж обрадовался, найдя его целым и невредимым, поскольку имел зуб на него за его поведение; хуже того, я понял, что он вовсе не считает свои поступки в сложившихся обстоятельствах безрассудными и прямо противоречащими тому, что он обещал мне.

Но, толкуй не толкуй, ему все было без пользы, и я только поздравил его со счастливым избавлением и спросил, как он намерен жить здесь. Он в двух словах ответил, что пока не знает и боится, что люди здесь чересчур бедные, но если у них водятся хоть какие-нибудь деньжонки, он уж наверняка ими разживется.

«А тебе известно, — сказал я, — что никто строже шотландцев не относится к преступникам, вроде тебя?» Но он ответил, по своему обыкновению, нахально, что плевать он на это хотел, все равно он попытает счастья. На это я заявил ему, что, раз так, раз он решил во что бы то ни стало рисковать, я его бросаю и возвращаюсь в Англию. Он казался угрюмым, но, может быть, это было лишь проявлением всегдашней его грубости и дурного нрава, и сказал, что я могу поступать, как мне заблагорассудится, а он будет искать своей удачи. И все-таки в этот раз мы не расстались, а продолжали вместе путь к здешней столице. По дороге мы наблюдали картины такой ужасной бедности и так редко встречали людей, чей вид сулил нам хоть какую-нибудь добычу, что, хотя его орлиной зоркости можно было позавидовать, он так и не приметил ничего, чем бы стоило поживиться. Что касается мужчин, было непохоже, чтобы у них водились деньги, а женщины рядились в такую одежду, что, имей они денег полные карманы или хотя бы просто карманы, добраться до них было бы все равно невозможно, так как все они носили длинные пледы, которые доходили им до колен, и так плотно в них кутались, что обчистить их и пытаться не стоило.

Келсо оказался и впрямь славным городом, и народу там проживало много, а все-таки, хотя Капитан уже провел в нем одно воскресенье и побывал в церкви, причем в церкви очень большой и битком набитой людьми, он не увидел там ни одной женщины, как он мне потом рассказывал, в иной одежде, чем плед, разве что на двух скамьях со спинками, где расположились знатные горожане, но когда они покинули церковь, то оказались со всех сторон

окруженными лакеями и слугами, так что к ним было не подступиться, словно к королю, окруженному своей гвардией.

Все это сильно охладило его пыл, чему я в глубине души был рад, мы покинули Келсо и направились в Эдинбург[46]. По дороге туда нам не встретилось ни одного мало-мальски стоящего города, и путешествие для нас оказалось на редкость трудным, поскольку места нам были незнакомы, а на пути встречались реки, которые из-за проливных дождей разлились, и переправляться через них было опасно; так, возле местечка Лодердейл Капитан чуть не утонул, когда поток воды поволок его коня и конь под ним упал; он промок насквозь и совершенно испортил наворованное добро, которое раздобыл еще в Ньюкасле и которое чудом не намочил в воде, переплывая Твид, потому что держал его высоко над водой. На этот раз еще бы немножко — и он вместе с конем пошел бы ко дну, но не потому, что там было глубоко, а слишком уж бурный оказался поток. Однако он выплыл, правда, не без труда, словно про него сказано: кому на роду написано иное, тот не утонет. А что было написано ему на роду, я сообщу в своем месте.

Мы прибыли в Эдинбург на третий день после отъезда из Келсо, задержавшись по дороге на целый день в местечке Саутра-Хилл, на постоялом дворе, чтобы просушить все наши вещи и подкрепиться. Странная встреча ждала нас в Эдинбурге на другой же день после нашего прибытия туда. Моему другу Капитану захотелось выйти погулять, чтобы пооглядеться, и он предложил мне, не хочу ли и я пойти с ним осмотреть город. Я согласился, мы вышли и, пройдя через ворота, которые называют там Нижней Аркой, попали на широкую Главную улицу, тянувшуюся до самого Перекрестка; нас удивило, что улица запружена несметным числом людей. «Нам повезло!» — сказал Капитан. Однако еще перед выходом я заставил его поклясться, что в этот день он обойдется без своих проделок, иначе я вообще не пойду с ним, и я держал его за рукав и не отпускал от себя ни на шаг.

Наконец мы добрались до Перекрестка Меркарта и, затесавшись в толпу, наблюдали грандиозное сборище, что-то вроде парада или смены почетного караула, в котором были представлены все ранги и звания, так что мой Капитан снова оживился, любуясь на эту картину.

Пока мы стояли и смотрели, гадая, что же сие означает, перед нами предстала новая удивительная картина, которой мы никак не ожидали; мы заметили, что все люди вдруг побежали, словно увидели на улице какое-то чудо. Это и в самом деле оказалось чудо: перед нашими глазами, словно ветер, пронеслись два человека, обнаженные до пояса, и мы подумали было, что это всего-навсего состязаются на какой-нибудь особый приз два бегуна, но тут неожиданно наше внимание привлекли два длинных тонких то ли каната, то ли веревки, которые поначалу свисали свободно, а потом туго натянулись, отчего оба бегуна вдруг сразу остановились и застыли в неподвижности один подле другого. Мы не понимали, что все это значит, и читатель может вообразить себе наше изумление, когда мы увидели, что за ними следует еще один человек, который держит в руках концы этих веревок; подойдя к бегунам, он ударил их со всего размаха железной плеткой или бичом, после чего эти голые страдальцы опять продолжали свой бег на длину привязи, то есть веревки, в конце которой их ждало подобное же вознаграждение. Таким манером они прошли всю улицу, которая протянулась почти на полмили.

Это был наглядный урок моему другу Капитану! И он волей-неволей не только задумался о том, что с ним случится, если он оплошает на избранной им стезе, но вспомнил также, что пришлось ему пережить еще совсем мальчишкой в небезызвестном месте, именуемом Брайдуэлл.

Однако на этом дело не кончилось: поскольку нам случилось увидеть экзекуцию, мы захотели удовлетворить свое любопытство и выяснить, чем они провинились, и мы спросили у парня, стоявшего рядом с нами, что сделали эти два человека, чтобы заслужить такое наказание. Парень этот, обтрепанный, угрюмого вида шотландец, угадав по нашему разговору,

что мы англичане, а по нашим вопросам, что мы люди пришлые, сообщил нам не без ехидства, что оба преступника — англичане и заслужили наказание плетьми за то, что обчищали карманы и совершали прочие мелкие кражи и что отсюда их отошлют через границу в саму Англию.

Все это оказалось чистым враньем и было подсказано его откровенным желанием оскорбить англичан, ибо, продолжая расспросы, мы выяснили, что оба преступника — шотландцы и заработали кнут такими же преступлениями, за какие и у нас в Англии дают подобное наказание, а что человек, который держал веревку и стегал их, — это городской палач и, к слову сказать, весьма видное должностное лицо, он получает постоянное жалованье и является человеком состоятельным, зарабатывающим большие деньги на этой службе.

И все-таки зрелище произвело на нас тягостное впечатление. Обернувшись ко мне, Капитан сказал: «Пошли отсюда! Не хочу я больше здесь оставаться, пошли!» Я был рад услышать от него эти слова, хотя не очень-то верил, что он и в самом деле хотел уйти. И все-таки мы возвратились на квартиру, которую сняли там, и старались поменьше показываться на улице, и выходили только иногда по вечерам, но Капитану так и не подвернулось стоящего дела. Правда, раза два-три он разживался кой-какой мелочишкой у бакалейщика или булочника, но потом сам не знал, что с этим делать. Коротко говоря, он был просто вынужден блюсти честность, вопреки его доброй воле, которая стремилась совсем к иному.

Мы прожили в Эдинбурге что-то около месяца, когда мой Капитан внезапно исчез, вместе с конем и всем прочим, и я понятия не имел, что с ним такое стряслось. В течение восемнадцати месяцев я не видел его и ничего о нем не слыхал, поскольку он даже не оставил мне записки, куда он направился и вернется ли снова в Эдинбург.

Я счел его бегство ужасной низостью, так как, будучи чужим в этих местах, совершенно не знал, что мне делать, а к тому же и деньги мои понемногу таяли. Да еще на моих руках оставалась лошадь, которую надо было кормить, а поскольку лошади в Шотландии стоят гроши, мне не удалось сбыть ее за приличную цену. Правда, про себя я решил, что, ежели я вернусь в Англию, я возвращу коня его владельцу из Пакериджа, что возле Уэйра, и таким образом можно будет считать, что я не нанес ему никакого ущерба, разве что пользовался его конем слишком долго. И я выполнил это мое намерение, и даже очень ловко.

Как-то раз на конский двор (так в Эдинбурге называют место, где можно оставить коня на прокорм) пришел один человек и поинтересовался, не слышал ли кто про лошадей, которых надо вернуть в Англию. Господин (так мы называли нашего хозяина) тут же обратился ко мне и напрямик спросил, мой это на самом деле конь или не мой. Вопрос прозвучал странно, особенно если вспомнить, как все произошло, и поначалу озадачил меня. И я говорю: а что, собственно, случилось, почему он спрашивает? «А потому, — говорит он, — что ежели он взят напрокат в Англии, как это часто делаете вы, англичане, когда собираетесь ехать в Шотландию, то я вам помогу вернуть его на место да еще заработать кое-что на этом». И он все мне объяснил.

Я очень обрадовался такой возможности. Короче говоря, убедившись в надежности человека, который должен был доставить коня на место целым и невредимым, получив с него пятнадцать монет чистоганом за то, что он будет ехать всю дорогу верхом, и уладив таким образом это дело, я велел ему оставить коня в Пакеридже возле гостиницы под названием «Сокол». Как выяснилось несколько лет спустя, там он его честно и оставил, так что владелец получил своего коня назад, словно выиграл; правда, за то, что им пользовались, он ничего не получил.

Освободившись таким образом от необходимости кормить лошадь, не зная, чем мне заняться, я стал размышлять над своей судьбой и дальнейшим существованием. Свои денежные запасы я не очень истощил: хотя всю нашу длинную дорогу я старательно избегал принимать участие в рискованных проделках Капитана, однако не стеснялся жить на его счет,

и это было бы вполне справедливо, учитывая, что я покинул Англию, только чтобы составить ему компанию, если бы я не знал достоверно, что все расходы на меня он оплачивает из карманов честных людей и что все это время я, по сути, являлся укрывателем краденого. Однако, повторяю, не так я был воспитан, чтобы испытывать из-за этого угрызения совести.

Я не столь уж близко принимал к сердцу сокращение моих богатств, так как всегда помнил о резерве, оставленном в Лондоне, и тем не менее я всей душой рвался к настоящему делу, чтобы жить на честно заработанные деньги, ибо меня совершенно измотала бродячая жизнь, какую я вел, и я твердо решил про себя больше никогда не воровать, но мне тут же пришлось отказаться от двух-трех дел, какие подвернулись, так как я не умел ни читать, ни писать.

Меня это очень огорчило; к счастью, мне на помощь пришел тот самый хозяин конского двора, о котором я уже упоминал, и вот каким образом: он отвел меня к одному бедному юноше, который взялся научить меня и писать и читать за довольно короткий срок и за недорогую плату, если только я буду стараться. Я пообещал приложить все усилия и тут же принялся за работу, но вскоре обнаружил, что научиться писать для меня намного труднее, чем читать.

Тем не менее через полгода или около того я уже вполне сносно читал и писал, настолько, что счел себя пригодным для службы, и в результате поступил временно в помощники к одному таможенному чиновнику, но так как никаких особенных обязанностей он на меня не возложил, а только велел возить из Лита[47] в Эдинбург и обратно счетные книги разных фермеров, которые он вел на своей таможне, он предоставил мне до получения первого заработка жить на свой счет, и я очень скоро израсходовал свои скудные сбережения на одежду и пищу. И вот незадолго до окончания года, когда мне уже причиталось получить с него двенадцать английских фунтов, моего хозяина вдруг прогнали с места и, что еще ухудшало дело, обвинили в каких-то злоупотреблениях, и он был вынужден искать прибежища в Англии, так что мы, его помощники, а нас было у него трое, оказались предоставленными сами себе.

Меня, очутившегося в чужой стране, происшедшее привело в крайнее уныние. Конечно, я мог вернуться в Англию на английском судне, которое швартовалось тогда неподалеку, к тому же мой хозяин предложил оплатить за меня дорогу (после того, как я сообщил ему, в каком отчаянном положении нахожусь), взяв с меня слово, что по приезде я верну ему эти десять шиллингов, но тут вдруг объявился мой друг Капитан, и при таких обстоятельствах, которые не позволяли ему тут же уехать из города, а мне бросать его на произвол судьбы. Выходило, нам и впредь суждено было идти одним путем.

Я уже говорил, что он сбежал от меня и не появлялся восемнадцать месяцев. За это время где только он не побывал и чего только с ним не приключалось! Сначала он отправился в Глазго, выкинул там несколько на редкость наглых своих номеров и только чудом избежал виселицы, потом переправился в Ирландию, долго скитался, пока не превратился в настоящего разбойника с большой дороги, и, совершив ряд грязных преступлений, спасся бегством из Лондондерри прямо на север в Шотландские горы, а примерно за месяц до того, как я очутился в бедственном положении по вине моего бывшего хозяина, который бросил меня в Лите, гляжу: мой доблестный Капитан появляется там на пароме прямиком из Файфа[48] — после всех своих приключений и побед он удостоился чести стать пехотинцем в отряде рекрутов, набранных на севере для дугласовского полка[49].

В результате несчастья, свалившегося на меня, я находился почти в таком же плачевном положении, как сам Капитан, и потому не видел для себя иного выхода, во всяком случае в тот момент, чем тоже стать солдатом. Таким образом, мы оказались в одном строю, каждый с мушкетом на плече, и, должен признаться, мне это, в общем-то, пришлось по душе даже больше, чем я ожидал, потому как хотя кормили и размещали нас плохо, особенно последнее — такая уж судьба у бедняги солдата, — но для меня, привыкшего когда-то спать в золе на стекольном заводе, это не имело большого значения, зато я был очень доволен, что мне не надо больше воровать и жить в вечном страхе перед тюрьмой или перед бичом палача: после

того, что я увидел в Эдинбурге, мысль о подобном наказании наполняла мое сердце ужасом. Для меня было невыразимым облегчением сознавать, что отныне я буду вести жизнь честную и, можно сказать, вполне приличествующую дворянину.

Казалось бы, все устроилось хорошо, однако обстоятельства внезапно изменились, и я уже не мог считать их благоприятственными. По прошествии шести месяцев вдруг было объявлено, что все рекруты отправляются маршем в Англию и то ли из Ньюкасла, то ли из Гулля отплывут на судах, чтобы прибыть в полк, находящийся во Фландрии.

Должен вам признаться, что поначалу я был в полном восторге от солдатской жизни, я с такой легкостью овладевал учением, что сержант, обучавший нас обращению с оружием, заметив мои успехи, осведомился, не случалось ли мне прежде иметь дело с оружием. Я ответил ему, что никогда не случалось, тогда он воскликнул: «Нет, ты шутишь! Тебя ведь все называют Полковником, и я уверен, ты им будешь, а может, ты приемыш какого-нибудь полковника? Иначе с одного-двух раз тебе ни за что бы не справиться с мушкетом так ловко».

Мне это чрезвычайно польстило и подняло мой дух, однако, когда Капитан пришел и сообщил мне новость, что нам предстоит поход в Англию, чтобы из Ньюкасла-на-Тайне отплыть затем во Фландрию, я был очень удивлен, и мысли мои потекли по новому руслу. Во-первых, я вспомнил особое положение Капитана, который не мог появляться публично на улицах Ньюкасла, а ему бы пришлось это сделать, если бы он отправился в поход с батальоном (наш отряд насчитывал уже более четырехсот человек и поэтому стал называться батальоном, хотя все мы были рекрутами, приписанными к разным ротам, действовавшим на чужбине), повторяю, ему предстояло передвигаться со всеми вместе и со всеми открыто появиться в городе, а следовательно, его могли там схватить и передать властям. Во-вторых, я вспомнил, что в Лондоне у меня имеется почти что сто фунтов, и, если бы откровенно спросить хоть кого из целого полка, согласился бы он отправиться во Фландрию рядовым, имей он в кармане сто фунтов, я уверен, ни один не ответил бы положительно.

В то время ста фунтов хватило бы, чтобы купить себе офицерское звание[50] в любом новом полку, однако не в нашем, уже сформированном. Честолюбие во мне взыграло, и теперь я мечтал лишь об одном, как бы из честного солдата превратиться в господина офицера.

От сознания же столь рокового стечения обстоятельств я приуныл; мне, честно говоря, так не хотелось отправляться во Фландрию простым солдатом с мушкетом за плечом, чтобы сложить там свою голову за какие-нибудь жалкие три шиллинга шесть пенсов в неделю! Целыми днями я только и делал, что размышлял о нашей отправке, прикидывая так и эдак, что же предпринять, как однажды вечером подходит ко мне Капитан и говорит: «Слушай, Джек, мне надо с тобой потолковать! Пойдем-ка погуляем где-нибудь в поле, подальше от этих домов». Квартировали мы в местечке под названием Парк-Энд, что возле города Данбар[51], примерно в двадцати милях от Берика-на-Твиде[52], в шестнадцати милях, если по прямой, от самой реки Твид.

Вышли мы вдвоем и серьезно обсудили наше положение. Капитан объяснил мне свои трудности, что ему никак нельзя идти с батальоном через Ньюкасл, не то его прикажут вывести из строя и приговорят к смерти, а я и без него все это знал.

— Если бы я отправился в Ньюкасл один, — сказал он, — я бы мог благополучно пройти через город, но появиться там открыто — это все равно, что самому кинуться в пропасть.

— Что верно, то верно, — согласился я. — Как же тебе теперь быть?

— Как! — воскликнул он. — Уж не думаешь ли ты, что мне до того дорога солдатская честь, что во имя ее я добровольно пойду на виселицу? Как бы не так! — говорит он. — Я твердо решил ретироваться и не прочь тебя прихватить с нами.

— Что значит «с нами»? — спросил я.

— Да есть тут один честный малый, тоже англичанин, — говорит он, — который тоже решил бежать. Он уже давно служит в полку и говорит, ему хорошо известно, зачем нас

посылают во Фландрию[53], а потому он туда не поедет, нет уж, сказал он, пусть отправляются без него.

— Да, но вас же расстреляют за дезертирство, коли схватят, — говорю я, — за вами тут же во все концы вышлют погоню, и вам от нее не уйти.

— Ну, моему приятелю хорошо знакома эта дорога, и он берется вывести нас к берегу Твида, те даже не успеют напасть на наш след, а когда мы окажемся на другом берегу Твида, они уже не смогут схватить нас.

— Когда же вы собираетесь бежать? — спросил я.

— Прямо сейчас, — отвечал он. — Нельзя терять ни секунды, и ночь стоит ясная, лунная.

— Но у меня нет с собой вещей, — говорю я, — можно, я схожу за своим платьем и всем прочим?

— Платье это пустяки, — говорит он. — В Англии мы запросто раздобудем новое известным тебе путем.

— Нет, никаких известных мне путей, — сказал я. — Из-за них мы сейчас и попали в беду.

— Ну, ну, потише, — говорит он, — лучше следовать нашей проторенной дорожкой, чем помирать с голоду честным джентльменом!

— Так у нас ведь ни гроша в кармане, — говорю я. — Как же мы будем путешествовать?

— У меня кой-что есть, — говорит Капитан, — до Ньюкасла дотянем да по дороге еще раздобудем, а нет, так наймемся на любой угольщик и попадем тогда в Лондон по морю.

— Вот это мне нравится больше всех твоих предложений! — сказал я.

Я согласился бежать с ним, и мы тут же отправились в путь. Этот хитрый мошенник велел своему напарнику пройти вперед милю и дожидаться его у подножия холмов и меня слово за слово увлек по той же дороге, так что, когда мы уже почти пришли к согласию, он и говорит: «Смотри, вон мой приятель!» — тот был уже недалеко, и я сразу же узнал его, так как видел его раньше среди рекрутов.

Итак, мы уже находились у подножия холмов. Добрая миля пути осталась позади, а день только-только занимался, но шагу мы не сбавляли, рассчитывая, по возможности, уйти от погони еще до того, как нас хватятся или проведают что о нашем бегстве.

Мы шли так быстро, что уже к пяти часам утра достигли какой-то деревушки, не помню, как она называлась, и там нам сказали, что до реки Твид от нее всего восемь миль, а стоит нам перебраться на другой берег, и мы на английской земле.

В деревушке мы перекусили и, немало не медля, отправились дальше, однако лишь в половине девятого мы вышли к Твиду, потому как, вместо обещанных восьми миль, нам пришлось пройти, по крайней мере, шестнадцать. Тут мы нагнали еще двоих из нашего батальона, которые дезертировали из Хаддингтона[54], где квартировала часть рекрутов.

Эти двое были шотландцами, совсем бедными, без гроша в кармане; когда они собрались бежать, на двоих у них было всего восемь шиллингов. Они как увидели нас, так сразу узнали, что мы из того же батальона, и подумали, что нас выслали за ними в погоню, чтобы схватить их, поэтому они решили защищаться, благо им, как и нам, успели выдать в отряде по шпаге: ни лошади, ни мундира — только шпагу. Мундир мы должны были получить лишь по прибытии в полк, стоявший во Фландрии.

Мы быстро дали им понять, что находимся точно в таком же положении, что и они, и тут же объединились в одну дружную компанию. Позволив себе небольшую передышку на английском берегу реки (мы чувствовали себя смертельно усталыми, да и те двое вымотались не меньше нашего), повторяю, позволив себе небольшую передышку, мы двинулись в направлении Ньюкасла, поскольку уже приняли решение добираться оттуда до Лондона морем, так как денег у нас больше не было.

Мы находились в очень стесненных обстоятельствах, хотя на крайний случай я приберег один золотой и держал его в кармане, но это было всего полгинеи; а все наши расходы взял на себя Капитан, пока деньги у него не вышли; таким образом, в Ньюкасл мы прибыли с шестью пенсами на всех, и по дороге шотландцы даже просили милостыню.

Явиться в Ньюкасл мы решили под вечер, когда сгустятся сумерки, но даже в этот час мы не рискнули показаться в людной части города, а спустились вниз к реке, в предместье, где находились стекольные заводы. Не зная, куда нам податься, мы, однако, не унывали, а предоставили себя своей судьбе, и она завела нас в трактир. Мы сели и спросили пинту пива.

Распоряжалась в трактире женщина, во всяком случае, другого хозяина мы не видели; она показалась нам сердечной, веселой и гостеприимной, и мы рискнули выложить ей все наши обстоятельства и спросили, не может ли она порекомендовать нам владельца какого-нибудь угольщика, которым мы можем добраться до Лондона. Лукавая бестия сочла нас подходящей рыбкой для своего крючка; она была с нами крайне любезна и искренне посетовала, что мы не обратились к ней на день раньше, потому что один ее хороший знакомый, как раз владелец такого угольщика, в это самое утро вышел с началом прилива в море, и судно его находится сейчас где-то возле Шилдса[55], хотя вряд ли успело уже миновать песчаную отмель, так что она пошлет к нему домой человека узнать, отправился он сам на борт или нет, поскольку судовладельцам случается иногда задержаться в ожидании большой воды; и она выразила уверенность, что, если он еще не уехал, она уговорит его взять нас с собой, только она опасается, что тогда нам придется поспешить на борт немедля, в эту же ночь.

Мы попросили ее скорее послать человека к нему домой, иначе мы просто не знаем, как быть, и ежели ей удастся уговорить его взять нас на судно, нам совершенно безразлично, когда выходить — ночью или днем: так и так мы без денег, а значит, и без ночлега, и ничего нам не надо, кроме как попасть поскорее на борт судна.

Мы сочли это великой услугой с ее стороны, что она согласилась послать к нему домой своего человека, и, к огромной нашей радости, примерно через час она сообщила нам, что он еще не уехал, а сидит в городе в таверне, где сынишка и застал его, он велел передать, что по дороге домой заглянет к ней.

Все складывалось для нас как нельзя более удачно, и мы были этим чрезвычайно довольны. Еще примерно через час, когда мы сидели вместе с хозяйкой в комнате, служанка принесла нам весточку, что судовладелец ждет внизу, и она к нему тут же спустилась, пообещав нам, что пойдет все расскажет и постарается убедить его взять нас на судно. Через несколько времени она поднялась вместе с ним наверх.

— Ну, где тут честные господа вояки, — спрашивает он, — которых постигла беда? — Мы все, как один, встали и засвидетельствовали ему наше почтение. — Так, стало быть, господа, вы не при деньгах?

— Нет, где там, — ответил один из нас. — И мы будем крайне обязаны вам, сэр, если вы возьмете нас на ваше судно, и готовы выполнять в пути любую работу, жаль только — мы не моряки.

— Как, вы никогда раньше не бывали в море?

— Нет, — отвечали мы, — никогда.

— Тогда вы мне не помощники, — говорит он, — всех вас непременно свалит морская болезнь. Но ради милой хозяюшки я, так и быть, возьму вас. Готовы вы тотчас отправиться? Я выхожу сегодня же ночью.

— Конечно, сэр, — подтвердили мы, — можем выйти хоть сию минуту.

— Ну, зачем же, — любезно заметил он, — сначала мы с вами выпьем. А ну-ка, хозяюшка, — говорит он, — поднесите молодым людям пунша.

Мы переглянулись, ведь у нас не было денег, но он это заметил.

— Знаю, знаю, что нет денег, — сказал он, — пусть это вас не заботит, мы с вашей хозяйкой никогда не расстаемся, не выпив на дорожку. Ступайте, голубушка, — добавил он, — приготовьте нам пунш.

Мы поблагодарили его и сказали:

— Да благословит вас господь, благородный господин капитан, тысячу раз! — так мы были счастливы выпавшей на нашу долю удачей.

Пока мы пили пунш, он подзывает к себе хозяйку и говорит:

— Я наведаюсь домой, прихвачу кой-какие вещички, попрощаюсь со своими и велю, как поднимется прилив, прислать за мной шлюпку. А вы, моя голубушка, — говорит он хозяйке, — постарайтесь приготовить чего-нибудь на ужин, чтобы, уж коли я угощаю этих честных ребят путешествием, я мог бы угостить их и ужином, вряд ли они сегодня хорошо пообедали.

С этим он ушел. Вскоре мы услышали шум внизу, один из наших спустился вниз поглядеть и вернулся с известием, что на огне жарится отличная баранья нога. Не прошло и часа, как наш капитан вернулся, поднялся к нам наверх и пожурил нас, что мы не допили пунш. «Не робей, ребята, — сказал он, — допьете этот, попросим еще, когда я угощаю таких бедолаг, как вы, я не люблю скупиться».

Мы выпили, покончили с пуншем, и нам принесли еще, капитан тут же пустил его по кругу; затем появилась баранья нога; нет нужды говорить, как усердно мы с нею расправлялись, тем паче что нам не раз было сказано, что платить за нее не придется. После ужина капитан попросил хозяйку узнать, не подошла ли шлюпка. Она вернулась с ответом, что нет, еще не подошла, прилив еще недостаточно высок. «Что ж, — говорит капитан, — раз нет, подайте нам еще пунша». Принесли еще пунша; как выяснилось позднее, в него что-то подмешали или добавили больше бренди, чем полагается, потому как после этой порции мы окончательно опьянели, а что до меня, так я и вовсе заснул.

К тому времени, когда пора было отправляться, нам подали шлюпку, и мы буквально свалились в нее, один за другим, и поплыли вместе с капитаном. Большинство из нас, если не все, тут же заснули и спали, пока наконец шлюпка не стала — сколько прошло времени, долго ли мы плыли и как далеко успели отплыть, никто из нас не знал. Нас разбудили и сказали, что шлюпка уже у борта. Так оно и оказалось. С чужой помощью и поддержкой, без которых мы бы наверняка свалились за борт, нас подняли на судно. Помню только одно: как только мы оказались на борту, наш капитан — так мы стали его величать — громко позвал: «А ну-ка, боцман, позаботься об этих джентльменах, размести их по хорошим каютам, пусть лягут да проспятся, они слишком устали!» Мы и в самом деле очень устали, да еще напились, а я к тому же пил пунш впервые в жизни.

О нас действительно позаботились, как было приказано, и разместили по каютам, чтобы мы могли тотчас лечь спать. Тем временем судно, совершенно готовое к плаванию и лишь по особому указанию бросившее якорь у Шилдса, чтобы дождаться нас, наконец-то подняло якорь и, обойдя песчаную отмель, вышло в море, так что, когда на другой день мы проснулись, а это случилось что-то около полудня, и стали озираться по сторонам, мы обнаружили, что находимся в открытом море, земля была еще видна, но совсем далеко, и мы искренне радовались, что приближаемся к Лондону. Так мы тогда полагали. Обходились с нами прекрасно, и в течение примерно трех дней мы были весьма довольны нашим положением, но потом начали уже спрашивать: разве нам уже не пора прибыть? Сколько же еще нам идти до реки? «Какой реки?» — удивился один из команды. «Как какой? Темзы!» — говорит мой Капитан Джек. «Темзы? — повторил матрос. — Да о чем ты говоришь? Ты что, еще не проспался, не отрезвел, что ли?» Больше Капитан Джек не стал ни о чем спрашивать, поняв,

что, кажется, его одурачили; когда же немного погодя еще один из нас задал тот же вопрос, матрос, ничего не знавший об обмане, почувствовал, что что-то тут не так, и, обернувшись к третьему англичанину, ехавшему с нами, спросил:

— Куда же, по-вашему, мы идем, что вы спрашиваете все о Темзе?

— В Лондон, а куда же еще! — ответил англичанин. — Мы сговорились с капитаном, что он доставит нас в Лондон.

— Только не с капитаном, — говорит матрос, — могу ручаться. Бедняги вы, вас же обманули! Я сразу смекнул, когда увидел, как вы поднимаетесь на борт вместе с этим негодяем киднеппером Джиллименом. Бедняги вы, бедняги! — вздохнул он. — Вы же плывете в Виргинию[56], это судно зафрахтовано в Виргинии, вас туда продали.

Наш англичанин впал в неистовую ярость и разбушевался; мы все окружили его. У кого достанет фантазии, может вообразить, каково было наше изумление, в какое негодование мы пришли, услышав такую новость! Короче говоря, мы выхватили свои шпаги и стали колоть направо и налево, словом, подняли на борту такой шум, такой переполох, что матросам пришлось звать себе подмогу. Капитан первым делом отдал приказ нас обезоружить, однако при этом не обошлось без ранений с обеих сторон, потом он велел привести нас к нему в кают-компанию.

В каюте он заговорил с нами спокойно, выразил большое сожаление по поводу приключившегося с нами несчастья и высказал предположение, что нас заманили в ловушку, что человек, доставивший нас на борт, был настоящим мошенником, которого наняли купцы, сами тоже нечистые на руку, и, наверное, когда состоялось знакомство, нам представили его как капитана этого судна, не так ли? Мы подтвердили его догадку и дали ему о себе полный отчет — как мы зашли к хозяйке трактира осведомиться насчет угольщика, капитан которого согласился бы отвезти нас в Лондон, как этот человек взялся доставить нас в Лондон на своем судне и прочее, то есть все, что вы уже знаете.

Капитан выразил нам свое сочувствие и заверил нас, что он в этом деле не принимал никакого участия, однако помочь нам не в его силах, и лучше уж нам доподлинно знать наше положение, а именно, что нас посадили на это судно как невольников, которых следует сдать в Мэриленде[57] с рук на руки такому-то человеку, имя его капитан нам назвал. Если мы будем вести себя на борту тихо и подчинимся порядку, с нами всю дорогу будут хорошо обращаться, и он сам позаботится, чтобы все обошлось для нас хорошо и по прибытии на место, — словом, от него зависящее он обещает сделать. А вот если мы проявим непокорность и станем буйствовать, ему, как мы сами понимаем, волей-неволей придется принять меры для нашего успокоения, то есть на руки нам наденут наручники, отправят нас вниз и будут держать в трюме на замке, ибо он несет ответственность за порядок на корабле.

Капитан Джек так и взорвался и, словно помешанный, налетел на капитана с проклятьями и угрозами, крича, что перережет ему глотку тут же, на борту судна, или на берегу, все равно где, но только он до него доберется, не удастся здесь, сейчас, так позже в Англии, если только тот посмеет когда-нибудь еще нос в Англию показать. Ничего, капитан своего дождется, пусть даже его, Джека, увезут в Виргинию, когда-нибудь он найдет дорогу назад в Англию и спустя хоть двадцать лет, а расплатится с ним сполна.

«Что ж, молодой человек, — говорит капитан с улыбкой, — сказано откровенно, так что придется мне позаботиться о вас, пока вы находитесь у меня на борту, к тому же я должен позаботиться и о себе самом». — «Делайте, что хотите, — смело заявил Капитан Джек. — Рано или поздно я все равно отомщу вам». — «И все-таки я рискну, долг прежде всего, — все так же спокойно сказал капитан, — только сначала мы должны кое-что обсудить». И он приказал боцману, который стоял рядом, взять Джека под стражу, что тот и выполнил. Я попросил Джека сохранять спокойствие, не волноваться, сказал, что ведь капитан не виноват в нашем несчастье.

— Не виноват! Да будь он проклят! — вскричал Капитан Джек. — Неужто ты думаешь, он не нагрел руки на этом подлом деле? Да разве честный человек примет к себе на корабль людей, не спросив даже, что к чему, и увезет их за тридевять земель, не перемолвившись с ними ни словечком? А теперь, когда он узнал, как варварски с нами обошлись, почему он не высадит нас на берег? Говорю тебе, он сам злодей, злодей, и все тут! Не понимаю, почему бы ему не завершить свое злодейство и не прикончить нас — он бы тем самым избежал нашей мести. Ему только и остается, что послать нас к дьяволу или самому туда отправиться, иначе он от меня не уйдет! Я не он, я действую честно. Выложил ему все прямо и откровенно и сразу успокоился, теперь я спокойнее его самого».

Я бы сказал, что капитан был слегка уязвлен его дерзостью, так как Джек еще долго продолжал в том же духе все с такой же запальчивостью и вдохновением, хотя всячески сдерживался. Меня он удивил, потому как никогда еще я не слышал от него таких пламенных и таких толковых речей. Повторяю, капитан был слегка уязвлен, однако продолжал разговаривать с ним весьма учтиво. «Послушайте, молодой человек, — сказал он ему, — я все от вас терплю, понимая всю тягостность вашего положения, тем не менее я не могу позволить вам без конца угрожать мне, а посему вынужден проявить в отношении вас большую суровость, чем намеревался, и все-таки я предприму только самое необходимое, на что толкают меня ваши постоянные угрозы лишить меня жизни». «Кнута ему! — крикнул тут боцман. — Пусть познакомится с нашей кошкой-девятихвосткой!» Только потом мы поняли, что это значит, когда нам объяснили, что он предлагал Джека сперва выпороть, а потом еще соли насыпать, — словом, поблажки не давать. Но капитан остановил боцмана. «Нет, нет, — сказал он, — молодой человек и так пострадал, он имеет все основания горячиться. Однако моей вины тут нет, я его не обижал», — добавил он и снова заявил при всех, что не причастен ко всему этому, что на борт судна Капитана Джека и нас вместе с ним доставил агент владельцев судна, которые все и оплатили, так уже и раньше случалось, им не раз приходилось иметь дело с невольниками, каждое плавание они перевозят их большими группами, хотя ему как капитану корабля никакой выгоды от этого нет, но все решают владельцы судна, они сами сажают их на борт, и не его забота наводить о них справки или доказывать свою невиновность, хотя вся эта грязная история весьма огорчает его и ему крайне неприятно быть слепым орудием в таком деле — увозить нас против нашей воли; если бы только ветер и погода позволили, он бы высадил нас на берег, но, к сожалению, сейчас дует юго-западный ветер, да к тому же сильный, баллов семь — девять, и мы почти уже достигли Оркнейских островов[58], а потому это невозможно.

И все равно капитан виноват, сказал Джек, пусть дует какой угодно ветер, он так и так не должен везти нас против нашей воли, а что до владельцев судна и прочего, это его не освобождает от ответственности, ведь он — капитан судна, которое увозит нас, и какой бы хитростью ни заманил нас на борт какой-то там негодяй, — теперь-то все стало ему известно, — увозить нас равносильно убийству, и если он не высадит нас на берег, как мы того требуем, значит, он вор и убийца.

Капитан своей сдержанности не изменил, и тогда я вставил слово, заметив, что хорошо бы нам повернуть назад, если, конечно, погода позволяет, — когда я стал лучше разбираться в морском деле, я убедился, что погода действительно решает дело, — но это оказалось невозможным. Я извинился перед капитаном за то, что мой брат слишком погорячился, но ведь он не станет отрицать, что с нами поступили подло, и, напустив на себя важности, что вообще-то было не в моих привычках, я сообщил ему, что таких людей, как мы, не продают в рабство, что хотя мы имели несчастье попасть в такие обстоятельства, которые вынудили нас скрываться, поскольку мы сбежали из армии, не имея желания отправляться во Фландрию, однако мы люди состоятельные и могли бы откупиться от воинской повинности, если на то пошло. Чтобы убедить его в этом, я пообещал представить ему надежные гарантии, что выплачу ему по двадцать фунтов за себя и за моего брата, как только мы прибудем на место в

Лондон, куда он должен нас доставить, и тогда мы, не теряя времени, тут же вышлем ему эти деньги. В доказательство, что я могу выплатить такую сумму, я вытащил из кармана чек таможенного чиновника на девяносто четыре фунта; к моему величайшему удовольствию, капитан как увидел чек, тут же признал его и был крайне всем изумлен. Воздев руки к небу, он воскликнул: «Какая же злая сила занесла вас сюда?»

«Мы вам уже рассказали нашу историю, прибавить нам нечего, и теперь мы настоятельно просим, чтобы вы проявили в отношении нас справедливость». — «Очень сожалею, — говорит он, — но этого я не могу, мне нельзя повернуть судно назад. Но даже если бы и можно было, — говорит он, — это практически невыполнимо».

Пока продолжался наш разговор, оба шотландца и третий англичанин хранили молчание, но когда они увидели, что я начал сдаваться, шотландцы поддержали меня; повторять их слова, я думаю, нет нужды, я бы и не упоминал об этом, если бы не последующий забавный эпизод. После того как шотландцы исчерпали свои доводы, на каждый из которых капитан лишь повторял, что ничего не поделаешь, надо покориться, один из них вдруг опять спрашивает: «Так, стало быть, вы везете нас в Виргинию?» — «Да», — отвечает капитан. «И, стало быть, нас продадут там в рабство, как только приедем?» — «Да», — отвечает капитан. «Ах, так, сэр! — говорит шотландец. — Черт бы вас побрал со всеми вашими потрохами за такие дела!» — «Что ж, пусть, — говорит капитан с улыбкой, — с чертом мы уж как-нибудь поладим, а вот вам советую вести себя потише и быть повежливей, тогда и с вами будут обходиться здесь по-доброму, а постараюсь, так и там тоже». На это беднягам шотландцам нечего было возразить, да и мне тоже, потому как, честно говоря, мы ясно видели, нет для нас иного выхода, пусть уж капитан с чертом все сами и улаживают.

Итак, повторяю, мы вынуждены были сдаться, только Капитан Джек уперся хуже прежнего, услышав, что у меня есть деньги, и я, как ни старался, не мог его урезонить. Еще не раз во время нашего морского путешествия капитан корабля и Джек вели подобные приятные беседы, при этом он обзывал капитана не иначе как киднеппером и негодяем и твердил только об одном, как он отомстит ему, однако я опускаю эту часть рассказа, хотя и очень занимательную, поскольку к моей истории она касательства не имеет.

Тем временем продолжал дуть сильный ветер, правда, попутный; по мнению матросов, мы уже миновали острова на севере Шотландии и взяли курс на запад; через несколько дней (я уже научился их отсчитывать) вокруг на сотни лиг от нас не было видно ни клочка земли, а посему нам ничего больше не оставалось, как запастись терпением и по возможности сохранять спокойствие, один Капитан Джек продолжал бушевать всю дорогу.

Плавание было на редкость удачным: ни одного шторма и почти двадцать дней дул северный ветер — одним словом, через тридцать два дня, считая с того момента, как на широте 60° 30' к северу от Британских островов мы взяли курс на запад, наше судно достигло берегов Виргинии. По общему мнению, мы доплыли очень быстро.

Ничего существенного за время нашего плавания со мной не произошло, а по прибытии туда я был настолько ограничен в передвижении, что ничего существенного и не могло произойти.

Когда мы сошли на берег — было это в устье большой реки, которую все называли Потомак[59], — капитан спросил нас, в частности, меня: ну как, могу я что-нибудь ему предложить сейчас? Отвечал Джек: «Да, у меня есть одно предложение, капитан, то самое, которое я уже высказывал, а именно — перерезать вам глотку, и раз я обещал, постараюсь сдержать слово». — «Ладно, ладно, — сказал капитан, — само собой, сдержишь, если я не помешаю». И он снова повернулся ко мне. Я прекрасно понимал, чего он ждет, однако в данный момент мне неоткуда было ждать освобождения, а что до расписки, то здесь она была пустой бумажкой, ибо никто, кроме меня самого, не мог получить по ней деньги. Итак, я не видел для себя выхода, о чем хладнокровно ему и сообщил, словно о чем-то, к чему я совершенно

равнодушен. Да и на самом деле я сделался к этому равнодушен после долгих размышлений во время плавания о том, кто я, собственно, такой — обыкновенный воришка, выросший среди бродяг, беглый солдат, оставивший свой полк; даже своего угла у меня нет, никакому ремеслу, которое прокормило бы меня, я не обучен, кроме как одному, нечестивому, которое до добра меня не доведет, а лишь до виселицы. Я вовсе не считал, что стать невольником хуже любой другой службы, к тому же меня вполне устраивало, что, как мне сказали, после пяти лет рабства я, по милостивым законам этой страны («государственная поддержка», как они это называют), получу клочок земли, который могу возделывать сам и сажать на нем, что хочу. Таким образом, получалось, что волей-неволей кое-чему здесь научусь и смогу больше не заниматься этим подлым делом, называемым воровством, к коему душа моя испытывала отвращение и которое я, как уже говорил вам, решил так и так оставить с того злосчастного случая, когда я ограбил бедную вдову из Кентиш-Тауна.

Вот что было у меня на уме, когда мы прибыли в Виргинию, а потому на вопрос капитана, как я намерен себя вести и есть ли у меня что предложить ему, иными словами, не собираюсь ли я вручить ему мой чек, который ему страсть как хотелось иметь, я холодно ответил, что в данной ситуации от чека мне мало толку, потому как никто не сможет получить по нему деньги, и предложить ему я могу лишь одно: пусть он отвезет меня и Капитана Джека назад в Англию, доставит в Лондон, и тогда я возьму по этому чеку деньги и выплачу ему по двадцать фунтов за каждого из нас. Но он не намерен был этого делать. «Что касается вашего братца, — сказал он, — я бы не посадил его на борт моего судна даже за двойную плату! Такого отъявленного негодяя и наглеца, — добавил он, — можно только в кандалах возить».

На этом мы с нашим капитаном, или киднеппером, называйте его, как хотите, расстались. Нас передали в руки купцов, как и было условлено, которые могли распоряжаться нами, как им заблагорассудится, и через несколько дней нас разлучили.

Чтобы коротко закончить историю Капитана Джека, сообщу, что этому отъявленному мошеннику сильно повезло, он попал к очень доброму и покладистому хозяину, чьими деловыми интересами и доверием он беззастенчиво злоупотреблял, и, воспользовавшись случаем, бежал на парусном боте, который его хозяин препоручил ему и другим невольникам, чтобы отвезти запас провизии на его плантацию, вниз по реке. Они удрали вместе с ботом и провизией и плыли на север до самой излучины Залива (как они его называют), а потом по реке Саскуэханна, там лодку они бросили и пошли пешком через лес, пока не достигли Пенсильвании[60], откуда им удалось пробраться в Новую Англию[61], а оттуда уже домой. На родине он снова связался со старой компанией и занялся прежним ремеслом, в конце концов, спустя примерно двадцать лет, его схватили и повесили за месяц или около того до моего прибытия в Лондон.

Моя участь была тяжелей поначалу, зато потом, к концу, оказалась легче. На аукционе, как они называют торг, я достался богатому плантатору по имени Смит, а со мною и третий наш англичанин, с которым мы вместе бежали и к которому Джек привел меня, когда мы направлялись в Данбар.

Отныне мы стали друзьями по несчастью, нас обоих должны были отвезти вверх по речушке, или ручью, впадающему в Потомак, примерно за восемь миль от этой большой реки. Отсюда нас отправили на плантацию, где вместе еще с пятьюдесятью невольниками, в том числе неграми и прочими, нас отдали в распоряжение надсмотрщика, распорядителя, или, как еще говорят, управляющего плантацией, который постарался внушить нам, что нам предстоит грубая, тяжелая работа, поскольку именно для того плантатор и купил нас, а не ради наших прекрасных глаз. Я заметил ему весьма смиренно, что, уж коли по воле нашей злой судьбы мы оказались в столь плачевном положении, нам ничего другого и не остается ждать, мы только хотим, чтобы нам объяснили, в чем будет состоять наша работа, и дали бы время привыкнуть к ней, ибо к тяжелой работе мы не приучены. И еще я добавил, что, если бы ему стало известно, каким предательским путем нас заманили сюда, быть может, тогда он бы понял суть дела и,

по крайней мере, не отказал бы нам в нашей скромной просьбе. Я говорил так взволнованно, что возбудил его любопытство, и он осведомился о подробностях нашей истории, которые я ему щедро изложил, несколько приукрасив в свою пользу.

История эта, как я и рассчитывал, растрогала его, однако он заявил нам, что потрудиться на хозяина нам все равно придется, что он надеется, мы будем выполнять работу, как положено, о чем он уже говорил нам, и что он не может освободить нас от нее, каковы бы ни были на то причины. Итак, нас отправили на работу и в самом деле тяжелую; нам вообще худо пришлось и с жильем, и с едой, и с работой. Последнее было для меня совершенно непривычно, а скудость пищи я переносил довольно легко.

В этот период моей жизни у меня было достаточно времени, чтобы оглянуться назад и оценить все, что я успел сделать, хотя мне и нелегко было судить беспристрастно, да и совесть моя помалкивала, все же мне не давала покоя мысль о том, что несчастье произошло со мной по велению некоей указующей силы как наказание за грехи юных лет, причем мысль эта нашла подтверждение еще в одном. Мой хозяин, чьим невольником я стал, был человеком состоятельным и пользующимся известностью в своей стране, у него было очень много слуг как негров, так и англичан, всего, я полагаю, что-то около двухсот; среди такого большого числа людей каждый год кто-то дряхлел и терял способность работать, у других кончался срок — и они уходили, кто-то умирал, так или иначе общее количество их снижалось бы, если бы ряды их не пополнялись новичками, что и вынуждало его ежегодно покупать все новых невольников.

Как раз во время моего пребывания там из Лондона пришло судно с невольниками, среди них находилось семнадцать ссыльных преступников, некоторые с выжженным на руке клеймом, другие без клейма. Восьмерых из них мой хозяин купил на весь срок, помеченный в документе на высылку — кого, соответственно, на долгие годы, кого на несколько лет.

Хозяин наш занимал в этих краях видное положение, он был мировым судьей, однако на плантацию, где я работал, редко наведывался. Когда же новая партия невольников высадилась на берег и была доставлена на нашу плантацию, его милость тоже приехал, чтобы, так сказать, торжественно принять их и составить себе о них впечатление. Их всех привели к нему, и прежних невольников тоже, среди них был и я в качестве стражника, чтобы поглядеть за ними и, после того как он осмотрит их, отвести на работу. Невольники были доставлены под присмотром матросов с судна, с ними прибыл и второй помощник капитана, он-то и передал их нашему господину вместе с бумагой на высылку, о которой уже шла речь.

Прочитав бумагу, его милость стал выкликать одну за другой их фамилии и повторять каждому приговор, давая им понять, что ему известно, за какие преступления их сослали. Он очень серьезно разговаривал с каждым в отдельности, чтобы они осознали, какую милость им оказали, избавив от виселицы, которая положена им по закону за их преступления, такие тяжкие, что сначала их приговорили не к ссылке, а к повешению, а также, что только в ответ на их прошение и смиренную просьбу о помиловании им была пожалована ссылка.

Следом за тем он объяснил им, что они должны видеть в жизни, которую им предстоит начать, как бы второе рождение, что ежели они намерены проявить усердие и рассудительность, то по конституции этой страны они могут рассчитывать (по окончании срока, к которому их приговорили) на поддержку в приобретении собственной плантации; лично он сам, коли будет жив-здоров и убедится, что они отслужили свой срок верой и правдой, поможет своим бывшим невольникам в их жизненном устройстве — таково его всегдашнее правило, — согласно их заслугам и поведению. У них будет случай познакомиться кое с кем из местных плантаторов, которые ныне благоденствуют, а когда-то были его невольниками и находились точно в таком же положении, как они сейчас, и прибыли сюда из того же места, то есть из Ньюгетской тюрьмы, некоторые с тем же клеймом на руке, а теперь они почтенные люди и пользуются всеобщим уважением.

Среди вновь прибывших невольников он выбрал юношу не более семнадцати или восемнадцати лет от роду, в бумагах которого говорилось, что, несмотря на свой юный возраст, он уже закоренелый преступник, которого не раз судили, однако он получал отсрочки и помилование и продолжал оставаться неисправимым карманником; преступление, за которое его теперь отправили в ссылку, заключалось в том, что он украл у купца из кармана бумажник, или бювар, где хранились векселя на крупную сумму, по некоторым из этих векселей ему удалось впоследствии получить деньги, однако, отправившись однажды с одним из этих векселей на Ломбард-стрит к ювелиру за деньгами, он был задержан, поскольку о пропаже векселей было заявлено, и за это тяжкое уголовное преступление его приговорили к смерти; так как он слыл неисправимым преступником, приговор был бы непременно приведен в исполнение, если бы сам купец, которого он просил и умолял, не добился, чтобы его сослали при условии, что он вернет все остальные векселя, что он, разумеется, и сделал.

Наш хозяин долго беседовал с этим юношей, он сказал, что просто поражен — такой молодой, а уже так долго занимается воровством, что справедливо заслужил название закоренелого преступника, ибо, несмотря на порку, которой он подвергался два, а то и три раза, и тюремное заключение, выпавшее на его долю тоже не единожды, а несколько раз, и клеймо на руке, он все равно не исправился, ничто ему не помогло. Он прочел юноше страстную проповедь, сказал, что господь бог не только уберег его от виселицы, но оказывает сейчас новое благодеяние, убрав с его пути все соблазны и давая ему возможность зажить честной жизнью, о которой, быть может, он прежде и не ведал; пусть какое-то время ему придется поработать в поте лица, однако он должен смотреть на это, только как на период ученичества — на обучение честности, которая поможет ему обрести себя и начать затем достойную жизнь.

И еще он добавил, что пока он остается невольником, ему не будет случая заниматься мошенничеством, но и потом на свободе у него даже искушения не должно возникнуть вернуться к этому. Так, после долгих еще наставлений и добрых советов ему и остальным всех невольников наконец отпустили.

Меня до глубины души растрогали речи нашего господина — и понятно почему, ведь они были адресованы молодому мошеннику, вору от рождения, подобно мне обученному лишь одному — как обчищать чужие карманы, и мне казалось, все, что мой господин говорил, было обращено ко мне, иногда у меня даже мелькала мысль, что воистину мой господин необыкновенный человек, если так точно знает про все, что я успел натворить в жизни.

Каково же было мое удивление, когда, отпустив всех остальных невольников и, указав на меня, господин сказал своему управляющему: «Приведите ко мне вон того молодого человека!»

Я работал здесь уже целый год, причем так усердно, что управляющий, он же главный надсмотрщик, хвалил мое поведение даже чрезмерно, а может, и вправду был им доволен, и все же я перепугался до смерти, услышав, что меня громко вызывают, потому что так обычно вызывали только тех, кто провинился и кого ждал кнут или другое какое наказание.

Я вошел к нему, чувствуя себя настоящим преступником и, наверное, так и выглядел, словно меня застали на месте преступления и призвали к ответу пред лицо правосудия. Итак, я вошел, то есть меня привели к нему, во внутреннюю часть дома, в его гостиную; с прочими он беседовал обычно в большой приемной, где он восседал, словно господин судья или вице-король на троне.

Так вот, повторяю, когда я вошел к нему, он приказал своему управляющему покинуть нас; я остановился в дверях, как был, совершенно голый до пояса, с непокрытой головой, в руках мотыга (то есть прямо с работы), он велел мне положить мотыгу и подойти поближе; он показался мне не таким устрашающе-суровым, как раньше, а может, мне просто иной

представлялась его внешность, чем было на самом деле, ибо мы часто судим о вещах не по их истинным достоинствам, но по первому впечатлению.

— Скажи-ка, молодой человек, сколько тебе лет? — спросил мой господин, и разговор наш начался.

Джек. Право, не знаю, сэр.

Господин. А как тебя зовут?

Джек. Все называют меня здесь Полковником[62], но, с вашего позволения, зовут меня Джек, ваша милость.

Господин. Ну а как твое настоящее имя?

Джек. Джек.

Господин. Нет, как тебя окрестили, Полковник? И как твоя фамилия?

Джек. Честно говоря, сэр, если быть откровенным, я мало что знаю о себе, а то и вовсе ничего, даже своего настоящего имени. Так меня звали все, сколько я помню себя, а какое имя дали мне при крещении, и как моя фамилия, и вообще крестили ли меня, этого я сказать не могу.

Господин. Что ж, по крайней мере, честный ответ. Расскажи теперь, как ты попал сюда, за что тебя превратили в невольника?

Джек. Если бы только у вашей милости хватило терпения выслушать меня до конца! Уверен, более горестной и исполненной несправедливости истории вам не доводилось слышать.

Господин. Рассказывай, пусть она длинная, рассказывай всю до конца, я готов слушать хоть целый час!

Его просьба придала мне смелости, и я начал с того, как стал солдатом, как меня уговорили в Данбаре бежать, словом, в подробностях рассказал ему всё, о чем говорилось выше, до самого нашего появления на этом берегу, а также о моем чеке и разговоре с капитаном уже после нашего прибытия. Во время моего рассказа он не раз воздевал вверх руки, желая выразить свое возмущение тем, как со мной обошлись в Ньюкасле, и поинтересовался фамилией капитана судна, потому как, несмотря на все сладкие речи, тот был явным мошенником. Я сказал его имя и название судна, господин записал их в свою записную книжку, и разговор продолжался.

Господин. А теперь ответь мне, пожалуйста, так же честно еще на один вопрос. Что тебя так задело, когда я беседовал с тем юношей, с карманным воришкой?

Джек. Хотите верьте, хотите нет, ваша честь, но меня растрогало, как милостиво вы разговаривали с несчастным рабом.

Господин. И это все? Только отвечай честно!

Джек. Не совсем. У меня зародилась тайная мысль, что коли вы так добры были к этому несчастному, может, вы и мне посочувствуете и окажете содействие, если тем или иным путем вам станет известна моя история.

Господин. Так, так, а не напомнил ли тебе этот случай твою собственную историю, и по этой причине ты так и разволновался? Ведь я заметил слезы на твоих глазах, потому и велел привести тебя сюда, чтобы поговорить.

Джек. Поистине, сэр, я и сам был испорченным, праздным мальчишкой, никому на свете не нужным. Но тот юноша — вор, его приговорили к виселице, а я ни разу в жизни не представал перед судом.

Господин. Что ж, я не собираюсь выспрашивать у тебя лишнее. Поскольку к суду тебя не привлекали и ты не ссыльный преступник, мне больше нечего выяснять о тебе. С тобой обошлись скверно, это ясно; может, именно поэтому ты так разволновался?

Джек. Да, конечно, ваша честь. (Мы называли его ваша честь или ваша милость).

Господин. Ну, что же, теперь мне известна твоя история. Чем же я могу помочь тебе? Ты упоминал о чеке на девяносто четыре фунта, из которых собирался дать капитану сорок фунтов за ваше освобождение, он еще у тебя, этот чек?

Джек. Да, сэр, он здесь. (Я вытащил чек из-за пояса, где ухитрился прятать его, завернув в бумагу и пришпилив булавками, отчего бумага почти все уже истрепалась; достав чек, я вручил его господину, и он стал читать.)

Господин. Этот господин, который выдал тебе чек, ныне здравствует?

Джек. Да, сэр, он был жив-здоров, когда я уезжал из Лондона, по числу на чеке вы можете судить, когда это было, а уехал я как раз на другой день.

Господин. Не удивительно, что, когда вы причалили к берегу, капитан судна захотел получить от тебя этот чек.

Джек. И я бы отдал его ему, если бы он отвез нас с братом назад в Англию, как я и предлагал!

Господин. Да-а, но он кое-что предвидел! Он прекрасно знал, что, раз у тебя есть там друзья, они могут призвать его к ответу за все его дела. Удивляюсь только, как это он не отнял у тебя чек еще там, в море, обманом или силой?

Джек. Честно говоря, он даже не пытался.

Господин. Что же, молодой человек, решено, я постараюсь тебе помочь в этом деле. Даю слово, если деньги будут выплачены и ты их все получишь, я научу тебя, как действовать, и ты преуспеешь даже больше своего господина, если будешь соблюдать честность и старание.

Джек. Надеюсь, сэр, мое поведение у вас на службе является тому зароком.

Господин. Но ты, наверное, мечтаешь о возвращении в Англию?

Джек. Нет, что вы, сэр, если бы я мог здесь зарабатывать честно свой хлеб, я бы вовсе и не помышлял об Англии, но, чем там прокормиться, я не знаю, коли знал бы, никогда бы не записался в солдаты.

Господин. Хорошо, но я должен задать тебе еще несколько вопросов, ибо, сам посуди, не странно ли записываться в солдаты, когда у тебя в кармане девяносто четыре фунта?

Джек. Я все расскажу вашей чести, если пожелаете, так же подробно, как рассказывал доселе, только это займет много времени.

Господин. Тогда в другой раз. А теперь ближе к делу: хочешь, я напишу кой-кому в Лондон, попрошу зайти к господину, который выдал тебе чек, но не за тем, чтобы взять у него деньги, а только чтобы спросить, имеется ли у него на руках такая сумма и выдаст ли он ее по твоему указанию, если ты пришлешь чек или его дубликат (то есть копию, пояснил он, и хорошо сделал, так как я понятия не имел, что такое дубликат).

Джек. Да я с удовольствием отдам вам и сам чек, сэр, вам я могу его доверить, не то что капитану.

Господин. Нет, не надо, молодой человек, я не возьму его у тебя.

Джек. Прошу вас, ваша честь, согласитесь сберечь его для меня, не то, если я его потеряю, я пропал.

Господин. Я сохраню его, Джек, раз ты просишь, но ты получишь от меня расписку, написанную моею рукой и подтверждающую, что я получил твой чек и верну его по первому твоему требованию, тогда это будет так же надежно, как сам чек, а иначе я не возьму его у тебя.

И вот я вручил моему господину чек, а он выдал мне расписку, и, как покажут дальнейшие события, он оказался надежным хранителем моих сбережений. После беседы он отпустил меня, и я вернулся к работе, однако спустя два часа на плантацию прискакал управляющий, или

надсмотрщик, подъехал к тому месту, где я работал, вынул из кармана бутылку и, подозвав меня к себе, предложил глотнуть рому, я из приличия лишь пригубил его, тогда он снова мне протягивает бутылку и на редкость вежливо, совсем не так, как обычно, просит выпить еще.

Это придало мне смелости и весьма приободрило, однако мне оставалось еще неясным, что происходит и последует ли за этим некоторое облегчение моей участи.

День или два спустя, когда мы направлялись утром на плантацию, надсмотрщик опять подозвал меня к себе, дал выпить и протянул большой ломоть хлеба, при этом он сказал, чтобы около часу я кончил работать и пришел к нему в контору, так как ему надобно со мной поговорить.

Я пришел к нему в своем обычном виде — несчастный полуголый раб.

— Входите, молодой человек! — сказал он. — И давайте сюда вашу мотыгу.

Я отдал ему мотыгу, тогда он и говорит:

— Вот так, больше вам не придется работать на плантации.

Я выказал удивление и даже испуг.

— В чем я провинился, сэр? — спросил я. — Куда же меня теперь отошлют?

— Никуда, — ответил он, страшно довольный, — не пугайтесь, все это вам на благо, никто не собирается вас обижать, просто мне приказали сделать из вас надсмотрщика, так что отныне вы больше не невольник.

— Увы! — вздохнул я. — Я — и надсмотрщик? Да разве я подхожу для этого? У меня и платья-то нет, ни белья, ничего решительно, во что бы я мог одеться.

— Ну, ну, — сказал он, — о вас есть кому позаботиться, хотя вы этого не подозреваете, пойдемте со мной.

И он отвел меня в огромную кладовую, вернее, это была цепь кладовых, одна за другой, и, вызвав кладовщика, сказал ему:

— Помогите этому человеку одеться, выдайте ему все необходимое, согласно пункту пятому, счет пришлите мне, так приказал наш господин, расходы запишите на Западную плантацию.

Вероятно, это была та плантация, куда меня направляли.

Кладовщик повел меня внутрь склада, где висело несколько мужских костюмов, соответствовавших выданному предписанию, простые, но для готового платья вполне приличные, из настоящего тонкого черного сукна, которое у нас в Англии идет по одиннадцати шиллингов за ярд; к костюму он прибавил три хорошие сорочки, две пары обуви, чулки и перчатки, шляпу, шесть шейных платков, короче говоря — все, что мне было необходимо. Потом тщательно все проверил, размер и прочее, и, впуская меня в отдельную маленькую комнату, сказал:

— А теперь входите сюда рабом, а выходите джентльменом!

С этими словами он внес туда всю одежду и, закрывая дверь, посоветовал поскорее переодеться, что я охотно и выполнил. Признаюсь, с этого момента я поверил, что судьба моя изменится к лучшему.

Вскоре пришел надсмотрщик, он похвалил мое новое платье и предложил ехать с ним. Меня отвезли на новую плантацию, которая оказалась больше той, где я до этого работал, тут полагалось всего три надсмотрщика, или управляющих, один для дома, а два, чтобы присматривать за работниками. Одного из этих двоих перевели на другую плантацию, и меня назначили на его место, то есть управляющим плантацией; в мои обязанности входило присматривать за неграми и следить, чтобы они не лодырничали и не зря бы ели свой хлеб, другими словами, мне надлежало быть над ними старшим и руководить ими.

Такой успех вскружил мне голову, нет слов, чтобы выразить радость, какую я тогда испытал. Однако тут же следом обнаружилось обстоятельство, которое так глубоко задело меня и так возмутило все мое существо, что я чуть было не потерял свое место, а вместе с ним и расположение нашего господина, который проявил ко мне такую доброту. Дело было вот в чем: приступив к обязанностям, я получил верховую лошадь и кнут, вроде того, какой мы называем в Англии охотничьим хлыстом; на лошади надо было объезжать плантацию и наблюдать, как работают невольники и негры: плантация раскинулась так широко, что пешим ее было не обойти, во всяком случае, трудно было обходить ее так часто и так быстро, как требовалось; а кнут был выдан мне, чтобы учить уму-разуму рабов и невольников, то есть стегать их, если они проявят нерадение или строптивость, словом, совершат какой-либо проступок. Когда мне сказали про это, кровь ударила мне в голову и сердце заколотилось от бешенства: как это я, еще только вчера такой же невольник и раб, как они, живший, как они, под страхом того же кнута, подниму вдруг на них руку, чтобы покарать их с жестокостью, какая заставляла меня трепетать еще накануне. Нет, на такое я пойти не мог! Негры это почувствовали, мой авторитет сразу упал в их глазах, и все дела пришли в полное расстройство.

В ответ на мое сочувствие они проявили такую неблагодарность, что даже рассердили меня и, признаюсь, заставили невольно ожесточиться, и я наказал двоих негров, полагая, что выполнил свою миссию со всею жестокостью, но после порки — причем каждый удар, что я наносил им, больно ранил мою собственную душу, и я чуть не лишился чувств, выполняя эту работу, — оба негодяя еще надсмеялись надо мной, а один из них даже имел наглость заявить у меня за спиной, что, если бы пороть довелось ему, он бы показал мне, как секут негров.

И все-таки я не в силах был исполнять свои обязанности столь варварски, как, оказалось, было необходимо, и этот мой недостаток стал сказываться на делах моего господина, так что я начал склоняться к мысли, что жестокость, о которой так много толкуют и какая царит в Виргинии, на Барбадосе и в других колониях, а именно — наказание кнутом негров-невольников, является вовсе не проявлением тирании или бесчеловечности англичан, как принято считать, — англичане по натуре своей не склонны к жестокости, им она не свойственна, — но вызвана скотским поведением и упрямством самих негров, с которыми добром да милостью не сладишь, им нужны железный прут и розга, как говорит Священное писание; с ними иначе и нельзя обходиться, а не то, имей они только оружие, достойное неистовой свирепости их натуры, они восстанут и перебьют всех своих хозяев, что им будет нетрудно сделать, учитывая, как их много.

И в то же время я сделал наблюдение, что бешеный темперамент негров усмиряли не так, как надо, не умея найти с ними правильную линию, чтобы они почувствовали разницу между поощрением и наказанием; для меня было очевидно, что даже самые трудные характеры можно склонить к покорности без помощи кнута или, во всяком случае, без слишком частых наказаний.

Наш господин был гуманный человек, и порою, движимый мягкосердечием, он отменял наказания излишне суровые, однако необходимость наказаний он понимал и в конце концов вынужден был предоставлять своим верным слугам право действовать по собственному разумению, хотя все-таки частенько просил их быть помилосерднее и всегда учитывать, с кем имеешь дело: не все же негры одинаково переносят пытки и, кроме того, не все одинаково упрямы.

Но нашлись-таки угодники, которые нашептали ему, что я пренебрегаю своими обязанностями, что невольники вышли у меня из повиновения, и по этой причине на плантации царит беспорядок, и дела находятся в полном расстройстве.

Это было тяжкое обвинение для молодого надсмотрщика, и его честь в сопровождении всех своих подчиненных сам приехал разобраться во всем, чтобы вникнуть в суть вопроса и выслушать обе стороны, однако он обошелся со мной справедливо и, прежде чем выносить

приговор, решил дать мне полностью оправдаться, и не только при свидетелях, но и с глазу на глаз. С последним свиданием мне на редкость повезло, — точно как в тот раз, он предложил мне говорить откровенно, и, получив эту возможность говорить откровенно, я мог все ему объяснить и защитить себя.

Я понятия не имел, что мною недовольны, пока не услышал про это из его собственных уст, не знал я и о его приезде, пока не увидел его на нашей плантации. Он посмотрел, как у него работают, оглядел несколько участков с новыми посадками; объехав всю плантацию и убедившись, что все в полном порядке — работы ведутся, как положено, невольники и негры исправно трудятся, — увидев все это своими глазами, он поскакал к дому.

Заметив его на тропинке, я тут же подбежал к нему, выразил свое почтение, а также поблагодарил смиренно за великодушие, проявленное ко мне, за то, что он помог мне выйти из ничтожества, в каком я пребывал ранее, доверил мне такую работу. Ему как будто было приятно это слышать, хотя поначалу говорил он немного; я сопровождал его, пока он осматривал плантацию, давал попутные объяснения, отвечал на все его вопросы и возражения, и при этом в такой манере, какой он от меня, судя по всему, не ожидал. Как он признался впоследствии, ему все тогда очень понравилось.

На этой плантации, как я уже говорил, был еще один управляющий, не то чтобы старший надо мной, но занимавшийся делом более важным: он должен был наблюдать, как упаковывают табак и отвозят его на борт судна или в какое другое место, куда укажет наш господин, а также получать английские товары с главного склада, находившегося на другой плантации, ближайшей к водным путям, да еще вести все счета. Этот управляющий был по натуре человеком честным и прямым, он не говорил, как некоторые, что я пренебрегаю интересами хозяина и прочее, однако хозяин расспросил его обо всем, и весьма пристрастно. Интересно, что, объезжая плантацию, хозяин случайно попал туда, где обычно наказывали провинившихся невольников, и увидел там двух негров со связанными, согласно вынесенному им приговору, за спиной руками. Когда господин подъехал к ним, оба упали на колени и знаками стали молить его о прощении. «Ах, зачем это, — сказал он, обращаясь ко мне, — зачем вы повели меня этой дорогой? Не люблю я этих зрелищ, ну что я теперь должен делать? Помиловать их? А что они такого натворили, скажите?» Я объяснил ему, за какие проступки их отправили сюда. Один из них стащил бутылку рома, напился и в пьяном виде творил всякие безобразия, пытался даже киркой проломить голову белому невольнику, к счастью, тот увернулся от удара, сбил пьяного негра с ног, схватил его и доставил на это место, где он и провел ночь, за что я назначил ему в тот же день порку, а в следующие три по две порки на день.

— Как вы могли проявить такую жестокость? — спросил его честь. — Вы же убьете беднягу. И, кроме пролития крови, за которое понесете ответ, вы еще лишите меня такого силача негра, стоившего мне не меньше тридцати, а то и сорока фунтов, да к тому же навлечете дурную славу на мои плантации. Или, того хуже, кто-нибудь из этих негров, чтобы отомстить, еще, не ровен час, пристукнет меня, когда подвернется случай.

— Ах, сэр, — сказал я, — эту братию надо держать в страхе, иначе с ними не справишься, уверяю вас! А в донесениях к вам еще говорится, что для невольников я скорее шут, чем палач, ибо никогда не воздавал им по заслугам, а потому я принял решение, хотя мне самому это претит, больше не допускать, чтобы из-за моей неуместной снисходительности страдали ваши интересы, вот почему, если бы его засекли до смерти…

— Стойте! — воскликнул он. — В моих владениях я не потерплю подобной жестокости ни под каким видом! Вспомните, молодой человек, вы же сами были невольником, поступайте так, как сочли бы справедливым, будь вы на их месте, имейте хоть каплю сострадания, прошу вас. Пусть лучше я буду расплачиваться за вашу мягкость.

О таком обороте дела я мог только мечтать, более того, поскольку разговор наш происходил на людях, то есть при обоих неграх и белых невольниках, а также тех двоих, что предъявили мне обвинение, все слышали, что он сказал. «Ну и собака этот надсмотрщик! — шепнул один из белых невольников у меня за спиной. — Он бы насмерть запорол беднягу Буйвола (так прозвали негра, приговоренного к наказанию, за его большую круглую голову), не случись нашему хозяину заехать сегодня сюда».

Однако я настаивал на своем, твердя, что этот человек совершил явное преступление, и снисходительность в подобном случае очень опасна, учитывая упрямство и порочность негров, и указал, не очень решительно, на необходимость проучить их. Но господин сказал:

— Нет, нет, в другой раз, и не в такой форме.

Больше возражать я не стал.

Проступок второго негра по сравнению с этим был пустяковым, и господин отправился дальше, продолжая беседовать со мной, я следовал за ним, и так мы доехали до дому, где, отдохнув немного, он снова вызвал меня к себе. Моих обвинителей он даже близко к себе не подпустил, пока не выслушал мою защиту, и так начал он со мною разговор.

Господин. Послушайте, молодой человек, мне надо с вами поговорить! С тех самых пор, как я сделал вас управляющим на этой плантации, на вас жалуются. А я-то полагал, что признательность заставит вас быть усердным и преданным мне.

Джек. Очень сожалею, сэр, что на меня жалуются, ибо благодарность, которую я питаю к вашей милости (и в которой открыто признаюсь), заставляет меня блюсти ваши интересы самым неукоснительным образом. Конечно, я мог дать промашку, но, уверяю вас, никогда не пренебрегал своими обязанностями умышленно.

Господин. Посмотрим, обвинять вас, не выслушав до конца, я не буду. Для того я и позвал вас сюда, чтобы поговорить с вами.

Джек. Покорно благодарю, ваша честь. У меня к вам еще только одна просьба, а именно: я хотел бы знать, в чем меня обвиняют и, если позволите, кто мои обвинители.

Господин. Первое вы услышите, именно поэтому я и вызвал вас поговорить с глазу на глаз. А если понадобится, сообщу вам и второе, и своих обвинителей вы тоже узнаете. То, что вам ставят в вину, находится в прямом противоречии с только что мною увиденным, поэтому нам придется теперь все пересмотреть; я-то считал, что я много хитрее вас, но теперь вижу, что вы меня перехитрили.

Джек. Надеюсь, ваша честь не обидится, если я скажу, что не совсем вас понимаю.

Господин. Охотно верю. А скажите мне откровенно, вы и в самом деле собирались пороть бедного негра дважды в день в течение четырех дней? Ведь это бы значило запороть его насмерть, то есть поставить на нем крест.

Джек. Если вы позволите мне высказать предположение, сэр, думаю, я знаю, в чем меня обвиняют: вашей чести доложили, что я слишком мягок с неграми и с прочими невольниками, что, хотя они заслуживают сурового обращения, принятого в этой стране, я и вполовину недодаю им, и посему они небрежны в своей работе, что ваша плантация в плохих руках и тому подобное.

Господин. Что ж, вы угадали, продолжайте.

Джек. Первую часть обвинения я признаю, однако последнее отвергаю и убедительно прошу вашу честь провести доскональное расследование дела.

Господин. Если все так, как вы говорите, я был бы только рад узнать, что первая часть обвинения справедлива. Меня бы чрезвычайно порадовало, что мои интересы не забыты и никакой опасности не подвергаются, но что с этими несчастными в то же время обращаются более человечно, ибо жестокость противна моей натуре, а необходимость проявлять ее всегда омрачала мне жизнь и мешала спокойно наслаждаться моими богатствами.

Джек. Честно признаюсь вам, сэр, поначалу я просто не в силах был заставить себя выполнять эту ужасную работу. Волен ли я, который только-только избавился от страха и еще вчера сам был несчастным голым рабом и завтра могу снова им стать, волен ли я спокойно пустить в ход вот это? — С этими словами я показал господину кнут, который мне вручили, вводя меня в новую должность. — И сим ужасным орудием должен был я терзать плоть моих же собратьев-невольников, ближних моих? Нет, сэр, даже когда мне это было совершенно необходимо по обязанности, то и тогда я не мог прибегать к кнуту без содрогания. Прошу великодушно простить меня за такую слабость моей натуры! Я могу быть у вас управляющим, но совершенно не гожусь в экзекуторы, поскольку сам на себе испытал жестокость наказания.

Господин. Ну хорошо, а что тогда будет с моими делами? И как же справиться с чудовищным упрямством этих самых негров, которыми, как мне толкуют, управлять иным способом не представляется возможным? Как же заставить их хорошенько работать и не позволять им дерзить и бунтовать?

Джек. Вот теперь, сэр, я подхожу к главному пункту моей защиты, и надеюсь, ваша честь соблаговолит пригласить сюда моих обвинителей или возьмет на себя труд тщательнейшим образом осмотреть плантацию, чтобы убедиться самому или позволить другим показать вам, находится ли что-нибудь в запущении, страдают ли в чем интересы вашего дела и не распустились ли ваши негры и другие невольники при новом управляющем. Если же, напротив, мне удалось счастливо разгадать секрет, как сохранять полный порядок на плантации, понуждать всех работать усердно и быстро и при этом держать негров в благоговейном страхе, подавив их врожденные инстинкты и обеспечив вашей семье мир и безопасность не грубыми методами, но мягкостью, не пытками и бесчеловечной жестокостью, но с помощью умеренных наказаний, воспитывая в них почтение к строгому порядку, а не ужас перед невыносимыми муками, надеюсь, тогда ваша честь не поставит мне это в вину?

Господин. Нет, что вы, тогда я назову вас лучшим управляющим, какого мне случалось нанимать. Однако как же это согласуется с жестоким приговором, какой вы вынесли тому несчастному, которому предстоит восемь порок за четыре дня?

Джек. Прекрасно согласуется, сэр. Во-первых, сэр, он сейчас пребывает в ожидании ужасного наказания, с которым по строгости не сравнится ни одно, знакомое прежде неграм. Этого парня, с вашего разрешения, я хотел завтра освободить, избавив от наказания кнутом, но разъяснив ему, как я это обычно делаю, всю тяжесть его проступка, чтобы он тем выше оценил проявленное к нему милосердие. Если это скорее послужит его исправлению, чем самая жестокая порка, тогда вы, полагаю, признаете, что я выиграл?

Господин. А если нет? Ведь эти люди не знают чувства благодарности.

Джек. Только потому, сэр, что их никогда не прощали. Уж коли провинился, помилования не жди! За что же им испытывать благодарность?

Господин. Вы, конечно, правы, кто не встречал милосердия, тому неведомо и чувство долга.

Джек. А кроме того, сэр, когда их и прощают, что случается очень редко, им ведь не говорят, почему их прощают, никому не придет в голову внушить им чувство благодарности, разъяснить, какое благодеяние им оказали, и почему они должны быть за это перед кем-то в долгу, и какая им от этого польза.

Господин. А вы думаете такое обращение с ними поможет? Произведет на них должное впечатление? Вы-то, может, и убеждены, что так, но сами знаете, это ведь противоречит взглядам, принятым в нашей стране.

Джек. Бывают же общие заблуждения и ошибки даже в государственном правлении, вот это одна из таких ошибок.

Господин. А сами вы испробовали новый метод? Вы не можете говорить, что это ошибка, пока не подвергли его испытанию и не доказали свою правоту.

Джек. Вся плантация — доказательство моей правоты. Этот малый никогда бы не натворил ничего подобного, если бы ром не ударил ему в голову и не лишил его рассудка, так что, по правде говоря, единственное преступление, за которое его следовало бы проучить, заключается в том, что он украл бутылку рома и весь его до капли выпил. Подобно Ною[63], он не ведал силы его, и, когда ром ударил ему в голову, он словно обезумел, впал в бешенство и ярость, за что его скорее следует пожалеть, чем наказывать.

Господин. Вы правы, безусловно, правы! И вам цены не будет, если вы сумеете на практике доказать верность ваших убеждений. Мне бы хотелось, чтобы вы испытали их на каком-нибудь одном негре, сделав из него наглядный пример. Я готов дать на этот опыт пятьсот фунтов.

Джек. Мне ничего не надо, сэр, кроме вашего одобрения, и, пользуясь вашей благосклонностью, я докажу это на примере одного из ваших негров, и вся плантация признает мои взгляды.

Господин. Если вам это удастся, вы очень порадуете мое сердце. И даю вам обещание, что не только верну вам свободу, но и помогу обеспечить ваше будущее.

В ответ я низко поклонился ему и поведал следующую историю:

— На вашей плантации, сэр, есть негр, который был невольником еще до того, как я попал сюда. Однажды он провинился, последствия сего проступка были невелики, но они могли быть много серьезней, если бы с ним поступили, как это принято. Я же приказал доставить его на обычное место наказаний и, чтобы проучить, велел привязать за большие пальцы рук, кроме того, я сказал ему, что его высекут со всей жестокостью, да еще посыплют солью.

Таким образом, устрашив его сообщением о предстоящей ужасной пытке и убедившись, что он уже достаточно чувствует свое унижение, я вошел в дом, отдав приказ, чтобы его отвязали и вывели на экзекуцию. После того как ему обнажили спину и привязали его, а потом дважды вытянули кнутом, причем очень крепко, я прервал наказание. «Стойте, — сказал я двум слугам, которые взялись уже было обрабатывать беднягу, — подождите, дайте мне с ним сначала потолковать».

Его отпустили, и я начал беседовать с ним, описал ему, сколько добра сделали ему вы, его большой господин[64], напомнил, что вы никогда его не обижали, обращались с ним мягко, что ни разу за много лет он не подвергался такому наказанию, хотя за ним и водились кое-какие грехи, что он позволил себе вопиющий проступок, украв бутылку рома и напившись пьяным[65] еще с двумя неграми, отчего всеми тремя овладело безумие и они совершили насилие над двумя негритянками, у которых были мужья, служившие у нашего же господина, только на другой плантации, и еще натворили много всяких непотребных дел, за что я и назначил ему это наказание.

Он кивал головой и знаками показывал, что «оччэн выноваты», как он произносил это, и тогда я его спросил, как он поступит и что скажет, ежели я уговорю большого господина его простить. «Я вот намерен пойти попросить за тебя», — сказал я ему. Он ответил мне, что готов лечь на землю и пусть я убью его. «Моя всю жызн будет для тэбе бегать, туда-сюда ходыть, носыть, все доставать», — сказал он. Это был как раз тот случай, которого я ждал, чтобы проверить, свойственны ли неграм, наряду с движениями души, какие испытывают все разумные существа, и порывы великодушия, то есть те порывы, в которых обычно выражает себя благодарность и без которых она немыслима.

— Меня очень порадовало начало вашей истории, — сказал мои господин, — надеюсь, вам удалось выполнить, что вы задумали.

— Да, сэр, — ответил я, — и, возможно, я зашел даже дальше, чем вы предполагаете или сочли бы возможным в данном случае. Однако я не был столь тщеславен, чтобы извлечь из этого пользу лишь для себя. «Нет, нет, — сказал я ему, — я вовсе не прошу, чтобы ты бегал и делал все для меня, ты должен стараться для своего большого господина, потому что от него

одного зависит, простить тебя или не прощать. Ведь ты оскорбил именно его. Скажи мне теперь, будешь ты ему благодарен, станешь ты для него бегать, ходить туда-сюда, носить и доставать все до конца своей жизни, как ты обещал это мне?»

«Ну да, конэчн, — сказал он, — и многа-многа делать для тэбе (он никак не хотел отступиться от своего), толко ты просить его за мэна».

Я полностью отверг обещанную мне благодарность и, как мне диктовал мой долг, направил ее в ваш адрес, объяснив ему, что, как мне известно, вы человек «очэн добры, очэн жалостлив», и я постараюсь убедить вас. Я сказал, что поеду сейчас к вам, и до моего возвращения его пороть не будут. «Только вот что, Мухат (так звали негра), — сказал я, — мне говорили, когда я шел сюда, что с вами, неграми, нельзя обращаться по-доброму, что, когда мы жалеем вас и не бьем кнутом, вы смеетесь над нами и ведете себя еще хуже». Он очень серьезно посмотрел на меня и ответил: «О нэт, этого нэт, это надсмотрщик говорыт, что так, но этого нэт, верит мнэ». Вот весь наш разговор:

Джек. А почему же тогда они так говорят? Уж наверное, они всех вас испытали.

Негр. Нэт, нэт, они нас нэ испытал, они толко говорил так, но нэ испытал.

Джек. Они все так говорят, я сам слышал.

Негр. Моя говорил вам правда, нэт у них жалост, они бьют нас болно, очэн болно, и никогда не прощает. Зачэм тогда говорит, мы нэ будем лучше?

Джек. Неужели они никогда не прощают?

Негр. Господын, мой правда говорит, они ныкогда нэ прощает, они всегда бьют кнутом, стэгают, бьют с ног, они злой. Негр будэт хороши чэловек, будэт много лучше работать, но они нэ знают жалост.

Джек. Неужели они никогда не жалеют вас?

Негр. Нэ, ныкогда, ныкогда, толко бьют, толко болно бьют, много болно, чем свой кон, много болно, чем собака.

Джек. Ну, а если бы негров жалели, они стали бы лучше?

Негр. Да, да, негр много лучше, если пожалет. Когда они бьют, бьют, негр силно кричит, силно ненавидит, убьет, если найдет ружо. Толко надо жалэт, негр скажет болшой спасибо и будэт любит работат, много будэт работат, пуст надсмотрщик будэт добр толко.

Джек. А вот говорят же, что вы будете лишь надсмехаться и скалить зубы, если вас пожалеть.

Негр. Вот! Пуст говорят так, когда покажут жалост. Оны ныкогда нэ показал жалост, мой ныкогда нэ видел их жалост, сколко жыву на свэт.

— Так вот, сэр, — прервал я свой рассказ, — смею доложить, что, если он говорил правду, ваши надсмотрщики действуют против вашего желания. Как я успел заметить, вы полны сострадания к этим несчастным, я убедился в этом хотя бы на примере со мной. Понимая, что для вас дороже работа, которая делается добровольно, а не из страха, и что вы предпочитаете обходиться без кровавых наказания. Посмотрим, сумеешь ли ты на них повлиять». Мухатом, а как, вы сейчас услышите.

Господин. В жизни ни с чем подобным не сталкивался, с тех пор как стал плантатором, а тому уже более сорока лет. Я в восторге от вашего рассказа, продолжайте, я с нетерпением жду благоприятного конца.

Джек. Уверен, сэр, что концом вы будете так же довольны, как началом, ибо он во всем оправдал мои ожидания, надеюсь, и ваши он тоже удовлетворит и покажет вам, с какой преданностью вам могли бы служить, если бы вы только захотели, потому как в настоящее время вам так не служат, уверяю вас.

Господин. Конечно, служат из-под палки, только в страхе перед наказанием, а потому безо всякого воодушевления, что мне глубоко ненавистно. Если бы я знал, как добиться иного!

Джек. Не составляет никакого труда, сэр, доказать вам, что вам могут служить из лучших побуждений, а соответственно и работа будет лучше и принесет вам больше радости, я беру на себя смелость убедить вас в этом.

Господин. Что ж, продолжайте свою историю.

Джек. Побеседовав с ним, я заявил: «Посмотрим, Мухат, как ты будешь дальше вести себя, если я уговорю нашего большого господина простить тебя на этот раз».

Негр. Ну да, вы увидит, вы много увидит, много увидит.

Тогда я велел подать мне коня и покинул его, я сделал вид, что поскакал к вам на соседнюю плантацию, потому что мне якобы сказали, будто вы там. Пробыв там часа четыре-пять, я вернулся и опять повел с ним разговор. Я сообщил ему, что видался с вами, что вы уже осведомлены о его проступке, очень сердитесь и решили сурово проучить его в назидание остальным неграм на плантации, но что я рассказал вам, как он раскаивается и обещает исправиться, если вы его простите, и что в конце концов мне удалось уговорить вас. Но вы слышали также, будто, если оказать неграм милость, они посчитают это лишь шуткой или издевательством, однако я все передал вам, что он говорил о себе, а также о прочих неграх, и сказал, что это неправильное мнение и что белые люди берутся судить о них, толком ничего не зная, потому они ведь негров никогда не прощали, стало быть, никогда не проверяли, как те в таком случае поступят. И вот я уговорил вас оказать милость и простить его, а этим самым попытать, имеет ли доброта ту же силу, что жестокость. «Так что теперь, Мухат, — сказал я, — ты свободен, постарайся же, чтобы наш большой господин убедился, что я говорил ему правду». С этим я приказал развязать его, дал ему глотнуть рому из моей собственной карманной фляги и еще велел накормить его.

Когда негра освободили, он приблизился ко мне и, упав передо мной на колени, обхватил мои ноги, потом, биясь головой о землю, зарыдал, заплакал, как провинившееся дитя, не в силах вымолвить ни слова. Он долго не мог успокоиться, и мне самому пришлось поднимать его с земли, но он никак не хотел, и я сам заплакал так же горько, как он, потому что просто не в силах был лицезреть этого несчастного, упавшего ниц передо мной, который еще вчера был таким же невольником, как он. Наконец, спустя, наверное, четверть часа, я заставил его подняться, и тогда он сказал: «Мой хорошо знает добры болшой господын, вы тоже мой очэн добры господын. Нэ будэт негр нэблагодарэн, мой готов умэр за вас, вы очэн много добрый ко мнэ».

После этого я отпустил его и велел идти к жене — он был женат — и не работать в этот день, но, когда он собрался уходить, я снова подозвал его к себе и сказал ему:

«Вот видишь, Мухат, — сказал я, — белый человек может пожалеть негра! И теперь ты должен рассказать всем неграм, что о них говорят, будто они слушаются только кнута и, если с ними мягко обращаться, они делаются хуже, а не лучше, потому-то белые люди не жалеют и не прощают их. Ты должен убедить негров, что с ними много лучше будут обращаться и будут проявлять к ним снисходительность, если они сами выкажут благодарность за доброе обхождение точно так же, как выказывают покорность после наказания. Посмотрим, сумеешь ли ты на них повлиять».

«Мой пойдет, мой пойдет, — отвечал он, — мой много говорит им, они много доволны будут, как и мой, и будут много работать, захотят, чтобы болшой господын жалел их».

Господин. Ну хорошо, а какое есть у вас свидетельство их благодарности? Вы заметили в них какие-нибудь перемены?

Джек. К этому я как раз и подхожу, сэр. Примерно месяц спустя после этого я устроил так, что по плантации прошел слух, будто бы я сильно рассердил большого господина и за это меня прогнали с плантации и приговорили повесить. Ваша честь, наверное, помнит, что некоторое

время назад вы посылали меня по вашим личным делам в Патаксент-Ривер[66], где я пробыл двенадцать дней? Я распространил такой слух среди негров, чтобы посмотреть, как они это примут.

Господин. Вот оно что! Чтобы проверить, как поступит Мухат?

Джек. Да, сэр. И я сделал настоящее открытие. Сначала бедный малый просто не поверил этому, однако, видя, что меня долго нет, он пошел к главному управляющему и встал у его дверей, не говоря ни слова, словно какой-нибудь десятилетний дурачок. Через некоторое время вышел старший надсмотрщик; увидев негра, он сначала ничего не сказал, подумал, что того зачем-нибудь прислали, однако, пройдя мимо него раза два-три, он обратил внимание на то, что негр стоит все так же неподвижно, в той же позе и на том же самом месте, и когда он в последний раз проходил мимо него, он остановился и спросил: «Чего тебе? Почему ты так долго стоишь здесь, тебе что, делать нечего?»

«Мой хочет говорит, мой должен много сказат», — отвечал тот.

Надсмотрщик подумал, что сейчас он узнает какой-то секрет, и согласился его выслушать. «Ну, что ты хочешь сказать мне?» — спросил он.

«Мой говорит, — сказал тот, — очэн прошу говорит, где другой господын?»

Надсмотрщик подумал, что негр спрашивает большого господина. «Про какого другого господина ты спрашиваешь? — говорит управляющий. — О чем ты хочешь говорить с большим господином? Тебе нельзя с ним говорить. Разве ты не можешь мне сказать, какое у тебя дело?»

«Нэт, нэт, мой нэ говорит болшой господын, другой господын», — сказал Мухат.

«С кем, с Полковником?» — спрашивает управляющий.

«Да, да, с Полковнык», — говорит тот.

«А разве ты не знаешь, что его завтра собираются повесить, — говорит управляющий, — за то, что он рассердил большого господина?»[67]

«Да, да, — сказал Мухат, — мой знал, мой знал, мой нэ говорил, мой должен сказать».

«О чем ты должен сказать?» — спросил управляющий.

«О, мой знает, он сэрдил болшой господын». И с этими словами он упал перед управляющим на колени.

«Так чего тебе надо? — спросил управляющий. — Я же сказал тебе, что его повесят».

«Нэт, нэт, — вскричал он, — нэ вешат этот господын, мой на колены просыт болшой господын».

«Ты на коленях будешь просить за него?[68] Неужели ты думаешь, большой господин послушает тебя? Раз он рассердил большого господина, повторяю тебе, его должны повесить, так что твои просьбы ни к чему».

Негр. Мой просыт, очэн просыт болшой господын за нэго.

Управляющий. А чего ты так волнуешься и просишь за него?

Негр. О-о, он просыл за мена болшой господын, тэпер мой просыл за нэго. Болшой господын очэн хорошы, очэн хорошы, он простыл мена, когда тот господын просыл его, тэпер он простыт его, когда мой просыл за него.

Управляющий. Нет уж, твои просьбы не помогут, ведь ты не согласишься, чтобы вместо него повесили тебя? Если согласишься, тогда другое дело.

Негр. Да, да, мой пуст повесят за добры господын, он просыл за мэна, пуст Мухат повесят, болшой господын повесят мэна, бьют кнутом мэна, что хочэт, пуст толко отпускает бедны господын, он просыл за мэна, да, да, пуст.

Управляющий. Неужели ты это серьезно, Мухат?

Негр. Конэчно, мой правда говорыл, болшой господын пуст знает, мой правда говорыл, пуст все видят, что бэлы человэк повесыл Мухат, повесыл бедны нэгр Мухат, бил кнутом, всо дэлал вместо бедны господын, что просыл за мэна.

После этого бедняга горько расплакался, так что не было нужды спрашивать, серьезно он это говорит или нет. Тут я, которого вызвали посмотреть на эту сцену, неожиданно и появился; сначала меня не было в усадьбе, но когда я вернулся, выполнив ваше поручение, я все слышал; пора было кончать эту сцену, ни управляющий, ни я уже больше не могли вынести ее; и вот он выходит и говорит мне: «Идите к нему, вы дали незабываемый урок, теперь никто не скажет, что у негров нет чувства благодарности. Ступайте же к нему, — повторяет он, — я больше не в силах продолжать этот разговор». Тут я предстал перед ним, чтобы он знал, что я на свободе, и завел с ним разговор.

Джек. Надеюсь, рассказ о поведении этого бедняги доставил вам удовольствие, ваша честь?

Господин. Да, да, продолжайте, прошу вас, рассказ меня весьма радует, жизнь негров открылась для меня с новой стороны, и это не может не волновать.

Джек. Какое-то время он стоял как громом пораженный, словно оцепенел, и уставился на меня, не говоря ни слова, потом забормотал что-то невнятное, засмеялся тихонько: «Ай, ай, ай, Мухат видит, Мухат нэ видит, мой спит, мой нэ спит, мой нэ повэсат, мой не повэсат, он живой, совсэм живой». И вдруг как бросится ко мне, схватил, словно малого ребенка, взвалил себе на спину и побежал, насилу я его остановил, пришлось даже прикрикнуть на него. Он опустил меня на землю, опять поглядел на меня, и как пустится в пляс, точно одержимый, вам, наверное, случалось видеть, как они пляшут вокруг своих жен и детей, когда хотят выразить радость.

Потом он, наконец, заговорил со мной и рассказал, как ему сообщили, что меня должны повесить. «Неужели, Мухат, — воскликнул я, — ты бы согласился, чтобы тебя повесили вместо меня?» — «Да, да, — сказал он, — правда, пуст повесат мэна, твой простят». — «За что же ты меня так любишь, Мухат?» — спросил я. «Развэ твой нэ просыл за мэна болшой господын? — сказал он. — Твой спасал мэна, твой сдэлал болшой господын очэн хороши, очэн добры, не бит мэна кнутом, мой нэ забудыт, пуст мой бит кнутом, мой вешат, нэ твой вешат, мой умэрэт, твой нэ умэрэт, мой нэ позволат дэлат тэбе плохо вэс мой жызн».

Джек. Теперь вы можете сами судить, ваша честь, что доброта, проявленная с умом, так же воспитывает этих людей, как жестокость, и решить, есть ли у них чувство благодарности.

Господин. Но почему же нам прежде не случалось в этом убедиться?

Джек. Боюсь, сэр, что пример с Мухатом объясняет все.

Господин. Вот как? Значит, потому, что мы были слишком жестоки?

Джек. Потому, что негры никогда не встречали снисхождения, никогда никто не пытался даже выяснить, могут ли негры чувствовать благодарность; потому, что, если они совершали какой-нибудь проступок, их никогда не прощали, напротив, наказывали со всей жестокостью и они не знали иного чувства, чем страх, за которым, естественно, следует ненависть. Если бы с ними обращались сочувственно, они бы и служили с большой охотой, и это относится ко всем невольникам. Природа всех людей одинакова[69], и разум управляет ею весьма сходным образом. Не изведав, что такое снисхождение, как могли они совершать поступки во имя любви?

Господин. Вы убедили меня. Но скажите, пожалуйста, как же тогда согласуются ваши убеждения с жестоким приговором, который вы вынесли несчастным неграм, — неужели порка дважды в день в течение четырех дней тоже называется снисхождением?

Джек. И тут я действовал по-своему, и если вам будет угодно осведомиться у мистера ***, который тоже служит у вас, вы убедитесь в этом, ибо и в указанном случае мы договорились

поступить, как и с Мухатом, то есть сначала внушить великий страх и гнетущее ожидание предстоящего наказания, причем самого сурового, зато тем дороже им будет прощение, якобы исходящее от вас, однако не без нашего заступничества. Я собирался побеседовать с ними, повлиять на них, дабы снисхождение, проявленное к ним, глубже вошло в их сознание и запечатлелось бы надолго. Я объяснил бы им, что такое благодарность, чувство долга и тому подобное, как я проделал это с Мухатом.

Господин. Ответ ваш меня удовлетворил, действительно вы прибегли к правильному методу, и я хотел бы, чтобы вы и в дальнейшем следовали ему, ибо ничего я так не желаю (на этом свете), как чтобы все мои негры служили мне из чувства благодарности за мою доброту к ним. Мне ненавистна одна мысль, что меня боятся, точно льва, точно тирана, это просто оскорбительно и для великодушного человека чрезвычайно неприятно.

Джек. Сэр, хотя я и мысли не допускаю, что вы сомневаетесь в моих истинных намерениях относительно этих двух несчастных, все же я настоятельно прошу вас послать за мистером ***, он расскажет вам все, о чем мы условились с ним еще заранее.

Господин. Но почему же я должен не верить вам?

Джек. Надеюсь, что верите, иначе я был бы очень огорчен, подумай вы, что я способен привести в исполнение приговор, какой вы слышали, и все же лучшей возможности не представится, чтобы внести ясность в это дело.

Господин. Ну, раз уж вы придаете этому такое значение, пусть позовут ***.[70]

Джек. Смею надеяться, сэр, теперь вы не только убедились в правоте моих слов относительно метода, какой вы избрали, но также и в том, что он как нельзя лучше отвечает вашим устремлениям.

Господин. Я полностью удовлетворен и буду рад наблюдать, как этот метод претворяется в жизнь, ибо, как я уже успел заметить вам, для меня это дороже всего: ничто так не угнетает меня, как жестокость, какую применяют в обращении с моими рабами, да еще от моего имени.

Джек. Да, сэр, это худо, и не просто худо, это настоящее варварство и бессердечие, и потому еще худо, что это самый неверный способ управления и ведения ваших дел.

Господин. Для меня жестокость просто проклятье, она вселяет в мою душу ужас, я уверен, если бы я оказался свидетелем расправы над этими несчастными, я либо потерял бы сознание, либо впал в ярость и убил бы того, кто совершал экзекуцию, хотя он и совершал ее от моего имени.

Джек. Смею заметить, сэр, что жестокость пагубна и для ваших деловых интересов, в чем я могу убедить вас. Вам бы лучше служили, на плантации царил бы больший порядок и негры охотнее бы работали на вас, если бы к ним проявляли сострадание и милосердие, а не бессердечно мучили кнутом и цепями.

Господин. Я полагаю, сама природа вещей свидетельствует вашу правоту, все так и должно быть, я часто думал, что так должно быть, и миллион раз желал, чтобы это было возможно, однако все англичане, которые находятся у меня на службе, делают вид, что это не так, что невозможно внушить негру чувство признательности, а следовательно, и покорность, с помощью любви.

Джек. Конечно, сэр, иногда случается встретить негра бесчувственного, глупого и ничтожного, совершенно не поддающегося никакому воспитанию, непокорного и невосприимчивого, неспособного проявить великодушие, о котором я говорил вам. Но вы и сами знаете, что такие люди встречаются и среди белых, не только среди негров, недаром есть у англичан пословица: спаси висельника от веревки, он тебе же глотку перережет. Если уж нам попадется такой несговорчивый, непокорный негр, все равно надо сначала добром попытаться исправить его, а только уж потом применять грубую силу, чтобы укротить его норов, как укрощают дикую лошадь, и уж коли ничего не поможет, такого негодяя надо

продать, а вместо него купить нового, ибо спокойствие на плантации не должно быть нарушено одним каким-то дикарем. Вот если бы поступали именно так, не сомневаюсь, все ваши плантации процветали бы, работа кипела, — более того, негры и прочие невольники не только работали бы на вас, но готовы были умереть за вас, если бы выпал случай, как вы сами убедились на примере бедняги Мухата.

Господин. Что ж, следуйте вашим методам, и, в случае успеха, я обещаю вознаградить вас. Я сплю и вижу, как бы искоренить жестокость на моих плантациях, что же касается других, пусть каждый поступает по своему разумению.

Когда мой господин ушел, я поспешил к узникам и первым делом велел сообщить им, что приезжал большой господин, что по моей просьбе он готов был простить их, но, когда узнал, в чем их преступление, сказал, что это ужасный грех, который заслуживает наказания. Кроме того, человек, который разговаривал с узниками, передал им слова большого господина, что, ежели их простить, они станут только хуже, что негры не чувствуют благодарности за проявленное к ним снисхождение, а потому нет иного способа заставить их подчиниться, кроме сурового наказания.

На это один из несчастных, тот, что был побойчее, заявил, что, ежели негры от доброго обхождения делаются много хуже, их следует стегать кнутом, пока они не исправятся, однако сам он такого не замечал, потому что с неграми никогда не обходились по-доброму, во всяком случае, ему об этом неизвестно.

Собственно, он говорил то же, что и Мухат, и, увы, его слова вполне соответствовали истине, ибо надсмотрщики не знали, что такое снисхождение, и представление о том, что неграми можно управлять только с помощью жестокости, было главной причиной, почему никто никогда и не пытался обращаться с ними иначе.

И опять же, если и случалось иногда смягчить наказание, то это делалось не умышленно, не с целью простить и уж вовсе не для того, чтобы преподать неграм урок, как и почему им смягчили наказание и как в ответ они должны вести себя. Нет, это случалось только по небрежению или по недосмотру, а иногда из-за недостаточного радения о делах плантации, и, само собой, негры этим пользовались.

И вот, стало быть, с этими неграми я поступил точно, как с Мухатом, а потому нет нужды повторять все в подробностях; они выразили мне бесконечную благодарность и признательность, вылившуюся в безумных приступах радости, свойственных этим людям в особых случаях жизни; благодарность этих двоих, которых я простил, была так велика, что отныне они сделались самыми преданными и усердными невольниками на всей плантации, не считая, конечно, Мухата.

Так я и дальше вел дела на плантации, к полному удовлетворению моего господина, и, по прошествии не более одного года, на плантации уже и думать забыли о такой вещи, как телесные наказания, за исключением разве нескольких случаев с теми из молодых невольников, кто был вовсе неспособен оценить доброе с ними обхождение, пока им не представили случай познакомиться с иным.

Вскоре после этого разговора наш большой господин, как мы все его называли, снова прислал за мной, чтобы я пришел к нему домой; он сообщил мне, что получил ответ от своего друга из Англии, которому писал по поводу моего чека. Я испугался было, что он собирается попросить у меня разрешения отослать чек в Лондон, но он ничего такого не сказал, а только сообщил, что его друг повидал того господина и тот признал чек, но он сказал, что хоть сумма, указанная в чеке, у него на руках имеется, однако он дал обещание молодому человеку, доверившему ему эти деньги (то есть мне), что не выплатит их никому, кроме меня самого, даже если ему предъявят чек, ибо как может он знать, каким образом мой чек попал к ним.

«Так вот, Полковник Джек, — говорил мой хозяин, — поскольку ты сообщил тому господину, где ты находишься и каким обманным путем тебя заманили сюда, а купить себе

свободу можешь только с помощью этих денег, мой лондонский друг выяснил и написал мне, что тот господин выплатит их тебе при условии, что сначала ты сделаешь здесь на месте, как положено, копию чека, заверишь ее у нотариуса и отошлешь к нему вместе с обязательством, тоже заверенным нотариусом, вернуть ему оригинал чека после выплаты всех денег».

В ответ я сказал, что готов сделать все, что предложит его честь. Таким образом, нужные бумаги были составлены и оформлены точно, как требовалось.

«А теперь скажи, Джек, — спросил он улыбаясь, — что ты собираешься делать со своими деньгами? Думаешь купить у меня свою свободу и самому стать плантатором?»

Но меня было не провести, я помнил, какое обещание он мне давал, к тому же я слишком хорошо знал его неизменную честность и доброе отношение ко мне, чтобы сомневаться в данном мне слове, поэтому я повел весь разговор в иную сторону. Я понял, что, спрашивая меня, собираюсь ли я купить себе свободу и стать плантатором, он выяснил, намерен ли я покинуть его, поэтому я ответил: «Что касается моей свободы, сэр, то купить ее значило бы покинуть вашу службу, а я бы скорее купил себе право как можно дольше служить вам, ибо одно сознание, что мне осталось всего два года службы, делает меня несчастным».

«Ну, будет, будет, Полковник, — говорит он, — не надо льстить мне, я люблю прямой разговор. Свобода драгоценна всем! Если ты надумаешь запросить сюда свои деньги, ты обретешь свободу и начнешь самостоятельную жизнь, а я позабочусь, чтобы здешние власти обошлись с тобой по справедливости и дали бы тебе хорошую землю».

Но я продолжал настаивать, что даже за лучшую плантацию в Мэриленде не оставил бы службы у человека, который сделал мне столько хорошего, к тому же я уверен, что весьма ему полезен, так что и думать не могу, чтобы оставить его, а под конец даже добавил: надеюсь, он верит, что чувство благодарности у меня не слабее, чем у негров.

Он улыбнулся и сказал, что на прежних условиях он не может принять моих услуг, что он не забыл ни о своем обещании, ни о том, что я сделал для его плантации, а поэтому принял твердое решение прежде всего дать мне свободу. С этими словами он достал какую-то бумагу и протянул ее мне. «Вот, — говорит он, — свидетельство о твоем прибытии сюда и продаже в рабство на пять лет, из которых три ты уже провел у меня, и теперь ты сам себе господин».

Я поклонился ему и сказал, что если я сам себе господин, то единственное мое желание — это оставаться его верным слугой, доколе ему понадобится моя служба. После чего, отбросив излишние церемонии, он заявил мне, что я могу остаться у него на службе, но на двух условиях: первое — он будет платить мне тридцать фунтов в год, а также кормить, если я буду по-прежнему управлять его плантацией; и второе — одновременно с этим он позаботится о новой плантации в мое личное владение. «Видишь ли, Полковник Джек, — сказал он мне, — хотя ты еще молод, однако уже пора тебе подумать и о себе».

Я отвечал, что не смогу уделять много внимания своей плантации, без ущерба его делам, а этого я не допущу ни под каким видом, потому, будь на то моя воля, я готов служить ему верой и правдой до конца его дней. «Что ж, и служи, — повторил он, — и мне, и себе самому», — на этом мы и расстались.

А теперь я хочу в нескольких словах, не вдаваясь в подробности, рассказать о тех двух неграх, которых я освободил от наказания и которые после этого стали самыми усердными и работящими среди всех невольников на плантации, исключая, как я уже говорил, разве что Мухата, — о нем я еще скажу в свое время, — так вот, они не только отплатили благодарностью за доброе обхождение с ними, но оказали влияние и на всех остальных, кто работал на плантации. Таким образом, мягкое обращение с ними и проявленное к ним великодушие в тысячу раз больше подстрекнули их усердие, чем все пинки, порки, наказания кнутом и прочие страсти, какие были раньше в ходу. Это принесло славу плантации, и кое-кто из плантаторов стал подражать нам, не могу, однако, утверждать, что старания их увенчались тем же успехом — ведь успех тут зависит от самих невольников и от умелого управления их чувствами. Стало

очевидно, что на негров можно воздействовать убеждением так же, как на прочих людей; именно влияя на их разум, мы добивались от них хорошей работы.

Во всяком случае, плантации в Мэриленде (как выяснилось) от такого нововведения процветали, здесь и по сию пору относятся к неграм менее варварски и не с такой жестокостью, как на Барбадосе или Ямайке; замечено также, что в этих колониях негры не столь воинственны, не так часто совершают побеги или замышляют недоброе против своих хозяев, как там.

Я задержался на этом долее, чем хотел, надеясь убедить будущее поколение в целесообразности мягкого обращения с этими несчастными, к которым следует проявлять человечность, и заверить всех, что, придерживаясь этого метода и дополняя его различной в каждом отдельном случае мерой осмотрительности, они добьются того, что негры будут выполнять свою работу охотно и добросовестно, и им не придется тогда сталкиваться с непокорством и недовольством, на которые ныне все ссылаются, напротив того, негры будут вести себя как прочие белые невольники, а то и больше их станут проявлять признательность, смирение и трудолюбие.

Такую жизнь я продолжал вести еще лет пять-шесть, и за все это время мы не подвергли порке ни единого негра, кроме нескольких случаев, о которых я уже упоминал, да и тогда эти бедняги попались на каких-то пустяках. Должен признаться, встречались у нас среди негров и злобные и необузданные, однако на первый раз, когда кто из них провинится, мы их прощали, о чем я уже рассказывал, а коли такое случалось во второй раз, тогда их по приказу выгоняли с плантации. И вот что примечательно: сознание, что их должны выгнать, мучило их много больше, чем если бы им предстояла хорошая порка, от которой у них лишь портилось настроение и тяжко становилось на душе. Словом, наконец-то мы поняли: страх, что их прогонят с плантации, помогал им исправиться, иными словами, прибавлял им усердия скорей, чем любое жестокое наказание, и причину тому долго искать не надо было, просто на нашей плантации с ними обращались, как с людьми, а на других, как с собаками.

Мой господин признался, что очень доволен этой, как он назвал ее, благословенной переменой, и, встречая чувство признательности у негров, он в ответ выражал признательность всем, кто служил ему. Особенно это касалось меня, к чему я как раз и подошел. Первое, что он сделал для меня вслед за тем, как отпустил на волю и определил мне жалованье, это раздобыл для меня земельный надел, а попросту говоря, участок, на котором я бы мог выращивать для себя, что захочу.

Как я потом узнал, он сам все устроил, выбрал мне, то есть записал на мое имя, участок, площадью примерно в триста акров и в более удобном месте, чем мне бы самому выдали, оформив все с владельцем земли на свой кредит. Таким образом, я стал владельцем земли, находящейся не вовсе рядом, но достаточно близко от его собственных плантаций. Когда я поблагодарил его, он заметил просто, что все это не стоит благодарности, поскольку он сделал так, чтобы я не пренебрегал его делами, занимаясь своими собственными, а посему он даже не ставит мне в счет деньги, какие уплатил за эту землю; правда, зная тамошние цены, я понимал, что это деньги не великие, что-нибудь вроде сорока или пятидесяти фунтов.

Да, так он на редкость милостиво вернул мне свободу, ссудил меня деньгами, помог купить собственную землю и определил мне тридцать фунтов годового жалованья, чтобы я заботился о его землях.

— Однако же, Полковник, — сказал он мне при этом, — дать тебе эту плантацию это еще ничего не дать, если я не помогу тебе сначала поднять ее, а потом поддерживать начатое дело. Поэтому я предоставлю тебе кредит, чтобы ты мог приобрести для нее все необходимое: всякие там орудия для обработки земли, провизию для невольников, а поначалу и самих невольников. Также материалы на строительство разных служб и прочих заведений на

плантации. Ты должен купить на развод свиней, коров, лошадей и всякое такое, а я вычту у тебя за все, когда придет из Лондона твой груз, приобретенный на деньги по твоему чеку.

Что и говорить, это было очень ценной услугой с его стороны и проявлением большой доброты, а как выяснилось потом, даже более того. Согласно договоренности, он прислал мне двух своих невольников, которые оказались плотниками; что же до строевого леса, всяких там бревен, досок и прочего, то в стране, где почти все сделано из дерева, недостатка в этом не было. Не прошло и трех недель, как они поставили мне небольшой деревянный дом в три комнаты, с кухней, пристройкой и два сарая под склады, вроде амбаров, позади которых были конюшни. Да, вот я наконец и обосновался на этом свете, проделав шаг за шагом долгий путь от карманного воришки, а потом несчастного раба, проданного в Виргинию (собственно, Мэриленд — это та же Виргиния, если не вдаваться в тонкости), до управляющего, или надсмотрщика над рабами, и, наконец, до самого плантатора.

Итак, повторяю, у меня был теперь дом, конюшня, два больших склада и триста акров земли, но, как говорится, в пустых стенах только коням плясать, так и у меня не было ни топора, ни колуна, чтобы валить деревья[71], ни лошади, ни свиньи, ни коровы, чтобы пасти их на этой земле, ни мотыги иль лопаты, чтобы взрыхлить землю, не было даже лишней пары рук, кроме моих собственных, чтобы обрабатывать землю.

Однако судьба усердного слуги зависит от воли неба и от добрых господ, я к тому говорю об этом, что людей, коих сослали в те места на каторгу или заманили туда хитростью, принято жалеть и считать несчастными, тогда как, совсем напротив, на моем собственном примере я хочу, чтобы они убедились в том, что, ежели усердие в пору рабства приведет к исправлению их натуры, а это, приложи они старания, должно неизбежно случиться, не найдется среди них ни одного, пусть самого несчастного, самого презренного преступника, который не сумел бы (когда выйдет срок его невольничьей службы) начать новую жизнь и со временем возделать добрую плантацию.

Возьмем хотя бы человека в самых невыгодных обстоятельствах, невольника, отслужившего свои пять или там семь лет (какого-нибудь беднягу, сосланного на семь лет каторжных работ), по обычаям страны в то время (изменилось ли что с тех пор, мне неведомо), если его господин подтверждал, что он честно отработал свой срок, то ему выдавалось пятьдесят акров земли под плантацию, с чего он и мог начинать.

Некоторые получали лошадь, корову и трех свиней или брали их в качестве аванса, который они потом должны были выплатить в определенный срок, — им шли в этом деле навстречу.

Принято было давать таким новичкам кредит, чтобы они могли купить разный инструмент, одежду, гвозди, орудия и прочее для возделывания своей плантации: кредиторы должны были получать с них табаком, который те у себя выращивали, и таким образом должник никак уж не мог обмануть своего кредитора и не заплатить ему. А поскольку табак был и звонкой монетой, и главной их продукцией, то и все покупки производились из расчета стоимости определенной меры табака, а соответственно устанавливались и цены.

Так и выходило: получал неимущий плантатор первым делом кредит и тут же приступал к работе, начинал возделывать свой участок земли, сажать на нем табак. Можно сказать, все уважаемые плантаторы Виргинии и Мэриленда начинали вот так же без порток и башмаков, а со временем становились владельцами состояния в сорок — пятьдесят тысяч фунтов. И я бы еще добавил, что, избрав такой путь, усердный человек никогда не просчитается, был бы он только хорошим хозяином и хватило б ему здоровья работать, ибо каждый год он может понемногу расширять хозяйство, прибавляя еще земли и сажая все больше табака, а табак — это те же деньги, и таким образом он может постепенно увеличивать свое состояние до тех пор, пока, наконец, не появится возможность покупать негров и прочих невольников, а тогда можно будет самому больше никогда не работать.

Одним словом, любой несчастный, угодивший в Ньюгетскую тюрьму, отчаявшееся, богом забытое созданье, самый презренный и конченый человек получает здесь полную возможность начать жизнь сначала; мало того, с полной гарантией выиграть, и притом самым честным путем, и его прошлое, какое бы оно ни было, ни в коей мере не будет влиять на его доброе имя. Бессчетное число людей спаслось вот так, поднявшись с самого дна, то есть из камер Ньюгета.

Однако возвращусь к моей собственной истории. Итак, при поддержке моего доброго покровителя я стал плантатором, а поскольку я не мог посвятить себя целиком моей новой плантации, он без колебаний тут же передал в мое распоряжение моего верного друга — негра Мухата. Он сказал, что этим он просто отдает должное той страстной привязанности, какую это несчастное создание питает ко мне; так оно и было на самом деле, учитывая, что однажды этот малый готов был пойти на виселицу вместо меня; с тех пор и до конца дней своих он остался мне глубоко предан, и все, что он для меня делал, он, несомненно, делал с охотой. Узнав, что станет теперь моим негром, он совсем обезумел от радости, и все на плантации подумали, уж не свихнулся ли он и, в самом деле, не потерял ли рассудок.

Кроме него, господин прислал мне еще двух невольников, мужчину и женщину, их, однако, уже в счет моего долга, о котором говорилось выше. И Мухат, и эти двое тут же принялись за работу, начав примерно с двух акров земли, не так уж густо заросших лесом, да и то большую часть его повалили те два плотника, что ставили мне дом (или временную постройку, как вернее было бы считать).

Эти два акра они обработали быстро и засадили табаком почти все, за исключением небольшого участка, который нам пришлось пустить под огород, чтоб было чем прокормиться; там посадили картофель, морковь, капусту, горох, бобы и прочее.

Щедрость моего господина, который помогал мне решительно во всем, оказалась для меня великим спасением, ибо именно в этот мой первый год меня постиг ужасный удар: как я уже рассказывал, с моего чека была снята и заверена по всей форме нотариальная копия, которую я отослал в Лондон. Мой добрый друг — чиновник из таможни — выплатил по ней деньги, а один купец, находившийся в Лондоне, по указанию моего милостивого господина обратил их в разные товары, которые помогли бы мне здесь как можно быстрее встать на ноги, но, к моему неописуемому горю, судно затонуло, это случилось уже у самого мыса, то есть непосредственно при входе в бухту, и явилось для меня полной неожиданностью; кое-что из груза удалось спасти, однако в непригодном виде, так что в итоге уцелели только гвозди, разный скобяной товар да орудия для обработки земли, и, хотя по стоимости они составляли большую часть груза, мои потери были велики и непоправимы, и именно последнее было для меня особенно чувствительно.

Первое известие об этой потере меня как громом поразило, учитывая, что я был в долгу у моего покровителя и господина, и выплатить долг я мог разве что в течение нескольких лет, а так как он сам принес мне это печальное известие, он заметил и мою растерянность, то есть сразу увидел, что я крайне смущен и ошарашен, к чему у меня были все основания, ибо меня очень беспокоили мои долги. Но он постарался поднять мой дух. «Ну, ну, не отчаивайся, — сказал он мне, — ты легко можешь покрыть этот убыток». — «Нет, что вы, сэр, — отвечал я, — ведь это все, что у меня было, и я теперь вовек не расплачусь с долгами». — «Насколько я знаю, — сказал он, — я у тебя единственный кредитор, так что запомни, раз я пообещал однажды, что сделаю из тебя человека, я не отступлюсь, несмотря на все твои несчастья».

На этот раз я выразил ему свою благодарность особенно торжественно и почтительно, ибо, как никогда, понимал всю бедственность моего положения. И он сдержал обещание и не отказывал мне ни в чем, даже в самой малости, а поскольку с затонувшего судна удалось спасти всякого скобяного товара больше, чем мне самому требовалось, я поделился с ним, а взамен получил от него белье, одежду и прочие необходимые вещи.

С этих пор дела мои явно пошли на поправку; в моем владении находился большой участок возделанной, то есть освобожденной от леса, земли, я рассчитывал на большой урожай табака и приобрел еще трех невольников и одного негра, таким образом, я имел уже пятерых белых невольников и двух негров, словом, дела мои процветали.

В первый год я взял свое жалованье, так сказать ежегодное вознаграждение в тридцать фунтов, поскольку остро в нем нуждался, однако на второй и на третий год я принял решение ни под каким видом его не брать, а оставить у моего благодетеля, чтобы покончить с долгами.

А сейчас, дорогой читатель, я позволю себе сделать небольшое отступление, чтобы обратить твое внимание на то, что, несмотря на все убожество моего воспитания, теперь, когда я, что называется, почувствовал себя законным членом общества и был близок к обретению независимости, рассчитывая со временем достигнуть большего, — повторяю, теперь я ко многому стал иначе относиться; прежде всего у меня возникла неодолимая потребность быть справедливым и честным, и, оглядываясь на прежнюю свою жизнь, я испытывал тайный ужас. Врожденное чувство, уж не знаю, как назвать его, которое и прежде, в дни ранней юности, удерживало меня от низких поступков и неуклонно внушало мне, когда я еще был ребенком, что мне уготовано занять положение благородного дворянина, — это неуловимое чувство не покидало меня и поныне; и я постоянно вспоминал слова старого мастера со стекольного завода, обращенные к благородному господину, когда он упрекал того за сквернословие, что быть благородным — значит быть честным, что, если человек не честен, значит он низко пал и потерял всякий стыд, а если это дворянин, значит он потерял свое дворянское достоинство и стал хуже обыкновенного бродяги. Эта искренняя потребность быть честным, нашедшая поддержку в обстоятельствах тогдашней моей жизни, приносила мне тайное удовлетворение, какое трудно даже описать, вселяла в меня радость несказанную, — значит, отныне я не просто человек, но честный человек; мысль, что больше я не бродяга, вор и преступник, каким был с детства, приводила меня в гораздо больший восторг, чем само освобождение из рабства и от жалкой участи запроданного виргинского невольника, хотя тяготы жизни в неволе я вкусил сполна, и в моей памяти они связывались с изнуряющим трудом, постоянными лишениями и страданиями. Нет, совсем другое возмущало мою суть, заставляло кровь стынуть в жилах, переворачивало во мне всю душу, воскрешая в сознании моем картину ада с его духами зла; при одной мысли о прошлом меня охватывал ужас, все мне казалось ненавистным, вызывало дрожь отвращения, оскорбляло меня, заставляло глубоко страдать.

Однако забегаю вперед, чтобы рассказать, как все переменилось и какое счастье я испытал, получив возможность жить собственным трудом и освободившись от необходимости быть негодяем, который добывает хлеб свой насущный с риском для жизни и разоряя честных людей; такая жизнь доставляла мне не просто удовольствие и радость, но радость особую, никогда прежде мною не испытанную. Ведь как горько быть вынужденным совершать низкие поступки ради куска хлеба, без которого не проживешь, делать выбор между виселицей или голодом, прикидывая, в чем меньше риску, и под угрозой нужды вечно творить зло.

Не могу сказать, что я боялся божьего гнева или испытывал угрызения совести, — просто, после долгих размышлений, а также научившись шире судить о вещах, да к тому же питая отвращение к безнравственной жизни, какую я вел раньше, я почувствовал тайное облегчение и даже некую радость, узнав о несчастье, случившемся с моим судном, и, хотя это была большая потеря, я был только доволен, что имущество, приобретенное нечестным путем, пропало и что я потерял то, что в свое время отнял у других, ибо не считал это моим; мне бы ввек не знать покою, если бы оно смешалось с тем, что я приобрел теперь честным трудом, с тем, что казалось ниспосланным свыше (так оно, собственно, и было), дабы заложить основу моему благополучию, которое без этого оказалось бы недолговечным.

И в то же время разум диктовал мне, что, быть может, это и есть фундамент моей новой жизни, не само здание, а только фундамент, и что мне еще предстоит совершить нечто большее, что только честность и добродетель приносят человеку истинное богатство и

величие, венчают славой и положением в свете, а посему я должен во всем рассчитывать только на них и уповать на грядущее.

Чтобы найти подтверждение этим моим мыслям, отныне я пристрастился к чтению, благо научился читать и писать еще в бытность мою в Шотландии; мне довелось познакомиться с такими полезными сочинениями, как «История Рима»[72] Тита Ливия, история Турции, история Англии, составленная Спидом и другими, история войн с Нидерландами, история шведского короля Густава Адольфа[73], а также в числе других и история испанских завоеваний в Мексике[74]; некоторые из этих книг я приобрел в доме одного плантатора, который незадолго перед тем умер и вещи которого распродавались, иные просто брал читать.

Я полагал нынешнюю мою жизнь моей настоящей юностью, хотя мне было уже за тридцать, ибо в юности я не успел ничему научиться, и, если бы не мои ежедневные обязанности, которых было множество, я бы с удовольствием пошел в школу; и все же благосклонная судьба распорядилась по-своему, подарив мне счастливый случай в лице одного смышленого юноши, который был сослан сюда из Бристоля. Ведя, как он сам теперь признавал, рассеянный образ жизни, он оказался в крайне затруднительном положении и стал грабителем на большой дороге, за что, если бы его поймали, непременно бы повесили, однако попался он вместе с шайкой мелких воришек и, избегнув таким образом худшей участи, был приговорен к ссылке и каторжным работам, причем, по его собственным словам, он был доволен, что еще легко отделался.

Он был человеком весьма ученым, и, заметив это, я однажды обратился к нему с вопросом, не подскажет ли он мне методу, по которой я бы выучился латинскому языку. Он отвечал мне с улыбкой, что обучил бы меня ему за три месяца, если бы я достал ему книги, а можно и без книг, было б время. Я сказал, что ему больше пристала книга, чем мотыга, и что, ежели он берется научить меня латыни, хотя бы только читать, чтобы лучше понимать другие языки, я поставлю его на более легкую работу, если буду уверен, что он заслужил благосклонность доброго господина. Короче говоря, я поступил с ним точно так, как мой благодетель со мной, и получил от него запас знаний, куда более ценных, чем стоимость одного раба, однако об этом еще впереди.

От всех этих мыслей мне веселей работалось. Поскольку теперь у меня имелось пять невольников, дела на плантации медленно, но верно шли в гору, она понемногу разрасталась, и на третий год я с помощью моего благодетеля купил еще двух негров, таким образом у меня стало семеро невольников; возделанной земли хватало, чтобы прокормить их, и потому плантацию можно было еще расширить, ибо на себя лично я не тратил ничего, так как находился на содержании у моего бывшего большого господина (как мы все его называли), а сверх того еще получал от него ежегодное жалованье в тридцать фунтов, — таким образом доходы мои шли в рост.

Так продолжалось в течение двенадцати лет; плантация моя процветала при милостивой поддержке моего господина, которого ныне я стал величать моим другом, у меня завязалась переписка с одним человеком из Лондона, с которым я начал торговлю: отправлял к нему морем табак и получал взамен европейские товары, какие нужны были для моей плантации, причем табака мне хватало и на продажу.

Как раз в это время скончался мой друг и благодетель, и я долго оставался безутешен по причине сей поистине тяжкой для меня утраты, — он был мне как отец родной, а без него я почувствовал себя словно чужестранец, хотя уже хорошо знал и страну, и свое дело, так как какое-то время почти самостоятельно вел все его хозяйство; однако, потеряв своего советчика и главную свою опору, я почувствовал себя обездоленным: отныне мне некому было довериться в разных моих делах. Но что случилось, то случилось, теперь мне все же было легче выстоять одному, чем прежде: я владел огромной плантацией и примерно семьюдесятью неграми и прочими невольниками. Одним словом, я стал поистине богат, если учесть, что начинал я, как говорится, с нуля, то есть никакого капитала у меня не было, зато с самого

начала мне повезло, ибо я получил помощь и дружеское участие, а лучшей поддержки и не придумаешь. Если бы мне пришлось начинать с пятьюстами фунтов в кармане, но без помощи, совета и сочувствия такого человека, мне бы хуже пришлось. Он обещал вывести меня в люди и сдержал свое обещание, однако, как мне кажется, и я сумел частично, так сказать, отблагодарить его за это: ведь я наладил все дела на его плантации и установил такие отношения с неграми, что за это и пятьсот фунтов было бы уплатить не жалко; работы на плантации исполнялись исправно и согласно его воле, все шло как нельзя более успешно, слуги и даже негры любили его, а о суровых наказаниях и помину не было.

На моей собственной земле тоже царил порядок, я старался так влиять на разум и чувства моих негров, что они служили мне вполне охотно, результатом чего были их преданность и усердие, тогда как на соседних плантациях недели не проходило без ужасных криков, воплей и стенаний несчастных невольников под пыткой или в страхе перед оной, и тамошние негры в разговоре с моими мечтали лишь об одном: поскорее умереть, чтобы вернуться на свою родину (они верили, что после смерти так и будет).

Когда среди невольников попадался мрачный тупица, да к тому же с дурным характером, а это порою случалось, я спешил расстаться с ним и тут же продавал его, ибо не желал держать никого, кто не умел быть благодарным за мягкое обращение; правда, совсем безнадежные мне попадались редко, так как стоило поговорить с ними разумно и прямо, как даже самые грубые из них делались уступчивей и покладистей; я не раз замечал это, рано или поздно верх брало стремление к собственной выгоде; если же этого так и не происходило, то мои люди, отличавшиеся совсем иными свойствами характера, сами ополчались на своих же товарищей и соотечественников, и это, в числе прочего, тоже вразумляло их; и вот что еще: всякий, кто в этом кровно заинтересован, может сам легко убедиться, что достаточно одного — сговориться с тем, кто считается у них вожаком, пробудить в нем благодарность, и тогда не успеете вы оглянуться, как остальные под его влиянием станут вести себя так же, как он.

Итак, я стал плантатором и студентом; мой педагог, о котором уже шла речь, по своему рвению и усердию оказался человеком просто-таки выдающимся: он занимался со мною с истинным увлечением и проявил редкий учительский талант; уже позднее на ряде случаев мне пришлось убедиться, что не всякий хороший ученый способен быть учителем, ибо искусство преподавания не имеет ничего общего со знанием изучаемого предмета.

Этот же человек владел и тем и другим и был мне на редкость полезен, так что я имел все основания проявлять к нему самую большую сердечность, учитывая его личные достоинства и обстоятельства, в коих он находился. Однажды я даже осмелился задать ему вопрос: как могло случиться, что такой человек, как он, получивший широкое образование и имевший все преимущества, чтобы преуспеть в этом мире, оказался в столь плачевном положении и попал к нам сюда? Само собой, приступив к этим расспросам, я счел не лишним проявить некоторую осторожность, так как, вполне возможно, ему было неприятно вспоминать об этом, и тут же оговорился, что, если у него нет желания обсуждать подобную тему, я не настаиваю и не сержусь на него. Поступая так, я понимал, что с человеком, когда он в беде, надо обращаться с особой деликатностью и не принуждать его к рассказу о себе, если это ему тяжело и если он предпочел бы об этом умолчать.

Он согласился и сказал, что для него вспоминать прошлое означает renavare dolorem[75], тем не менее в настоящее время ему только полезно терпеть унижения, ибо, как он надеется, они приведут его к искреннему раскаянию; что, хотя он не может без ужаса думать о своей загубленной молодости и растраченных зря талантах, коими щедрый создатель наградил его, готовя его к лучшим свершениям, все-таки он должен до дна испить чашу позора, коли будет на то воля господня, тем паче что он по своей воле ступил на эту стезю порока и преступлений и не покидал ее, пока господь (на прощение которого он все еще уповает) не остановил его, предав на всеобщее поругание, и он не считает, что суд уже свершился над ним, ибо тогда его отправили бы на тот свет, а вместо этого он попал в Виргинию и получил возможность

раскаяться в своей безнравственной жизни… Он был готов продолжать в том же духе, но я заметил, что слезы горького раскаяния, выдававшие страстную борьбу, которая шла в нем, мешали ему говорить.

Я сделал вид, что не заметил его слез, и лишь выразил сожаление, что задал свой вопрос, признавшись, что сделал это из любопытства, ибо, наблюдая людей темных, невежественных и упрямых, которые погрязли в низости и позоре, я не спрашиваю, как это случилось с ними; когда же на скользкий путь ступают люди одаренные и образованные, я делаю вывод, что в этом повинна чья-то неумолимая злая воля. «Так оно и есть, — сказал он мне, — когда я попросил судью о помиловании и произнес свою просьбу на латыни, он ответил мне: если подобные преступления совершает человек, владеющий вашими знаниями, он еще более заслуживает наказания, чем простой человек, ибо его знания должны подсказать ему, что он не может ждать снисхождения, и потому у него меньше соблазна совершать преступления».

— Однако, сэр, — продолжал он, — я уверен что мой случай весьма характерен, поскольку испытывать нужду уже само по себе великое зло, и нужда не только порождает искушения, но такие искушения, перед которыми человеку не устоять. Стало быть, бог справедлив, — продолжал он, — коли он стремится уберечь человека от искушения, избавляя его от нужды!

Меня так поразила истинность его слов, которую я на собственном примере испытал, что я невольно задумался, однако он продолжал говорить.

— Я так четко все это осознаю, сэр, — сказал он, — что считаю нынешнее мое униженное положение меньшим бедствием, чем всю мою прежнюю жизнь, ибо я свободен теперь от ужасной необходимости совершать низкие поступки, которые стали моим позором и проклятием, хотя шел я на это ради куска хлеба; мне не приходится ныне отнимать хлеб у других, применяя насилие и нарушая законы, теперь я сыт, хотя и вынужден сам зарабатывать себе на пропитание тяжким трудом, но я благодарю господа за эту перемену в моей жизни.

Тут он было замолчал, но потом опять продолжал:

— Насколько лучше жизнь жалкого раба здесь, в Виргинии, чем судьба самого преуспевающего вора там! Здесь я беден, но честен, мне приходится страдать, но я не заставляю страдать других. Моя спина гнется под тяжестью наказания, зато на душе у меня легко. Раньше я не раз говорил, что мне все недосуг разобраться в себе самом, что надо дождаться передышки, вот тогда я найду для этого время, а теперь сам бог дал мне досуг, чтобы я мог раскаяться…

Он долго еще говорил в том же духе, выражая благодарность, уверен, вполне чистосердечную, за то, что избавили его от бесчестья, хотя теперь его ждет в десять раз худшая нищета.

Я был глубоко тронут его речами, так как слишком хорошо знал истинную цену перемене, произошедшей с ним, и потому не мог не расчувствоваться, хотя, признаюсь, до сего случая о боге я задумывался редко. Я сам, как и он, был преступником, правда, не таким закоренелым, однако и не помышлял о раскаянии, и не считал свою прошлую жизнь преступной, а только лишь бесславной и недостойной дворянина, что постоянно, как я уже не раз признавался, тревожило меня.

— Ну хорошо, — сказал я ему, — вы говорите о раскаянии и, надеюсь, искренне, но как бы вы расценили свое положение, если бы вдруг избавились от жалкой участи купленного за деньги раба, на какую сейчас обречены? Вы думаете, тогда вы стали бы другим человеком?

— Видит бог, — отвечал он, — если бы мне пришлось ответить «нет», я бы искренне помолился, чтобы избавление никогда не наступало. Пусть я навсегда останусь рабом, только не грешником.

— Ну ладно, — сказал я, — а предположим, вы бы снова оказались в нужде и опять бы страдали от голода, тогда вы разве не вернулись бы на знакомый вам путь?

Он не задумываясь ответил, что о нужде уже сказано в молитве «Отче наш»: «Не введи нас во искушение», а также в притчах Соломоновых словами Агура: «…чтоб, обеднев, не стал красть…»[76] Я бы век молил бога об одном: избави меня от пут-сетей, коим самому не противостоять. И все же мне кажется, я бы лучше стал голодать, нежели снова заниматься воровством, однако я хотел бы избегнуть искушения, ибо не уверен в силах моих».

Признание было чистосердечным, ничего не скажешь, да и вообще вся его речь дышала самой искренностью, так что трудно было его в чем заподозрить. Во время одного из наших разговоров он достал маленькую потрепанную книжицу в бумажном переплете, куда он списал молитву в стихах, которая вряд ли оставила бы равнодушным хоть одного христианина, и я не могу не привести ее здесь, ибо в жизни не встречал ничего подобного. Она начиналась строками:

О Боже правый, не дай мне отдохнуть!

Какие б Муки ни терзали грудь, —

Покуда не избыто Преступленье,

Пусть длится эта Боль — во Искупленье!

Не облегчай Отчаянье мое,

Покуда Милосердие твое

Не воцарится полностью на Троне,

Свободном от Грехов и Беззаконий,

Покуда не очистится Душа,

Раскаяньем Злодейство сокруша.[77]

Дальше говорилось все о том же, это были лишь начальные строки, и они так запали мне в душу, что я запомнил их слово в слово, и нередко твердил про себя.

После столь замечательного и столь растрогавшего меня ответа на продолжении разговора я не настаивал. Было ясно, что человек этот искренне раскаивается и опечален не самим наказанием, ибо нынешнее его положение не беспокоило, а скорее, как уже говорилось, радовало его, — нет, чувства и разум его тревожили воспоминания о пагубной, порочной жизни, какую он вел раньше, о гнусных преступлениях против бога и людей, какие он совершал, ему не давала покою мысль о том, до чего же неразумен он был, пока не попал сюда.

Я спросил его, не приходилось ли ему думать о раскаянии — до или после приговора? На что он ответил: «Ньюгет (ибо так называлась бристольская тюрьма, видимо, в подражание лондонской) не то место, где родится раскаяние, напротив, любой злодей ожесточится там и позабудет скоро и бога, и черта». И все-таки, оглядываясь назад, он с удовлетворением мог отметить, что даже тогда он не оставался полностью чужд раскаянию, однако не смел всецело уповать на волю всевышнего. Он часто задумывался о себе, о своей загубленной жизни еще до того, как попал в тюрьму, каждый раз, когда нечестивое его ремесло предоставляло ему время для размышлений; он даже вопрошал себя: «Куда я качусь? До чего доведут меня все эти дела? И когда им будет конец? Грех и стыд сменяют друг друга, и ждет меня виселица». И он бил себя в грудь и восклицал: «О негодяй несчастный! Когда ты наконец раскаешься?» И отвечал сам себе: «Никогда! Никогда! Никогда! Пока не попаду в тюрьму или на виселицу».

— После чего, — продолжал он, — я вздыхал и проливал слезы, вспоминая мою злосчастную жизнь, история которой могла бы повергнуть мир в изумление. Но увы! Будущее казалось темно и вселяло в меня такой ужас, что вынести это было трудно, и тогда я искал утешения в вине и в веселой компании, вино вело к невоздержанности, а дурная компания, состоявшая из мне подобных, вводила во искушение, и тогда всех моих размышлений как не бывало, и опять я становился негодяем.

Он говорил об этом с таким волнением, что, хотя лицо его озаряла улыбка, однако в глазах все время стояли слезы, так он был охвачен сладкой скорбью, если возможно употребить подобное выражение.

Странное все это производило на меня впечатление, и не пойму даже, отчего так волновало меня. Мне нравилось слушать его, и все-таки на душе у меня, не знаю почему, от этих речей оставался какой-то тяжелый осадок, и что со мной, я не ведал. Необъяснимая тоска сжимала сердце.

Итак, он продолжал свой рассказ.

— А затем, — сказал он, — я попал в руки правосудия за выходку, особенно наглую. Подумать только, меня, на счету у которого было по меньшей мере сто грабежей и прочих преступлений, — чтобы их все описать, потребовалась бы целая книга, — меня, который, попадись я только, заслуживал цепей и виселицы и против которого, если бы дело слушалось открытым судом, выступило бы не менее двадцати свидетелей, — такого человека тайно препроводили под чужим именем в местную тюрьму и судили за мелкое преступление, в котором я, по сути, не был виновен, а поскольку еще учли неподсудность духовенства светскому суду, то снизошли до милости и отправили на каторгу.

— А что, как вы думаете, — сказал он, — сильнее всего задело мои чувства и породило во мне эту благодетельную перемену, которая позволяет мне надеяться, что господь не оставил меня? Только не тяжесть моих преступлений, нет, лишь чудо промысла божия, кое во спасение человека устилает путь его терниями, заставляя терпеть муки и страдания за малую вину его, дабы мог человек сам узреть, какого наказания избежал за главные свои прегрешения, одному ему ведомые. Неужели вы думаете, что, когда узнал я о ссылке и каторжных работах, я не расценил этот приговор как чудо, как милость божию, оказанную человеку, который сделал все, чтобы заслужить виселицу, и беспременно встретил бы давно смерть, если бы стало известно его настоящее имя и проведали бы, какой отпетый негодяй попал к ним в заточенье. Вот где началось мое раскаяние, ибо в том и милость нашего создателя, что он оберегает нас, когда мы отдадим себя на его суд, и сострадает нам, спасая от всяких бед, какие мы сами на себя накликаем, не зная, как вырваться потом от них, но лечит нас он тоже муками, делая добро через зло, тогда как сами мы часто пользуемся добротой его себе во зло. Да, повторяю, вот где главная причина покаяния; никто не станет спорить, что не виселица, но избавление от виселицы заставляет вора раскаяться.

— Конечно, — продолжал он, — страх перед заслуженной карой имеет свою власть над человеком. Ожидание смерти наполняет его душу ужасом, который спешат назвать раскаянием, но, боюсь, ошибаются, ибо это скорее лишь душевные муки, порожденные тяжким предчувствием неминуемого возмездия, смятение в грозном предвидении грядущего. Иное дело сознание, что ты прощен, вот оно действительно может всколыхнуть все ваши чувства и страсти, и тогда перед вами невольно встанет весь ужас содеянного вами преступления — именно преступления, которое оскорбляет нашего создателя, ибо означает низкую неблагодарность по отношению к тому, кто дал нам жизнь со всеми ее радостями и утехами, кто полнит наши сердца благоговением, продолжая творить добро, когда мы заслуживаем лишь гибели.

— Вот, сэр, — сказал он, — где находился источник моего раскаяния, из которого я черпал с истинной радостью. Вот что такое сладкая скорбь, — продолжал он, — о которой я вам только что говорил, рождающая на лице улыбку, когда из глаз текут слезы, и дарующая радость, о которой я могу вам дать представление, лишь признавшись, что с самого начала моей самостоятельной жизни не было у меня счастливее дня, чем тот, когда я высадился на этом берегу и начал работать на вашей плантации; я был раздетый, голодный, усталый и измученный, страдал в мороз от холода, в зной от жары, и вот тогда-то я и задумался о своей судьбе и узрел всю разницу между страданиями тела нашего и душевными муками. Прежде я гулял и кутил, здесь я узнал суровую борьбу за существование, там я наслаждался праздностью

и свободой, здесь я тружусь, пока достанет сил. Однако какая счастливая разница в моем положении раньше и вот теперь! Что и говорить, раньше в душе моей царил ад, смятение и ужас преследовали меня, я был сам себе ненавистен и всегда ждал плохого конца, тогда как теперь я обрел сладостный душевный покой — символ и предвозвестник небесного покоя, я смирился, исполненный благодарности, и готов восхвалять счастливый случай, вырвавший меня из когтей сатаны. Теперь мои мысли парят высоко, а смертельная усталость лишь радует меня, тяжелый труд мне кажется забавой, и на сердце всегда легко. Прежде чем лечь на мое жесткое ложе, словами, исполненными любви, я восхваляю господа не только за то, что я избежал проклятой тюрьмы и смерти, которую заслужил, но и за то, что Шутерс-Хилл навсегда позади, и я больше не грабитель, не гроза всех честных и праведных людей, не обманщик простодушных бедняков, не вор, не мошенник, какого следовало бы стереть с лица земли ради безопасности других людей; я восхваляю господа за то, что я спасся от ужасного искушения в погоне за богатством творить одно за другим злые дела. Клянусь, всего этого достаточно, чтобы облегчить самые тяжкие муки и внушить благодарность за то, что попал в Виргинию, а случись иначе, и в место похуже.

Затем он откровенно признался мне, что если бы можно было предстать пред вратами рая, а затем и ада, чтобы увидеть четко и ясно, где радость, красота и высшее блаженство, а где только страх и ужас, и, в силу разумения своего, познать и рай и ад, то первое знание скорей принесло бы исцеление человечеству, чем второе. Мы еще не раз возвращались к этой теме в наших беседах.

Если бы меня спросили, неужели я мог бестрепетно слушать все это, так близко касающееся меня и моего прошлого, я бы ответил так: что бы он ни говорил, своих чувств я ему не показывал, поскольку он представлял себе меня совсем не таким, каким я был на самом деле; я не делился с ним своей историей, как делают в подобных обстоятельствах, а напротив, время от времени напоминал ему, что попал в Виргинию не в качестве преступника и не был сослан сюда на каторгу; учитывая, что именно так начинали свой путь многие из здешних состоятельных граждан, мне просто необходимо было это ему говорить. Мне было довольно того, что теперь я занимал хорошее положение, а прошлое мое никого не касалось, и, поскольку мое печальное прибытие в этот край — рабом, а не вольнонаемным — уже стерлось из памяти, не в моих интересах было рассказывать об этом, и я таил свою историю. Тем не менее себе самому я не мог не признаться, что в голове у меня от наших разговоров царит полная путаница, скрывать которую становилось невозможным — ведь до сих пор я оценивал вещи поверхностно, заботясь лишь о том, добро или зло, радость или страдание они мне несут, означают ли для меня удачу или неудачу, и не очень-то понимая, сколь полно все повороты судьбы выражают волю господа, как все направляется им.

Вы уже знаете, на чем остановилось мое образование, и, следственно, у меня не было наставника в религии, который дал бы мне понятие о ней, я не разумел даже самой сути ее, и ежели в указанное время я пребывал как бы в поисках веры, то это означало лишь, что я пристальнее вглядывался в мир, пытаясь понять, каков он на самом деле; что же до создателя его, едва ли сыскалась бы на земле хоть единая сотворенная им живая душа, столь же не ведающая господа своего, как я тогда, столь неспособная его узнать.

Однако серьезные взволнованные речи молодого человека постепенно изменили мое отношение к сему вопросу, и я уже говорил себе, что рассуждения его вполне справедливы, но что же тогда я сам за человек и чем жил раньше, коли никогда не задумывался над этим? Никогда не умел сказать: благодарю тебя, господи, за то, что ты спас меня, и за все, что сделал для меня в этом мире! И, однако же, чего только не случалось со мной в моей жизни, сколько раз, как и он, я чудом спасался от всяких бед и напастей, и если то было освящено невидимой волей божией мне во благо, чем я заслужил его заботу о себе? Где же я обретался? Что за неразумное и неблагодарное я создание божие, таких больше, наверное, и свет не видывал!

Подобные мысли начали сильно тревожить меня, и я впал в меланхолию, однако в религии я тогда так мало смыслил, что даже если бы принял решение начать новую жизнь или захотел бы приобщиться к вере, не ведал, как это сделать.

У моего наставника — я только так теперь называл его — оказалась в руках Библия, и он углублялся в чтение ее не раз на дню, хотя я не знал зачем; увидев у него в руках Библию, я попросил ее и сам стал читать; прежде со мной это так редко случалось, что я смело мог бы сказать: за всю свою жизнь я вряд ли прочитал подряд хоть одну главу. Он заговорил тогда о Библии просто как о книге и сказал, где она у него хранится и как ему удалось привезти ее в Виргинию, а потом поднес ее в пылу экстаза к губам и поцеловал. «Благословенная книга! — воскликнул он. — Она единственное мое сокровище, какое я вывез из Англии, единственное утешение в моих горестях. С ней, — добавил он, — я не расстался б ни за что в мире». И он долго еще продолжал в том же духе.

Совершенно не понимая, о чем он говорит, ибо имел, как я уже сообщал вам, лишь наивные представления юных лет — о промысле божием среди людей и проявленном ко мне господнем милосердии, — я взял эту книгу из его рук и стал листать ее; Библия открылась на главе 26, стих 28, где Агриппа говорит апостолу Павлу: «Ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином».[78]

— Мне кажется, — сказал я, — эти строки точь-в-точь совпадают с тем, что вы только что так обстоятельно излагали, и я хочу вслед за вами повторить это словами отца нашего, — и я прочел ему эти строки.

Он вспыхнул, услышав текст, и тут же ответил мне:

— А я бы в ответ процитировал вам слова святого апостола, обращенные Агриппе: «…молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли[79], не только ты, но и все слушающие меня сегодня, сделались такими, как я, кроме этих уз».

Мне было тогда, по моим расчетам, уже за тридцать, насколько я мог сам судить о своем возрасте, ибо никого не осталось, кто знал меня с рождения. Итак, повторяю, мне было за тридцать, и я уже успел пройти богатую школу жизни, но, поскольку с младенчества был всеми заброшен и ничему не учился также и в юные годы, я пребывал, что называется, в полном неведении относительно всего, что достойно в этом мире называться верой, и то был первый случай в моей жизни, когда крупица религиозного чувства запала в мое сердце. Меня поразили речи этого человека и в особенности все, что касалось его прошлого, о котором он говорил так прочувствованно и которое слишком напоминало мне собственное прошлое, а потому, каждый раз, когда он, вспоминая обстоятельства своей жизни, оценивая их с разных точек зрения, делал вывод в пользу религии, меня вдруг осеняло, а ведь и я должен за многое испытывать благодарность и во многом, как и он, раскаиваться, с той лишь разницей, что мне, в отличие от него, не была послана благодетельная вера, правда, зато я был на свободе и хорошо устроился в этом мире, довольно легко стал господином и достиг полного благополучия, поднявшись именно из того ничтожного и плачевного положения, в каком он пребывал сейчас, однако ежели он все еще остается невольником и ежели, как следует считать, его грехи тяжелее моих, значит, и печаль его должна быть горше.

Эти размышления о благодарности взволновали меня и крепко засели в моей голове. Я вспомнил, что испытывал глубочайшую признательность к моему старому господину, который помог мне подняться из ничтожества, я любил самое имя его и даже землю, по которой он ступал, однако никогда мне в голову не приходило, что этим я обязан только ему одному, нет, нет, и я бы мог повторить вослед за фарисеями: «Боже, благодарю тебя…»[80] — за все, что по воле божией было сделано для меня.

Вот тогда-то я и подумал: ежели, как неоднократно разъяснял мне мой новый учитель, наша судьба направляется свыше и ежели бог указует все, что должно произойти в жизни и ни один волос не упадет с головы[81] без соизволения отца нашего, то каким же неблагодарным

псом я был перед лицом провидения, столько сделавшего для меня! И тут же вслед за этими размышлениями напросился вывод, что будет только справедливо, если волею всевышнего, коей я пренебрег, я останусь без тканей, шерстяных и полотняных, которые ныне прикрывают наготу мою, и буду снова ввергнут в нищету, знакомую мне с детства.

Эта мысль немало смутила меня, и я впал в задумчивость и печаль, постоянным утешителем в коих был, однако, мой новый наставник, от которого я каждый божий день узнавал что-либо новое, и однажды утром я заявил, что, как мне кажется, ему не следует больше обучать меня латыни, а вместо этого лучше нам заняться богословием.

Но он признался мне со всею скромностью, что не настолько сведущ в нем, чтобы сообщить мне что-либо, чего я сам не знаю, и предложил мне читать каждый день Священное писание, кое одно может считаться источником и основой всех наук. На что я отвечал ему словами евнуха, обращенными к святому Филиппу, когда апостол спросил его: «Разумеешь ли, что читаешь?»[82] — «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?»

Мы часто беседовали на эту тему, и я получил все основания считать его искренне новообращенным, так что говорить о нем иначе не могу и не должен. Однако о себе того же сказать не смел бы: мое сознание тогда еще не созрело для подобной перемены. Меня тревожили сомнения насчет моего прошлого. Я вел тогда, как, впрочем, и до нашего с ним знакомства, скромный, размеренный образ жизни, много трудился и не предавался излишествам, и все-таки причислить себя, подобно ему, к кающимся грешникам я не мог: мне не хватало убежденности и веры, которая поддержала бы меня, и потому, как это часто случается, когда первые впечатления не западают глубоко в душу, раскаяние мое постепенно улетучилось.

Тем временем он продолжал исповедоваться мне во всех своих жизненных невзгодах, о коих докладывал со всею серьезностью, так что беседы наши, как правило, были исполнены благонамеренности и глубокомыслия, никакого намека на ветреность, даже когда мы не касались в разговоре религиозных тем. Он часто читал мне что-нибудь из истории, а ежели книг не оказывалось под рукой, он сам разъяснял мне вопросы, о коих даже не упоминалось в современных исторических трудах, или, во всяком случае, в тех книгах, какие у нас были; он пробудил во мне неутолимую жажду узнать, что творится на белом свете, тем более что весь мир тогда был занят великой войной[83], в которую втянули французского короля, бросившего вызов всем европейским державам.

Я счел себя заживо погребенным в отдаленной части света, где никто ничего не видит и почти ничего не слышит о том, что творится на земле, да и эти-то слухи доходят с опозданием на полгода, а то и на год, если не больше. Одним словом, меня опять стали мучить былые сомнения, достоин ли тот образ жизни, какой я веду теперь, истинного дворянина?

Конечно, теперь я был ближе к цели, чем когда оставался карманным вором, а потом был продан в рабство. Но все это было слабым утешением и ничуть не успокаивало меня. Я приобрел еще одну плантацию, весьма солидную, и дела на ней шли превосходно; я держал на ней сто невольников, самых разных, и одного надсмотрщика, на которого мог полностью положиться; кроме того, имел в зачине еще и третью плантацию, только-только осваиваемую, так что ничто не мешало мне в достижении моей цели.

И тем не менее я стал подумывать о путешествии в Англию; что мне там делать, я еще не знал, но про себя я решил одно: надо как можно больше посмотреть, чтобы составить собственное мнение о вещах, о коих до сих пор имел лишь смутное представление по книгам.

Я ускорил устройство всех дел на моей третьей плантации, желая навести там такой порядок, чтобы можно было либо сдать ее в аренду, либо доверить надсмотрщику, как уж там я сочту нужным.

Если бы я принял решение оставить ее на управляющего, или надсмотрщика, не нашлось бы для этого более подходящего человека, чем мой учитель, но я даже в мыслях не имел

покидать того, кто возбудил во мне это страстное желание отправиться путешествовать и коего я намерен был сделать соучастником в моих странствиях.

Прошло три года, прежде чем я привел дела мои в такое состояние, чтобы спокойно покинуть страну; за это время я освободил от всех обязательств моего учителя и с радостью вернул бы ему свободу, но, к моему великому разочарованию, не сумел уговорить его ехать со мной в Англию, пока не истечет срок, указанный в официальном документе о его ссылке сюда; поэтому я назначил его моим управляющим, тем самым вселив в него надежды на лучшее будущее, коего он мог достигнуть таким же путем, каким некогда шел я с помощью моего доброго покровителя, с одним лишь различием: я не оказал ему содействия, какое получил когда-то сам, в приобретении собственной плантации, в мои намерения это не входило, и тем не менее его радение и честное отношение к своим обязанностям без моей помощи сделали свое дело и принесли ему даже больше пользы, — про это уже шла речь, — чем просто назначение моим управляющим, так как последнее в тот момент означало для него лишь избавление от тяжелой работы, а также от участи невольника.

В ответ на доверие, оказанное ему, он проявил такое усердие и такую исполнительность, что заработал себе доброе имя, и когда я вернулся в эту страну, я обнаружил, что он занимает уже совсем иное положение, чем то, в каком я его оставил, — не считая того, что в течение примерно двадцати лет он был в должности моего главного управляющего, о чем в свое время вы еще услышите.

Я упоминаю об этом главным образом на случай, ежели какому несчастному выпадет на долю такая же беда и он окажется в подобном положении, пусть он примет все это к сведению и заучит небольшой урок, построенный на следующих примерах.

I. Виргиния в качестве штата для ссыльных каторжан может оказаться самым благоприятным местом, где они искренним раскаянием своим и примерным усердием в работе, на какую их поставят, добьются положения, какого никогда прежде не знали. Для этого им не придется идти путем зла и насилия, ибо здесь они попадут в столь новые условия, что у них даже не будет искушения, вспомнив прошлое, совершать старые преступления, и перед ними откроются виды на лучшее будущее.

II. В Виргинии даже самому жалкому и ничтожному человеку, когда истечет срок его невольничьей службы, если он проявил должное усердие и трудолюбие на службе этой стране (коли он останется жив-здоров), обеспечены благополучная жизнь и процветание.

И, поскольку существует такое правило, на которое может рассчитывать даже самый последний горемыка, то, на мой взгляд, сосланный сюда преступник должен считать себя счастливее самого преуспевающего вора, который гуляет еще на свободе в своей родной стране. Неверно полагать, как делают некоторые, что бедняги, которые желают добровольно уехать в далекие земли и, чтобы попасть туда и там устроиться, принимают на себя суровые обязательства, поступают глупо — вовсе нет, особенно если их будущие хозяева окажутся людьми честными, ведь поначалу они, скорей всего, просто не знали, какой путь избрать, и потерпели неудачу. Здесь же их немедленно обеспечат всем необходимым, а по истечении срока наказания они получат возможность обеспечивать себя сами. Однако возвращаюсь к моей собственной истории, чтобы открыть новую ее страницу.

Отныне, оставив мою плантацию в надежных руках и успокоившись на этот счет, я начал готовить запасы провизии для путешествия в Англию. Главной моей задачей было запастись таким количеством товара и денег, чтобы мне хватило на жизнь и сделки за границей, но более всего, чтобы получить большие прибыли с плантаций в Мэриленде, снабдив их для этого всем, чем нужно. Однако, тщательнее обдумав предстоящее путешествие, я пришел к выводу, что было бы неразумно доверить весь мой груз одному судну, на котором собирался плыть и я сам, а посему я в разное время погрузил пятьсот кип табака на разные судна, отправлявшиеся в Англию, сообщив моему агенту в Лондоне, что сам намерен сесть на корабль тогда-то, чтобы

приплыть следом, и велел ему подготовить солидную сумму денег, соответствующую стоимости моего товара.

Я покинул страну примерно два месяца спустя, сев на вполне надежное судно, вооруженное двадцатью четырьмя пушками и направлявшееся в Англию, с грузом около шестисот кип табака. 1 августа… года мы оставили позади берега Виргинии. Первые две недели наше плавание было мучительно трудным, несмотря на то что оно пришлось, по установившемуся мнению, на благоприятный сезон.

Проведя одиннадцать дней в открытом море, в течение которых почти все время дул сильный вест, точнее вест-норд-вест, загнавший нас на восток дальше, чем надо, когда идешь морским путем в Англию, мы попали в страшнейший ураган, жестоко трепавший нас пять дней кряду без передышки, так что нам пришлось все это время, как говорят моряки, «догонять ветер», невзирая на намеченный курс. Наше судно сильно пострадало от шторма и дало в нескольких местах течь, правда, усилиями матросов пробоины заделали. Однако наш капитан, которому пришлось долго сражаться с непогодой, в конце концов решил идти на Бермудские острова, тем более что волнение на море еще не спало.

Я не настолько разбирался в морском деле, чтобы уловить суть спора, возникшего по этому поводу, но мне показалось, что, взяв направление на остров, они ошиблись широтой, поднявшись выше, чем надо, и теперь мы уже никак не могли вернуться на Бермуды. Мнения капитана и его помощника начисто разошлись, что вообще-то редко случается. Каждый придерживался прямо противоположной точки зрения; вероятно, шторм слегка сбил их с толку. Капитан, человек довольно резкий, грубо отчитал своего помощника и даже пригрозил по прибытии в Англию подвергнуть его наказанию. Помощник капитана хоть и был настоящим морским волком, однако отличался редкой скромностью; открытой ссоры он не затевал и все же стоял на своем. И вот по прошествии нескольких дней, пока они продолжали пререкаться, непогода утихла, небо очистилось, и они получили возможность определить наши координаты, чтобы понять, где мы находимся, и тогда выяснилось, что помощник капитана был прав, а капитан ошибался, так как нас занесло на 29° широты, то есть совсем в сторону от Бермудских островов.

Помощник капитана не выказал никакого злорадства, а капитан, убедившись в своей неправоте, вернул ему свое благорасположение. Таким образом, все раздоры между ними были забыты, но оставался нерешенным вопрос: что же делать дальше? Одни предлагали идти таким-то путем, другие — иным, однако все единодушно соглашались, что плыть прямо в Англию мы сейчас не в состоянии, разве что подул бы зюйд, либо зюйд-вест, который судьба не хотела нам подарить за все время нашего плавания.

В итоге все сошлись на том, что следует идти к Канарским островам, то есть к самой близкой из досягаемых для нас точек земли, не считая островов Зеленого Мыса, но они лежали слишком уж на юг от нас, если бы и удалось преодолеть само расстояние.

А посему мы взяли курс норд-вест при упорном западном, а точнее северо-западном ветре и, проделав немалый путь, примерно через пятнадцать дней миновали пик Тенерифе — самую высокую вершину одного из Канарских островов. Здесь мы пополнили наши запасы, набрав свежей воды и кой-чего из провизии, а к тому же отличного вина, и в большом количестве, но поскольку удобной гавани там не было, то, оберегая наше судно, сильно пострадавшее от дурной погоды и прохудившееся, мы были вынуждены удовольствоваться, чем могли, и, простояв на якоре у Канарских островов всего четыре дня, снова вышли в море.

После Канарских островов погода благоприятствовала нам, и море оставалось совершенно спокойным, пока мы не вошли в зону промера[84], как называют устье Английского канала[85], а так как дул сильный норд-норд-вест, нам дольше обычного пришлось стоять (по выражению моряков) в открытом море, у самого входа в Английский канал. И вот в утренней мгле пред нами вдруг возник двадцатишестипушечный французский корсар, или капер,

который на всех парусах пустился за нами в погоню. Наш капитан раз или два обменялся с ним бортовыми залпами, что оказалось для меня мучительным испытанием, так как никогда прежде мне не случалось наблюдать ничего подобного; подвергнув нас пушечному обстрелу, французы убили и ранили шестерых из лучших наших людей.

Короче говоря, после боя, достаточно продолжительного, чтобы мы успели прийти к убеждению, что, ежели французы не возьмут нас в плен, мы так или иначе пойдем ко дну прямо у них на глазах, ибо шансов на спасение нам не оставалось никаких, и после боя, достаточно продолжительного, чтобы не уронить честь нашего командира, мы сдались, и судно наше угнали в залив Сен-Мало[86].

Меня не очень огорчила потеря имущества, находившегося на нашем корабле, так как я знал, что у меня еще много чего разбросано тут и там по свету; однако, лишившись решительно всего, что было при мне, вплоть до одежды, сорванной с плеч моих, я не мог оставаться к этому совершенно безразличен. К счастью, кто-то сообщил капитану капера, что я являюсь пассажиром и купцом, и он пригласил меня к себе и осведомился о всех обстоятельствах; услышав из моих собственных уст, как со мною обошлись, он приказал своей команде выдать мне платье и шляпу, а также пару обуви, которую отняли у меня, и самолично предложил мне свой халат, чтобы я пользовался им, пока нахожусь на борту его корабля; следует отдать ему должное, обращался он со мною все время очень хорошо.

Но мало того, что я попал в плен, меня еще, к великому моему огорчению, задержали на борту корсара, команда которого, по моему наблюдению, вся состояла из французов; как я уже говорил, корабль их направился к заливу Сен-Мало, и, когда мы туда прибыли, я, к еще большему моему огорчению, узнал, что по дороге к Сен-Мало наше трофейное судно попало в руки английского военного корабля и его угнали в Портсмут.

После того как угнали наше судно, пират снова пустился в плавание и крейсировал какое-то время у входа в Английский канал, не встретив, однако, подходящей добычи; наконец мы увидели какой-то парусник, он оказался тоже французским и занимался тем же, что наш пират. От него мы узнали (поскольку в Англии разнесся слух, что какие-то французские корсары бороздят зону промера), что из Плимута вышли три военных английских корабля, чтобы крейсировать вдоль Канала, и что мы наверняка с ними столкнемся. Получив такое известие, французский капитан, малый отчаянно смелый, не привыкший уклоняться от опасности, берет курс норд-ост в сторону пролива Святого Георга[87] и на широте 48° с половиной, на свою же беду, встречается с большим, хорошо оснащенным английским судном, возвращавшимся с Ямайки. Дело было на заре ясного утра, матрос закричал с гротмарса: «Виден парус!» Я очень надеялся, что это окажется английский военный корабль, и по гонке и поспешным приготовлениям к сражению, какие тут же начались, заключил, что так оно и есть, а потому, желая посмотреть на него, я покинул свой гамак — отдельной каюты у меня не было. Однако вскоре я обнаружил, что расчеты мои оказались неверными, чужой корабль находился по другую сторону, ибо, направляясь на север к берегам Ирландии, он лежал теперь от нас по борту слева; когда я перебрался туда, я увидел, что наши паруса уже подняты и наполнены ветром, то есть погоня началась и мы развиваем максимальную скорость; также я заметил, что и они увидели нас и поняли, кто мы такие, и, стремясь уйти от нас, помчались на всех парусах в сторону Ирландии, чтобы найти там укрытие.

Было очевидно, что наш капер шел много быстрее ихнего, по крайней мере, вдвое, и ближе к вечеру мы настигли его; сумей он сохранять дистанцию еще хотя бы шесть часов, он успел бы войти в устье Лимерика[88] или в другом месте приблизиться к берегу, и тогда мы не рискнули бы напасть на него; итак, мы настигли его, и капитан их, увидя, что другого выхода нет, проявил отвагу, сам приказал остановиться и приготовиться к бою. Судно его было тридцатипушечное, однако оно имело слишком глубокую осадку, так как между деками находилось много товара, и матросы не могли привести в действие батарею нижней палубы, к тому же волны били изрядно высоко; наконец им все-таки удалось открыть порты и дать залп

из трех бортовых орудий. Но хуже оказалось другое: их судно, будучи слишком перегружено, двигалось неповоротливо, и французы, подскочив сбоку, открыли по его борту прямой огонь и сразу приготовились повторить его. Однако англичане занимали не худшую позицию, да и матросы их были на редкость проворны, так что, не теряя времени, они нам тут же крепко отплатили. Я видел, что еще при первом залпе французы понесли большие потери, а при следующем им пришлось и того хуже, потому что, хотя английское судно и не было столь же маневренным, как французское, оно было крупнее и надежней, и когда мы (то есть французы) снова напали на них, англичане бесстрашно ринулись на нас и, развернувшись поперек наших клюзов[89], намертво принайтовались к нам.[90] Вот тут-то английский капитан и пустил в ход батарею нижней палубы, учинив нам настоящее избиение, от которого, если б оно продлилось еще, корсарам пришлось бы совсем плохо, однако французы во главе со своим капитаном, возникавшим тут и там со шпагою в руках, с поистине замечательным проворством и отвагой быстро взялись за дело, отцепились от английского судна, баграми оттолкнулись от него и открыли сплошной оружейный огонь, так что никто из англичан не смел показаться на своей палубе. Повторяю, освободившись таким путем, мы стали борт о борт с англичанином и продолжительным обстрелом вывели его из строя, сбив начисто его бизань-мачту[91] и булинь-шпринтов[92], а кроме того, и это было самое худшее, убили английского капитана, поэтому после окончания сражения, которое длилось всю ночь (оно происходило в полной тьме) и часть следующего дня, англичане вынуждены были сдаться.

Французский капитан вежливо предложил мне спуститься на время перестрелки в трюм; как я понял, он сделал это не из одной вежливости, а не желая, чтобы я оставался на палубе, возможно, он боялся, что я воспользуюсь случаем и причиню им какую-нибудь неприятность, хотя, честно говоря, я не представлял, чего бы я мог такого сделать. Поэтому я с готовностью спустился вниз, ибо вовсе не хотел, чтобы меня убили, да еще кто — мои же соотечественники, поэтому я отправился вниз и просидел все это время рядом с хирургом. Таким образом мне представилась возможность наблюдать, как после первого бортового залпа, произведенного англичанами, вниз к хирургу принесли семь раненых матросов, а вслед за ними еще тридцать три. Следует добавить, что после того, как англичане сначала встали нам наперерез, а затем нам удалось от них отцепиться, вниз принесли еще одиннадцать раненых, так что всего французы насчитывали пятьдесят одного раненого и примерно двадцать два убитых, а англичане — восемнадцать убитых и раненых, в том числе капитана.

Однако французский капитан был в полном восторге от полученной добычи, ибо на захваченном корабле имелось несметное богатство — он вез на своем борту много серебра, и, после того как матросам разрешено было разграбить там кают-компанию, откуда они немало унесли, английский помощник капитана предложил капитану капера, при условии, что тот вернет ему свободу, показать только ему, без свидетелей, где лежат спрятанные шесть тысяч пиастров[93]. Капитан согласился на сделку и скрепил обещание отпустить его на свободу, как только они высадятся на берег, своей подписью. И той же ночью, когда часть команды ушла, как говорится, на боковую, а другая встала на вахту, наш капитан и помощник капитана с трофейного судна отправились вдвоем и без труда нашли деньги, лежавшие в специально сделанном для них тайнике. Капитан решил, пусть они там и остаются лежать до прибытия на место, а на месте он самолично препроводил их на берег, так что ни владельцы капера, ни его команда ничего из этих денег не получили, что, со стороны капитана, между прочим, было мошенничеством. Правда, находка эта, собственно, являлась выкупом помощника капитана за свободу, которую капитан вернул ему точно, как обещал, дав в придачу двести пиастров, с которыми тот вернулся в Англию, возместив этим свои убытки.

Захватив такой трофей, капитан помышлял лишь об одном, как бы благополучно вернуться с ним во Францию, поскольку того, что было на захваченном судне, с лихвой хватило бы на всю команду вместе с владельцами капера. Перечень находившегося на нем груза, согласно записям капитана, копию которых мне удалось снять, сводился к следующему:

260 больших бочек сахару
187 бочонков сахару
176 баррелей индиго[94]
28 бочонков пимиенто[95]
42 мешка ваты
80 центнеров слоновой кости
60 бочонков рома
18 000 пиастров, помимо спрятанных 6000

Несколько тюков с лекарственными растениями, черепашьими панцирями, разными сладостями в виде цукатов, шоколада и прочим весьма ценным товаром, в том числе лимонным соком.

Для английских купцов то была великая потеря и знатная добыча для пиратов, захвативших ее, но поскольку она была захвачена, как говорится, в открытом бою и в честном сражении, протеста не последовало, да и надо отдать должное, они храбро за нее сражались.

Прежде капитан не отваживался встречаться с английскими военными судами, он и теперь сохранял осторожность, так как, захватив ценную добычу, он не хотел, коли это от него зависело, снова потерять ее, поэтому он взял курс на юг и держался этого курса так долго, что я было подумал, не решил ли он идти прямиком на свою родину в Марсель. Однако, достигнув широты примерно 45° 3', он повел судно на восток, вошел в Бискайский залив, а оттуда доставил нас всех в устье реки Бордо, где при известии, что он прибыл с таким трофеем, владельцы судна, то есть хозяева капитана, собрались на берег, чтобы встретить его, и устроили на месте совет, что делать с захваченным кораблем. Само собой, деньги и часть товара они получили, а оба корабля спустя какое-то время уже бороздили океан возле берегов залива Сен-Мало, где, воспользовавшись тем, что там же крейсировали французские военные корабли, они вызвались конвоировать их до самого Уэссана.

Именно здесь, как я уже говорил, капитан наградил и отпустил на свободу английского помощника капитана, который направился оттуда морем до Дьеппа, а потом, получив паспорт, в котором значились Фландрия — Остенде[96], прямо в Англию. Как видно, капитан спешил посадить англичанина на судно, чтобы тот не открыл и другим тайну, какую открыл самому капитану.

Итак, я очутился во Франции, в городе Бордо, и в одно прекрасное утро капитан спросил меня, что я намерен предпринять. Сначала я его не понял, тогда он объяснил, что у меня есть выбор: или меня передадут в руки государства в качестве английского пленника, а значит, отправят в город Динан в Бретани, или я должен придумать способ, чтобы меня включили в список на обмен пленными, однако могу и просто внести за себя выкуп. Сперва он назначил мне сумму выкупа в триста крон.

Я не знал, как поступить, и попросил дать мне время, чтобы отослать письмо в Англию моим друзьям, которым отправил из Виргинии ценный груз, однако опасался, что вдруг он тоже может попасть в руки подобного пирата, а ежели так, мое будущее туманно. Он охотно согласился подождать, я отправил по почте письмо и, к моей радости, получил ответ, что судно, на котором сначала плыл я сам, было отбито англичанами и отправлено в Портсмут: я боялся, что это известие заставит моего нового господина строже обращаться со мной и, чего доброго, еще покажется ему оскорбительным, однако он ничего не сказал мне по этому поводу, хотя, как выяснилось впоследствии, уже знал об этом.

Тем не менее для меня это известие явилось поддержкой и помогло мне даже больше, чем простая возможность заплатить выкуп капитану, так как мой лондонский агент, узнав, что я остался жив и нахожусь в Бордо, тут же прислал мне аккредитив на имя одного английского негоцианта в Бордо, которым я мог в любое время воспользоваться. Получив его, я отправился

сразу к этому негоцианту, чтобы он его засвидетельствовал, и он сказал мне, что я могу взять по нему денег, сколько мне будет надо. Теперь у меня имелся друг, не то что прежде, когда я был новичком в этих местах и не знал, что предпринять, и этому другу я мог рассказать о своих делах и попросить у него совета. Как только я описал ему мое положение, он воскликнул:

— Постойте, коли такое дело, я, быть может, сумею найти способ освободить вас без выкупа.

Как выяснилось, одно судно, возвращавшееся в Мартиники домой во Францию, потерпело поражение возле мыса Финистерре от английского военного корабля, и в Плимут доставлен пленником некий купец, севший на него в Ла-Рошели. Друзья этого человека забросали всех просьбами: учитывая его бедность, из-за которой он не мог заплатить за себя выкуп, обменять его на другого пленного. Мой новый друг намекнул мне об этом и посоветовал не спешить с выплатой денег капитану, а сделать вид, что из Англии все еще нет вестей. Так я и поступил, пока капитан не стал проявлять нетерпение.

Некоторое время спустя капитан заявил мне, что я веду с ним нечестную игру, что я заставил его ждать выкупа и поэтому он хорошо со мной обращался и даже вошел в расходы, чтобы помочь мне, а я держу его в неопределенности; короче говоря, если я не вручу ему деньги, он через десять дней отошлет меня в Динан, где я стану пленником короля, пока меня на кого-нибудь не обменяют. Мой друг негоциант подсказал мне выход, и по его совету я ответил капитану, что очень тронут его учтивостью и огорчен, что ему не с кого будет получить все, что он потратил на меня, тем не менее я обнаружил, что друзья меня забыли, и я просто не знаю, как поступить, а потому, не желая больше вводить его в заблуждение, я вынужден согласиться на то, чтобы меня отправили в Динан или куда он еще сочтет нужным, однако, если мне случится когда-нибудь вырваться на свободу и вернуться в Англию, я не премину возместить ему все расходы на мое содержание; в общем, я расписал ему мое положение в самых черных красках. Он только покачал головой и ничего не сказал, а на другой день включил меня в список пленных англичан, предоставляемых по предписанию местных властей в распоряжение короля с тем, чтобы отправить их в Бретань.

Таким образом я уже вышел из-под власти капитана, и негоциант вместе с двумя другими купцами, которые были хорошо знакомы с тем купцом, что содержался пленником в Плимуте, тут же отправились к властям и добились разрешения на обмен; причем мой друг еще дал поручительство, чтобы меня непременно отпустили, на случай если того купца почему-либо задержат. Мне тотчас вернули свободу, и мы отправились к нему домой.

Вот как мы обвели капитана вокруг пальца и не заплатили выкупа, однако мой друг пошел к нему и сообщил, что по приказу местных властей меня обменяли на другого пленного, а также уплатил ему все расходы, какие тот счел нужным определить за мое содержание. Тут уж капитану не пришлось возражать или требовать хоть какого выкупа.

На борту французского судна я совершил оттуда путешествие в Дюнкерк и, вместо документа об обмене пленными, выданного мне в Бордо, получил паспорт на въезд в испанские Нидерланды[97], куда мне и надо было.

И вот в апреле… года я отправился в Гент[98], откуда наши армии как раз готовились выступить в поход. У меня не было предубеждения против военной службы, только я полагал, что я поднялся уже выше этого и должен стремиться к иной жизни, ибо, по моему мнению, в поход может отправляться только тот, кому нельзя оставаться у себя на родине, и все же я решил хоть одним глазком взглянуть на военные действия. Для этого я свел знакомство с одним английским офицером, квартировавшим в Генте, и сообщил ему свое намерение, на что он предложил мне идти с ним, обещав свое покровительство, как волонтеру, с тем чтобы я расположился в его ставке, жил, как мне вздумается, а буду носить оружие или нет, это как сочту нужным.

Кампания оказалась не из трудных, и мне посчастливилось близко наблюдать несение военной службы, не подвергая себя особому риску. Решающих битв мне, конечно, увидеть не пришлось, так как в эту кампанию сражений вообще было не так уж много; результатов кампании для той и другой стороны я не знал, и поскольку в спорах на эту тему не участвовал, то мысли мои и не были обременены всем этим. Королем Англии стал принц Оранский[99], так что все английские войска были на его стороне, и мне пришлось услышать немало ругательств и проклятий в адрес короля Вильгельма; что же до военных успехов, я сам не раз видел, как французы побеждали наших, и полк моего нового приятеля был окружен в одной деревушке, где он квартировал. Не знаю, из-за чего было сражение, но все в результате попали в плен; мне повезло, что я не считался на службе и не принадлежал к командному составу, а посему отправился в тот самый день оглядеть окрестности; это было моим любимым занятием — осматривать укрепленные города и любоваться их прекрасными фортификациями, и пока я развлекался таким образом, я счастливо избежал случая попасть в плен к французам.

Вернувшись, я обнаружил, что город захвачен врагом, но я не был солдатом, и они меня не тронули, а так как в кармане у меня лежал французский паспорт, они разрешили мне проследовать в Ньюпорт[100], откуда на пакетботе я отплыл в Англию, но только вместо Дувра приплыл в Диль[101]. Погода заставила нас встать на рейде Даунс[102], на том и окончилась моя короткая кампания и вторая моя попытка приобщиться к военной службе.

По прибытии в Лондон я был прекрасно принят моим другом, которому я препоручил все мое состояние, и нашел, что дела мои сложились как нельзя более удачно, так как весь мой товар, о котором говорилось выше, посланный в его распоряжение на разных судах, благополучно прибыл к нему, а, кроме того, мои управляющие в разное время погрузили на суда еще четыреста кип табака, то есть весь урожай с моих плантаций, полученный за время моего пребывания за границей, и отправили его в мое отсутствие моему лондонскому агенту. Таким образом, на руках у моих агентов оказалось более тысячи фунтов, да еще оставалось непроданных двести кип табака.

Отныне у меня не было иной заботы, кроме как скрываться от друзей моего детства, однако это не составляло никакого труда, ибо они давно уже потеряли меня из виду, да и я, со своей стороны, тоже давно потерял их след. Мой Капитан, который уплыл вместе со мной, вернее, увлек меня за собой, по сведениям, собранным мною, долго скитался по свету, вернулся в Лондон, снова занялся своим излюбленным ремеслом, которое не мог забыть, и, став знаменитым разбойником, после четырнадцати лет на редкость изощренных и удачливых грабежей, подробное описание коих (как я уже говорил) составили бы восхитительную историю, кончил свой век на виселице. Другой мой брат Джек, которого я звал Майором, избрал тот же порочный путь, однако, будучи от природы человеком более благородным и великодушным, совершал преступления менее вопиющие и действовал так умело, что каждый раз ему удавалось вовремя улизнуть, пока он все-таки не угодил в Ньюгет, где его заковали в кандалы и, без сомнения, отправили бы туда же, куда и Капитана, если бы он не был столь ловким мошенником, которого никакая тюрьма, ни кандалы не могли удержать. И вот еще с двумя узниками ему удалось сбить кандалы и буквально пройти сквозь стены тюрьмы, так что однажды ночью они оказались уже за ее пределами и, совершив побег, сумели перебраться во Францию, где он продолжал заниматься тем же делом, причем так успешно, что прославился под именем Антони и вместе еще с тремя своими коллегами, которых он обучил, что называется, воровать по-английски, то есть никого не калеча и не убивая, словом, не прибегая к насилию, удостоился чести быть колесованным на Гревской площади[103] в Париже.

Мне удалось разузнать про них все подробности и получить полный отчет об их судьбе от их же дружков, которым посчастливилось избежать подобной участи, причем я сумел заполучить все сведения, не дав им никакой возможности догадаться, кто я такой и зачем мне это нужно знать.

Итак, ныне я достиг вершины благополучия; в самом деле, обстоятельства мои сложились наилучшим образом, ибо, проявив с самого начала бережливость, я постепенно увеличил мое состояние, хотя и жил довольно широко. Так или иначе, за мной установилась репутация весьма почтенного купца, разбогатевшего в Виргинии, а поскольку я часто оформлял разным лицам поставки, о коих они просили меня в своих письмах, то, повторяю, за мной и утвердилась слава процветающего купца.

Жил я один, снимал квартиру, и хотя я приобрел известность, тем не менее в моих частных корреспонденциях я все еще подписывался просто Джек, однако французы, среди которых я (как уже говорил ранее) прожил что-то около года, не могли понять, что такое Джек, и называли меня то мосье Жак, то Полковник Жак, а потом уж только Полковник Жак: так было записано в документе, подтверждавшем, что меня обменяли на другого пленника; под таким именем я отправился во Фландрию, по этой же причине, а также руководствуясь документами об обмене (о котором говорилось выше), меня стал величать Полковником Жаком и мой друг из Англии, которого я назвал моим агентом. Таким образом меня приняли здесь за иностранца, за француза, и я был несказанно доволен, что все считают меня французом. По-французски я говорил свободно, ибо изучил этот язык, проведя среди французов немало времени, а потому, живя в Лондоне, я постоянно посещал французскую церковь и вообще старался по любому возможному поводу изъясняться по-французски, чтобы утвердить о себе мнение, что я француз. Я нанял слугу-француза, чтобы он вел мои дела, я имею в виду торговые, которые сводились лишь к получению и продаже табака, — мне присылали его тогда с моих плантаций примерно пятьсот — шестьсот кип в год, — а также к отправке моим помощникам всего необходимого, о чем они просили.

Такую уединенную жизнь я продолжал вести еще примерно в течение двух лет, когда сам дьявол, затаивший зло против меня за то, что я отказался остаться вором, не надумал отплатить мне, и с лихвой, расставив на моем пути сети, в коих я чуть было не запутался окончательно.

В доме напротив того, где я поселился, проживала одна дама, внешности необычайно привлекательной, одевалась она тоже превосходно — словом, была истинной красавицей; она была хорошо воспитана, прекрасно пела, порою до меня совсем явственно доносился ее восхитительный голос, так как дома наши стояли лицом к лицу в довольно тесном дворе, чем-то напоминавшем Двор Трех Королей на Ломбард-стрит.

Эта дама так часто попадалась мне на глаза, что сама вежливость требовала оказывать ей признаки внимания и приветствовать, сняв шляпу, когда я замечал ее в окне, либо в дверях ее дома, или во дворе, — словом, как говорится, у нас завелось шапочное знакомство. Случалось, она навещала кого-то в доме, где я проживал, и как-то всегда так ловко выходило, что я попадался ей на глаза; таким образом, постепенно мы познакомились ближе и часто даже вели непринужденную беседу, но почти всегда на людях.

В любовных делах я был сущим юнцом, и, должно быть, во всей Европе не нашлось бы второго мужчины, который в моем возрасте так плохо бы разбирался в женщинах. Мысль о женитьбе, тем паче о любовнице, никогда мне даже в голову не приходила, — словом, до последнего времени я имел такое же представление о прекрасном поле и проявлял столько же интереса к женщинам, как в десятилетнем возрасте, когда я проводил свои ночи в теплой золе на стекольном заводе.

Уж не знаю, чем околдовала меня эта женщина, то ли разговорами, то ли тем, что несколько раз почтила меня своим вниманием, не знаю как, но я попал в подстроенную ею ловушку, не ведая, к чему это может привести. Она внесла в мои мысли вдруг полное смятение, словно приворожила меня, и я ни о чем другом не мог думать. Конечно, не будь она одной из самых изощренных женщин на свете, ей бы никогда не удалось так околдовать меня, но чары ее были столь велики, что перед ними не устоял бы и более искушенный человек.

Она преследовала меня беспрерывно, пользуясь всевозможными хитростями и уловками, которые не оставались бесплодными; она постоянно находилась у меня на виду (так уж получалось), бывала приглашена в то же общество, что и я, однако держалась всегда очень строго, и окружала себя надежной защитой; в течение нескольких месяцев после того, как она могла заметить, что я ищу случая поговорить с ней, она все еще избегала этой возможности и всегда была настороже, так что я никак не мог застать ее врасплох.

Такая чопорность поведения казалась непостижимой загадкой, ибо при этом она не уклонялась от встреч со мной и разговоров, но только на людях, однако она строго придерживалась своих правил, никогда не позволяла себе сесть рядом со мной, чтобы я мог вручить ей незаметно записку или что-то шепнуть на ухо; по ее воле всегда кто-нибудь находился между нами, и я не мог к ней приблизиться. Так она морочила меня в течение нескольких месяцев, словно твердо решила держать меня в отдалении.

Однако все это время у нее, несомненно, была одна цель: завладеть мною, поймать меня; вся ее политика, скорее всего, походила на охоту, ибо, заманивая меня, она выказывала такое явное пренебрежение, что просто невозможно было не обмануться. А с другой стороны, она не производила впечатления женщины недостойной или бедной, которой бы требовалось столько уловок, чтобы завоевать мужчину; пожалуй, обманщиком невольно оказался я сам, ибо, на беду, ей сообщил кто-то, что я преуспевающий купец, что у меня несметные богатства и что она заживет со мной, как королева, я же вовсе не хотел завлекать ее своим богатством и никак не думал, что именно на него она польстится.

Она оказалась слишком хитра, чтобы я мог заметить ее доступность, напротив, она даже шла на риск и заставляла меня тщательно избегать ее; кто бы только мог предположить, что женщина способна на это? И часто впоследствии я задавал себе вопрос, как же все-таки случилось, что я не проникся к ней отвращением, ибо, испытывая полное равнодушие к особам прекрасного пола, я до последнего времени вообще не удостаивал их вниманием и лишь любовался ими, как любуешься картиной, висящей на стене, не более.

Поскольку мы свободно беседовали с нею на людях, она пользовалась каждым удобным случаем, чтобы посмеяться над мужчинами, над их слабостью, из-за которой они часто позволяют женщинам оскорблять их. Она считала, что не будь все мужчины глупцами, супружество обернулось бы обыкновенным мирным договором между двумя людьми или оборонительным союзом, который неизбежно поддерживался бы иногда с помощью встреч и личных переговоров, однако гораздо чаще через посланников, поверенных или агентов обеих сторон. Но женщины оказались хитрее и поставили нас на колени, они заставляют нас вздыхать и унижаться для того только, чтобы мы вовсе отказались от надежды добиться между нами равенства.

Я признался ей, что считаю простой любезностью по отношению к даме предоставить ей возможность сначала отказать, чтобы потом ее расположения искали, и что касается меня, то я бы не охладел к женщине только оттого, что она мне отказала.

— Я примирюсь с этим, мадам, когда приду к вам завтра с визитом, — сказал я, сообщив ей таким образом о своем желании.

— Придется примириться, сэр, — сказала она, — ибо я отказываю вам уже сейчас, еще не услышав вашего предложения.

Я был так сражен столь беспощадным, поистине сатанинским ответом, что не без горечи заметил:

— Не смею злоупотреблять вашим доверием, мадам, и впредь постараюсь вам не докучать.

— Что ж, это знак самого глубокого уважения ко мне с вашей стороны, сэр, мне это очень приятно во всех отношениях, за исключением одного: я не должна терять надежды, что смогу вас в скором времени вернуть.

— Я к вашим услугам, мадам, в любое время и в первую очередь во всем, что касается предмета нашего разговора, — произнес я все еще с чувством искренней обиды.

— При одном условии, сэр, если вы пообещаете дарить меня такой же искренней ненавистью, какой я надеюсь ответить вам.

— Я уже выполнил это требование, мадам, еще за семь лет до вашей просьбы, — сказал я, — обо всем сердцем возненавидел женщин, и просто диву даюсь, откуда у меня взялось такое благорасположение к любезному разговору с вами. Однако, заверяю вас, оно столь преходяще, что ничуть не воспрепятствует удовлетворению вашей просьбы.

— Это поистине загадочно, сэр, — согласилась она, — а я-то мечтала, что мне придется прилагать особые усилия, чтобы вызвать у вас отвращение к женщинам, и надеялась, что под моим руководством оно уже никогда не пропадет.

После того мы обменялись еще тысячью колкостей, но она меня превзошла, так как бог наградил ее на редкость злым языком, — ни одной женщине не перещеголять ее. И тем не менее в продолжение всей нашей беседы она была сама прелесть, сама любезность и вовсе не думала того, что говорила, ни одно слово ее не было правдой. Однако, должен признаться, хитрость ее не удалась и только охладила мои чувства к ней, поскольку всю свою жизнь я оставался совершенно равнодушен к прекрасному полу, с легкостью вернулся к этому своему состоянию и отныне выказывал ей привычную холодность и невнимание.

Она вскоре заметила, что зашла слишком далеко, иными словами, что ее политика не оправдывает себя, так как на этот раз она столкнулась с человеком, которому еще не доводилось играть роль вздыхателя и который еще не знает, как можно одновременно поклоняться возлюбленной и унижать ее; я не принадлежал к числу тех влюбленных, которых холодность только подогревает, возбуждая страсть, какую дама его сердца в конце концов вознаграждает. Вышло все иначе, и она сама вынуждена была признать, что я по-прежнему держался с нею любезно, однако пылкости уже не проявлял, когда замечал ее в окне спальни, не распахивал своего окна, чтобы побеседовать с нею; мне было хорошо слышно, когда она пела в своей гостиной, но я ее не слушал; когда она приходила с визитом в наш дом, я не всегда спускался вниз, а если и спускался, то спешил придумать предлог для отлучки, и все же, находясь в ее обществе, я всегда разговаривал с ней.

Мне не составляло труда заметить, что поведение мое бесит и немало озадачивает ее, потому теперь она сама убедилась, что должна начать всю игру сначала, ибо перестаралась, вызвав столь полную сдержанность, доходящую даже до резкости и неучтивости. Однако в делах любви она была мастерицей, и ей ничего не стоило принять на себя любую личину.

Но ей хватило мудрости не выказывать влюбленности или заинтересованности, которая могла быть истолкована, как уступчивость, она знала, что женщине, если она не хочет оказаться под башмаком у мужчины, которого домогается, уступчивость надо проявлять в последнюю очередь. Влюбленность женщины еще не гарантирует мужчине победы; и все-таки она свидетельствует о многом, не скрывая ее, женщина как бы признает себя побежденной и отдается во власть мужчины, которому показала свою влюбленность. Однако она не сделала этого. Этот хамелеон в юбке принял иную окраску, она вдруг напустила на себя такой серьезности и величественной важности, превратившись сразу в гранд-даму, словно на глазах постарела и сменила свои двадцать два года на пятьдесят; она так выгралась в свою роль, что никто бы не подумал, будто она притворяется, если же это было притворство, то весьма натуральное, и распознать его было невозможно. Она часто пела у себя в гостиной одна или с двумя молодыми дамами, навещавшими ее. Я мог догадаться, что она поет, так как видел ноты и гитару в ее руках, но окна она никогда больше не открывала, нет, обычно оно было закрыто, а если вдруг распахивалось, я видел, как она сидит за работой, не поднимая головы, разве что однажды в полчаса.

Если мы случайно встречались с ней, она по-прежнему улыбалась и весело со мной говорила, но одно-два слова, не больше, тем самым оказывая мне честь, и тут же уходила, то есть наши беседы протекали, как в самом начале, когда я только поселился там и успел прожить всего неделю.

Мне надоело все это терпеть, и хотя я первый стал проявлять к ней равнодушие, однако не намерен был заходить так далеко в нашем отчуждении; но она держалась стойко до конца, и все в том же духе. Она по-прежнему являлась в дом, где я снимал комнаты, мы часто бывали вместе, вместе ужинали и играли в карты, танцевали, ибо еще во Франции я позаботился о том, чтобы в совершенстве овладеть всеми искусствами, что, как мне казалось, отличало урожденного дворянина, коим я считал себя с детских лет. Повторяю, мы разговаривали совсем как раньше, однако тон и манеры ее так переменились, что мне даже пришло на ум, что прежнее ее поведение было напускным и притворным, — то ли внезапным приступом ветрености, то ли попыткой подражать местным кокеткам, чтобы произвести на меня впечатление, так как она принимала меня за француза и считала, что мне должно это нравиться. Теперешняя ее серьезность, казалось, отражала ее истинный характер и шла ей много больше, или, вернее, она разыгрывала ее так хорошо, что заставила меня снова обратить на нее внимание, не так чтобы очень, но все же больше, чем раньше.

И все же много времени утекло, прежде чем я открылся ей, мне все хотелось по возможности выяснить, является эта перемена естественной или притворной, так как я с трудом мог поверить, что веселость, какую она обычно выказывала, всего лишь притворство, поэтому минуло более года, пока я мысленно составил себе о ней хоть сколько-нибудь определенное мнение и когда по чистой случайности нам удалось поговорить наедине.

Как обычно, она явилась в наш дом с визитом, и так случилось, что все дамы куда-то вышли, а я оказался в коридоре или, вернее, у входной двери и направлялся к лестнице, когда она постучалась; я вернулся и отворил дверь; она, не смущаясь, вошла и быстро направилась в гостиную, как будто полагая, что дамы находятся там, я вошел следом за ней — иного мне не оставалось, — однако она прекрасно знала, что вся семья отсутствует.

Когда я вошел, она осведомилась, где дамы, в ответ я выразил надежду, что в этот раз она пришла с визитом ко мне, поскольку все дамы отсутствуют.

— Ах, в самом деле? — сказал она, притворяясь удивленной (хотя, как я выяснил позднее, она знала об этом заранее точно так же, как о том, что я был дома), и поднялась, чтобы уходить.

— Не уходите, сударыня, — сказал я, — прошу вас. Если дамы приходят ко мне в гости, обычно я не так уж быстро наскучиваю им своим обществом.

— В вашей самоуверенности я не сомневалась — сказала она, — но не делайте, пожалуйста, вид, будто я пришла к вам. Я-то знаю, к кому я пришла, и уверена, вы тоже знаете.

— Конечно, сударыня, — сказал я, — но раз уж так случилось, что я один дома, значит, вы пришли ко мне.

— А вот я никогда не принимаю тех, кого ненавижу, — сказала она.

— Что ж, ваша взяла, — заметил я, — однако вы никогда не давали мне разрешения сказать, почему я вас ненавижу. А я ненавижу вас оттого, что вы не хотите предоставить мне случай сказать вам, что я вас люблю. Неужели вы считаете меня таким чудовищем, что боитесь приблизиться ко мне и тем самым лишаете меня возможности шепнуть вам, что я вас люблю?

— Мне противно слушать такие слова, — сказала она, — даже когда их произносят шепотом.

В таком духе мы обменивались колкостями, наверное, час, в течение которого она проявила неистощимое остроумие, а я полное отсутствие оного, и хотя она три или четыре раза совершенно выводила меня из себя и я готов был уже заявить ей, что сыт ее обществом

по горло и, если она позволит, могу проводить ее до дверей, она была столь искусна в беседе, что каждый раз выворачивалась. Короче, наконец мы заговорили серьезно, и заговорили о браке: я сделал ей предложение, а она откровенно высказала мне, что ее останавливает. Во-первых, она спросила, не собираюсь ли я увезти ее во Францию или в Виргинию, ибо она даже думать не может о том, чтобы покинуть свою родную Англию. На это я ответил, уж не принимает ли она меня за киднеппера? Между нами, я, разумеется, ничего не сказал ей о том, как сам стал жертвой киднепперов. Она отвечала, конечно, нет, но разные дела, которые, судя по всему, связаны в основном с заграницей, могут потребовать моего отъезда, а она не собирается выходить замуж за человека, с которым ей потом придется ездить по всему свету, если ему будет в том необходимость. Что ж, это было высказано весьма изящно, но я поспешил успокоить ее на этот счет, и мы перешли к главной теме нашего разговора, в который она втянула меня с удивительным искусством и свойственной ей ловкостью, дававшими ей явное преимущество в наших переговорах о браке, ибо она заставила меня ее домогаться, тогда как на самом деле это она меня домогалась, но таково было ее умение, что до последнего момента никто не мог заглянуть ей под маску.

Одним словом, каждая наша встреча все больше сближала нас, и после еще одного визита, когда я был удостоен великой милости говорить с нею наедине, я стал навещать ее у нее в доме, или, вернее, на квартире, которую она снимала, и мы, все обсудив и подготовив, примерно через месяц бросили вызов свету и тайно обвенчались, так как не хотели ни торжественной церемонии, ни беспокойств, связанных со свадьбой.

Вскоре нашелся для нас и подходящий дом, в котором мы поселились и зажили своей семьей. Мы прожили вместе не так уж долго, когда я обнаружил, что к моей жене вернулся ее веселый нрав, она сбросила маску серьезности и благонравия, которые я так долго принимал за свойства ее натуры, и, не имея больше оснований таиться, решила, что пора стать самой собой, то есть сумасбродкой, легкомысленной, распутной особой, нимало не заботящейся о том, чтобы скрывать даже самые неблаговидные свои поступки.

В своем легкомыслии она преступала все границы, и я был весьма недоволен последствиями, ибо она водила компанию, какую я не одобрял, и жила не по средствам, я имею в виду — не по моим средствам. Иногда она проигрывала в карты больше, чем я согласен был оплачивать, и однажды я даже выбрал удобный момент, чтобы намекнуть ей на это, так, невзначай; я сказал ей как бы в шутку: «Что ж, пока можно, будем жить весело», — но она тут же резко парировала:

— Что вы имеете в виду, уж не хотите ли вы заявить, что вас что-то тревожит?

— Нет, что вы, сударыня, нисколько, — отвечал я, — вы сами понимаете, это совсем не мое дело — интересоваться, какие расходы у моей жены и не тратит ли она больше, чем я могу оплатить, но есть один пустяк, какой мне хотелось бы знать: сделайте милость, скажите, сколько приблизительно времени вам потребуется, чтобы отправить меня на тот свет, ибо мне не хотелось бы умирать слишком медленной смертью.

— Не понимаю, о чем вы толкуете, — сказал она, — вы можете умирать как вздумаете, медленно или быстро, когда придет ваш час, я, во всяком случае, не собираюсь вас убивать, уж поверьте.

— Да, но вы обрекаете меня на голодную смерть, сударыня, — сказал я, — а голод — это смерть такая же медленная, как при колесовании.

— Я обрекаю вас на голодную смерть? Да разве вы не процветающий виргинский купец и разве я не принесла вам в приданое полторы тысячи фунтов. Что вам еще надо? Я думаю, этого достаточно, чтобы содержать жену?

— О, конечно, сударыня, я могу содержать жену — жену, но не игрока в кости! Хотя вы мне и принесли полторы тысячи фунтов годового дохода, однако на карты и кости никакого состояния не хватит.

Услышав это, она вспыхнула и подняла крик; словом, после множества горьких упреков, она объявила мне, что не видит причины менять свое поведение, что же касается того, могу или не могу я содержать жену, то вот когда больше не смогу, тогда она сама найдет способ содержать себя.

Некоторое время спустя после нашей первой стычки она доверительно сообщила мне, что ждет ребенка. Поначалу я было обрадовался, надеясь, что это несколько укротит ее безрассудство, но ничто не изменилось, напротив, аппетиты ее лишь разыгрались, для ребенка покупалось такое приданое, что очень скоро я понял, что она недалека от полного безумия, и в один прекрасный день набрался храбрости и сказал ей, что она вот-вот пустит нас по миру; я просил ее понять, что такие траты нам не по средствам, да и не соответствуют нашему положению. Одним словом, я заявил ей, что не могу позволить ей делать такие расходы, что если так будет продолжаться, то второй, а за ним, может быть, третий ребенок меня окончательно разорят, и посоветовал ей взвешивать свои поступки.

Она отвечала мне с видом откровенного презрения, что не ее забота думать о подобных вещах, что если я не могу ей позволить такие траты, то она сама себе их позволит, и тогда пусть я пеняю во всем на себя.

Я умолял ее хорошенько подумать и не доводить меня до крайности, помнить, что я женился на ней, чтобы любить ее и заботиться о ней, и хотел бы относиться к ней как к доброй жене, но вовсе не собираюсь из-за нее разориться и погибнуть в нищете. Но ничем нельзя было ее урезонить, никакие просьбы, чтобы она стала скромней, не помогали, напротив, она приняла их в штыки — как это я, видите ли, осмелился командовать ею? — и обрушила на меня целый поток слов, заявив, что я должен разделить с ней ее тяжкое бремя, а если мне это не нравится, она сама позаботится о себе и часу не останется больше со мной, она никому не позволит собой командовать и так далее все в том же духе.

На это я возразил ей, что ребенок, которого она назвала тяжким бременем, для меня совсем не бремя, что же до остального, она может поступать, как ей заблагорассудится, для меня и то будет уже облегчением, если не придется больше думать о родильных приютах, стоимостью в сто тридцать шесть фунтов, без которых, как выясняется, она никак не может обойтись. В ответ она сказала, что напрасно я так в этом уверен, что не придется, но если не придется думать мне, так придется кому-нибудь еще, как она надеется. «Воля ваша, сударыня, — сказал я, — тогда тот, кому придется думать о родильных приютах, и будет содержать детей». В этом я тоже напрасно уверен, заявила она, обернув все в шутку и таким образом высмеяв меня.

Должен признаться, этот наш разговор сильно рассердил меня, мало того, дальше следовало продолжение и не раз, а слишком часто, пока, наконец, мы не пришли к решению расстаться.

Сами переговоры были отвратительны; она требовала себе содержание и называла сумму порядка трехсот фунтов в год, а я требовал от нее гарантии, что она не введет меня в долги; она настаивала, чтобы я содержал ребенка, выпрашивая на это еще сто фунтов в год, а я, в свою очередь, просил ее обещать, что мне придется содержать еще каких-нибудь детей, которых она с кем-нибудь приживет, как она мне сама угрожала.

Меж затянувшихся споров она разрешилась от тяжкого бремени (как она называла это) и родила мне сына, прелестнейшего ребенка.

Лежа в родильном приюте, она, казалось, готова была уступить и снизить требуемую сумму, правда, на самую малость, — так, с большим трудом и после долгих уговоров она согласилась на комплект детского полотняного белья за пятнадцать фунтов, вместо комплекта за тридцать, какой хотелось ей, да и это она представила как исключительное свидетельство ее великого снисхождения и вынужденную уступку моей скупости, как она сказала.

Однако стоило ей оправиться, как все пошло по-старому, она дала себе волю и пустилась во все тяжкие: к ней стали приходить в гости определенного сорта мужчины, что мне было отнюдь не по нраву, а однажды она и вовсе пропадала всю ночь. На другой день, когда она вернулась домой, то первым делом сама подняла крик, а уж потом объяснила мне, где, по ее словам, она ночевала, — сказала, что была на крестинах, после которых для гостей был устроен пир, и все допоздна засиделись, а если я недоволен объяснением, могу сам разузнать обо всех подробностях, где она спала и все такое. На это я сухо заметил ей:

— У вас есть полное основание предполагать мое недовольство, сударыня, другого вы и ждать не могли, что же до того, чтобы мне идти в ваш притон и расспрашивать там, нет уж, увольте. Это вы должны представить доказательства вашего добропорядочного поведения и рассказать, где и с кем вы провели ночь, а мне достаточно и того, что вы не ночевали дома, не предупредив об этом мужа и не испросив его согласия, так что прежде, чем продолжать разговор, я должен получить от вас исчерпывающее объяснение.

Она в сердцах ответила, что ей совершенно безразлично, как я к этому отношусь, но раз я злюсь, что она при таких особых обстоятельствах осталась ночевать у друзей, то она предупреждает меня, что и впредь будет поступать точно так же и что придется мне с этим примириться.

— Прекрасно, сударыня, — сказал я, — коли мне приходится мириться с тем, чего допустить я не могу, то и вы должны будете примириться, если двери дома окажутся запертыми днем для тех, кто отсутствует по ночам.

Она пообещала испытать меня в ближайшем будущем, и если я закрою перед нею дверь, она найдет способ заставить меня открыть ее.

— Ах так, сударыня, — сказал я, — вы мне еще и угрожаете, но я бы посоветовал вам сначала подумать, прежде чем решиться на подобный шаг, ибо я свое слово сдержу.

Так или иначе, долго такая жизнь продолжаться не могла, тем более что я выяснил, какую компанию она водила, и убедился, что она избрала путь, который мне никак нельзя было одобрить; по этой причине я первый решил разойтись и перестал делить с ней ложе. Мы и так уже прекратили всякие отношения, как муж и жена, еще два месяца назад, и я прямо ей заявил тогда, что не намерен считаться отцом всяких выродков, которым не я дал жизнь. Шаг за шагом дело зашло так далеко, что сохранять наш союз стало невозможным, и как-то днем она ушла, оставив мне короткую записку, в которой писала, что наши отношения слишком осложнились, что она не хочет доставить мне удовольствие выставить ее за дверь, а поэтому покидает меня и переезжает туда-то — она назвала имя своей родственницы, такой же бесстыдницы, как она сама, — и что она надеется, я не заставлю ее возбуждать судебное дело, чтобы получить от меня денежную поддержку, как это обычно водится, а когда у нее возникнет необходимость, она будет присылать мне чеки для оплаты и думает, я ей не откажу.

Я был крайне доволен таким оборотом дела и постарался дать ей об этом знать, однако на письмо прямо не ответил, и, поскольку я еще раньше принял меры предосторожности, чтобы, в случае если она снова сыграет со мной такую же шутку, ей бы не удалось многим у меня поживиться, я, как только она ушла, немедленно расторг договор о найме дома, продал с аукциона всю мебель и в первую очередь вещи, принадлежавшие ей, и повесил на дверь акт о распродаже, чтобы она поняла наконец, что перешла Рубикон[104] и, поскольку совершила этот шаг по своей доброй воле, шансов на возвращение у нее никаких не осталось.

Поверьте, я бы никогда не сделал так, если бы надеялся, что она изменится к лучшему, но она сама выказала такую явную холодность к своему мужу и одновременно такую оскорбительную доступность, что восстановление наших отношений было уже невозможно. Однако у меня имелись два надежных агента из ее ближайшего окружения, так что я неукоснительно получал полный отчет о ее поступках, при этом не сообщая ей ничего о себе, кроме того, что уехал во Францию; что же до чеков, которые она обещала мне пересылать,

она сдержала свое обещание и прислала один на тридцать фунтов, который я оставил неоплаченным, навсегда отбив у нее охоту впредь беспокоить меня.

По правде говоря, все это оказалось весьма печальной страницей моей жизни, так как, хотя она вела себя в высшей степени вызывающе и постоянно меня оскорбляла, я все-таки никак не мог прийти к твердому решению расстаться с нею, ибо искренне любил ее, и вынес бы через нее что угодно, но стать нищим и рогоносцем я не мог, мне это казалось совершенно нестерпимым, тем более что от меня этого требовали в такой обидной и грубой форме.

Но моя жена своим поведением сама подготовила наш разрыв, чем облегчила мне дело; через год с небольшим после того, как мы расстались, она опять спуталась с той же компанией, считая ее вполне подходящей для себя, и забеременела; правда, отдавая дань ее честности, следует сказать, что она и не пыталась свалить вину на меня. Какую жалкую жизнь она влачила потом, до какой ужасной нужды и страданий она довела себя, я расскажу позднее.

Вскоре же после нашей разлуки я обнаружил, что поступил очень разумно, проявив с самого начала твердость и не попав в зависимость от нее: мне тут же стало известно, что она понаделала долгов, и на весьма солидную сумму; предполагалось, что я должен их оплачивать, однако я находился в отсутствии, и это было очень кстати, так что ей, хочешь не хочешь, пришлось расплачиваться из своих собственных сомнительных доходов. Как бы там ни было, большую часть долгов она уплатила сама.

Как только ребенок родился, о чем я был своевременно осведомлен моими агентами, я возбудил против нее дело в церковном суде, чтобы получить развод, и когда она убедилась, что избежать его нельзя, она отказалась от защиты, и я выиграл дело, получив в положенное время, что называется, законное свидетельство о разводе. Отныне я снова почувствовал себя свободным человеком, который сыт по горло супружеским счастьем.

Я вынужден был жить уединенно, так как знал, что она влезла в долги, которые мне бы пришлось оплачивать, и я твердо решил как можно скорее исчезнуть с ее горизонта; однако я с нетерпением ждал, когда придут суда из Виргинии, поскольку должен был получить с ними не менее трехсот кип табаку, которые, я был уверен, восполнят все мои потери, связанные с неудачным браком, ибо три года расточительной жизни с этой женщиной весьма заметно сократили мое состояние, съев много больше, чем составляло ее приданое, довольно значительное, но все же не достигавшее полутора тысяч фунтов, как она говорила.

Оказалось, что неприятности, которыми наградил меня мой брак, еще не кончились; так, примерно через три месяца после того, как мы с нею разошлись и я отказался платить по ее чеку тридцать фунтов, о чем уже упоминалось, и несмотря на то, что я уже съехал с новой моей квартиры и полагал себя в полной недосягаемости для нее, а значит, в безопасности, в один прекрасный день ко мне явился хорошо одетый господин; его впустили раньше, чем дали мне об этом знать, иначе я бы вряд ли его принял.

Его ввели в гостиную, и я спустился к нему в халате и домашних туфлях; когда я вошел в комнату, он обратился ко мне по имени, как старый друг, словно мы были знакомы лет двадцать, и, вытащив свой бумажник, показал мне чек на тридцать фунтов, который я раньше опротестовал.

— Сэр, — говорю я, — мне уже предъявляли этот чек, и я тогда же дал свой ответ.

— Ответ! — воскликнул он с презрительной усмешкой. — Не возьму в толк, о каком ответе вы говорите, сэр, никакого вопроса вам и не задавали, сэр, речь идет о чеке, по которому следует платить.

— Совершенно верно, сэр, — говорю я. — Я знаю, что это чек, и я уже давал свой ответ по этому поводу.

— Оставьте, сэр, — весьма дерзко заявил он, — какой такой ответ? На чек не отвечают, его оплачивают, чек требует оплаты, а не ответа. Говорят, будто вы купец, сэр, а купцы всегда платят по своим чекам.

Я тоже уже начинал сердиться, и хоть мне и не понравился этот человек, так как я понял, что он затевает ссору, я все же ответил:

— Как видно, сэр, вы не привыкли иметь дело с чеками. Сперва, сэр, чек должно предъявить, предъявление и есть запрос, он означает, собираюсь ли я признать, то есть акцептовать данный чек, а значит, и оплатить его. Мое «да» или «нет» и будет означать в данном случае ответ. Если я акцептую чек, никакого другого ответа не требуется, значит, я собираюсь платить в свой срок, и вам следует принять это к сведению, ибо таков обычай среди всех купцов, или негоциантов, привыкших иметь дело с чеками.

— Пусть так, сэр, — говорит он, — что же из того? Какое это имеет отношение к выплате мне тридцати фунтов?

— То самое, сэр, — ответил я, — что я уже заявил человеку, предъявлявшему мне этот чек, что я не собираюсь по нему платить.

— Не собираетесь платить! — воскликнул он. — Нет, вы должны заплатить, да, да, и заплатите.

— Та, которая подписала его, не имеет никакого права выписывать чеки на мое имя, уверяю вас, я не стану платить ни по одному чеку, подписанному ею.

— Должен вам заметить, сэр, — прервал он меня резко, — что речь идет об особе в высшей степени благородной, которая не может выписать чек, не имея на то права, и ваше заявление я расцениваю как личное оскорбление, за что еще потребую от вас сатисфакции, но сначала покончим с чеком. Да-с, с чеком, сэр, вы должны заплатить по нему, сэр!

Я ответил не менее резко:

— Сэр, смею надеяться, я никого не оскорбляю. Эту особу я знаю не хуже вас, и то, что я о ней сказал, не является оскорблением, она не имеет никакого права выписывать чеки на мое имя, так как я ничего ей не должен.

Я опускаю здесь крепкие выражения, какими он украсил свою речь, ибо они кажутся мне слишком грубыми для моих записок; он сказал мне, что еще докажет, есть ли у нее друзья, способные постоять за нее, и что я пожалею о нанесенном ей оскорблении, он еще отомстит мне, но первым делом я должен оплатить чек.

Я оборвал его, заявив, что не буду платить ни по этому чеку, ни по любому другому, подписанному ею.

Он отступил к двери, запер ее и поклялся, что заставит меня заплатить по чеку, без этого он не уйдет; тут он положил руку на эфес шпаги, однако шпаги не обнажил.

Признаюсь, я сильно перетрухнул, так как у меня шпаги не было, а если бы и была, должен честно сказать вам, хотя я и много чему научился во Франции, чтобы казаться истинным дворянином, про главную науку — как пускать в ход шпагу — я забыл, а в истории подобного рода я никогда не был замешан, поэтому, когда он закрыл дверь, я крайне изумился и просто не знал, что делать или говорить.

Однако слуги услышали наш слишком громкий разговор и столпились в коридоре, нарочно производя при этом шум, чтобы дать мне знать, что тут рядом люди; одна из служанок попробовала открыть мою дверь и, когда обнаружила, что она заперта, крикнула мне: «Ради бога, сэр, откройте дверь! Что случилось? Может, нам позвать констебля?» Я ничего ей не ответил, но голос ее придал мне смелости, я уселся в кресло и сказал:

— Сэр, таким способом вы не заставите меня платить, лучше успокойтесь и подумайте, как иначе получить сатисфакцию.

Он понял меня так, будто речь идет о дуэли, хотя, право слово, этого я и в мыслях не держал, а имел в виду посоветовать ему обратиться за помощью к правосудию.

— Я готов, сэр, — сказал он, — говорят, вы дворянин, вас называют все Полковником, а коли вы дворянин, я принимаю ваш вызов, сэр, и если вам будет угодно последовать за мной,

я буду считать, что полностью получил по чеку, ибо полагаю, только так и следует разрешать спор между истинными дворянами.

— Вы думаете, я вызываю вас на дуэль, сэр? — воскликнул я. — Ничего подобного! Я только сказал, что вы выбрали неподходящий способ, чтобы заставить меня платить по чеку, который я не акцептовал, лучше уж обратитесь к закону, сэр, если хотите получить сатисфакцию.

— К закону?! — возмутился он. — К закону? Но я не знаю иного закона, кроме закона дворянской чести. Одним словом, либо вы мне заплатите, сэр, либо будете со мной драться! — Но тут он словно спохватился и, резко повернувшись ко мне, сказал: — Нет, вы будете и драться и платить, и то и другое! Ибо я намерен защищать ее честь, — заявил он, при этом раз шесть или семь крепко выругавшись.

Заминка спасла меня, ибо только он произнес слова: «Вы будете драться… ибо я намерен защищать ее честь», — как вернулась служанка, которая привела констебля и еще трех-четырех соседей на подмогу. Он услыхал, как они вошли, и, распаляясь все более, спросил, не собираюсь ли я, вместо того чтобы платить, натравить на него толпу. И, положив руку на эфес шпаги, предупредил меня, что, если хоть кто-нибудь позволит себе приблизиться к нему, он тут же проткнет меня насквозь, чтобы хоть одним противником стало меньше.

Я возразил, что, как ему известно, я помощи не звал, так как не верил его угрозам, а ежели кто и решится войти к нам, то только чтобы предотвратить нападение, коим он угрожал и которое я не мог отразить, ибо, он сам видит, я безоружен.

Тут нас окликнул констебль и именем короля потребовал открыть дверь. Я сидел в кресле и хотел встать, но он схватился было за шпагу, и мне пришлось снова сесть, а так как дверь оставалась закрытой, констебль высадил ее ногой и вошел.

— Прекрасно, сэр, — говорит мой противник. — Что же дальше? Что вам здесь нужно?

— Но, сэр, — отвечает констебль, — вы прекрасно знаете, что мне нужно, я ведь блюститель порядка и призван этот порядок поддерживать. Люди, испугавшись, что затевается злое дело, вызвали меня, чтобы предотвратить его.

— Какое же злое дело, по их мнению, вы должны предотвратить? — говорит он.

— Я думаю, — отвечает констебль, — они боялись, что вы будете драться.

— Да они не знают этого субъекта, сэр, потому так и подумали, а он и драться-то не умеет. Все называют его Полковником, — продолжал он, — быть может, он и родился Полковником, не знаю, знаю только, что он родился трусом. Он никогда не дерется, он вообще не смеет взглянуть в глаза настоящему мужчине, потому что если бы он мог драться, то пошел бы со мной, но нет, храбрость он презирает, и если бы эти люди знали его хорошенько, они бы никогда не подумали, что здесь готовится поединок. Поверьте мне, господин констебль, он трус, а трус всегда подлец. — С этими словами он подошел ко мне и пребольно щелкнул меня пальцем по носу, презрительно захохотав, как будто я и в самом деле был трусом.

Вообще-то, я думаю, он не так уж ошибся, но в тот момент я был, что называется, трусом взбешенным, а это самые страшные люди на свете, с которыми лучше не связываться; в ярости я ткнул его головой и, обхватив, опрокинул со всего маху на спину. Кровь во мне взыграла, и если бы не вмешался констебль и не оттащил меня, от него бы мокрого места не осталось. Теперь жители дома перепугались, как бы я не убил его, хотя у меня в руках и оружия-то не было.

Констебль, со своей стороны, пожурил меня, но я задал ему вопрос:

— Господин констебль, а вы не считаете, что я был вынужден так себя повести? Разве может мужчина стерпеть подобное обращение? Я бы хотел знать, кто этот человек и кем он сюда прислан.

— Я дворянин, — отвечал тот, — и пришел сюда получить по чеку вот с этого господина деньги, а он отказывается платить.

— Видите ли, — весьма благоразумно заметил на это констебль, — такие дела меня не касаются, я ведь не мировой судья, чтобы выслушивать тяжбы, решите это как-нибудь уж между собой, но рукам воли не давайте, вот все, о чем я прошу. А вам, сэр, — обратился он к нему, — я бы посоветовал, раз уж вы убедились, что по чеку вам не заплатят и ваше дело будет решать закон, сейчас ни на чем не настаивать, а спокойно удалиться.

Но тот еще долго кипятился и кричал, что чек подписан моей собственной женой, на что я сердито возражал, что он подписан шлюхой; он было полез на меня с кулаками, требуя, чтобы я не смел при нем так говорить, однако я заявил ему, что в ближайшее время собираюсь публично назвать ее шлюхой и ославить; так мы препирались примерно с полчаса, я осмелел, потому что констебль был рядом, и я не сомневался, что он не допустит до драки, которую сам я затевать не собирался. Наконец я от него все-таки избавился.

Я был крайне раздосадован этой неприятной встречей особенно потому, что обнаружилось, где я живу, а я-то надеялся, что надежно укрылся; словом, назавтра я решил съехать и весь день до самого вечера оставался дома, а вечером вышел, чтобы уже никогда туда не возвращаться.

Выйдя на Грейс-Черч-стрит, я заметил, что за мной, опираясь на костыли и подпрыгивая, следует человек с обмотанной ногой. Он попросил у меня фартинг, но я не собирался ему подавать, и он шел, пока мы не поравнялись с каким-то двором, тут я ему бросил на ходу: «Нет у меня ничего, отстань, пожалуйста!» В ответ он сшиб меня на землю своими костылями.

Я был оглушен ударом и не знаю, что произошло со мной после, но когда очнулся, то обнаружил, что сильно изранен, нос оказался расплющен, одно ухо почти оторвано, и у виска глубокая рана от шпаги, а на теле еще одна, ножевая, правда, несерьезная.

Кто, кроме калеки, ударившего меня костылями, так разукрасил меня, я не знал, как не знаю и поныне, но изувечили меня основательно, и, видно, я долго лежал на земле, истекая кровью, пока не пришел в себя и, собрав последние силы, не позвал на помощь; собрались люди и на руках отнесли меня на мою квартиру, где я пролежал более двух месяцев, прежде чем поправился настолько, что опять мог выходить на улицу, но у меня были все основания ожидать, что кто-нибудь из этих мошенников подстережет меня и, улучив момент, повторит избиение, которому я уже раз подвергся.

Страх не давал мне покою, и, желая обеспечить себе безопасность, я решил переправиться во Францию или домой, как я называл Виргинию, и не встречаться больше с этими злодеями и убийцами, — ведь каждый мой выход из дому был сопряжен с опасностью для жизни. И если в тот раз, желая не попадаться никому на глаза, я вышел из дому ночью, то теперь, дабы избегнуть нападения, я выходил только днем и, как правило, в сопровождении одного-двух слуг в качестве телохранителей.

Однако я должен отдать должное и моей жене, которая, услышав о том, что со мною стряслось, написала мне письмо, в котором обращалась ко мне более любезно, чем можно было от нее ожидать, выражая свое глубочайшее сожаление по поводу того, как со мною расправились, тем более что, как она понимала, тут отчасти был виноват ее чек на мое имя; она писала, что надеется, даже при самом плохом отношении к ней, я не допущу такой ужасной мысли, будто это было сделано с ее ведома или согласия или, того хуже, по ее прямому или косвенному приказу, что она ненавидит такие вещи и заявляет, имей она хоть малейшее представление или хотя бы предположение, кто эти негодяи, она бы выдала их мне; она сообщила мне имя человека, которому дала чек, и его адрес и предоставила мне выяснить, кто же все-таки заходил ко мне с ее чеком, и передать его в руки правосудия, чтобы его наказали со всею строгостью закона.

Я был так тронут добротой моей жены, что, признаюсь честно, приди вслед за этим она сама ко мне, чтобы меня проведать, я бы непременно принял ее назад, однако она удовольствовалась еще одним вежливым письмом, в котором просила меня сообщать ей как можно чаще о моем самочувствии, добавив, что для нее будет высшей радостью узнать о моем выздоровлении и о том, что виновника всех злодеяний уже вздернули в Тайберне[105].

По некоторым словам в письме я понял, что она сожалеет о нашем разговоре и что ее уважение ко мне остается неизменным, однако никаких поползновений вернуться она не выказывала; кроме того, она выдвинула несколько доводов, дабы побудить меня оплачивать ее чеки, указывая, что принесла мне большое приданое и осталась ныне без средств, что весьма и весьма тяжело.

На это письмо я ответил ей, хотя на первое не отвечал, я рассказал, как со мною разделались, написал, что вполне удовлетворен ее сообщением о непричастности к этой истории, не в ее характере было бы обойтись так со мною, то есть с человеком, который не причинил ей никакого зла, никогда не оскорблял ее, не давал повода к разрыву и не выражал желания с нею расстаться; что же касается ее чеков, то ей хорошо известно, до чего довела меня ее расточительность, в какие расходы ввергла и как истощила мои денежные запасы, ведь если бы так шло и дальше, я был бы просто разорен; менее чем за три года она успела истратить больше, чем принесла мне в приданое, и никак не хотела отказаться от шикарной жизни и вести себя чуть скромней, сколько я ни просил ее об этом, ни умолял, уверяя, что мне не по карману такие огромные расходы, и предпочла лучше разрушить семью и уйти от меня, чем соразмерять свои желания, хотя я никогда не действовал принуждением, а только просьбами и серьезными, трезвыми доводами, никогда не скрывая от нее, как обстоят мои дела, чтобы она убедилась, что нам грозит нищета, и тем не менее, если теперь она заберет назад свой чек, я пришлю ей эти тридцать фунтов, указанные в чеке, и, насколько позволят мне мои средства, не оставлю ее в нужде, если она согласится держаться в надлежащих пределах. Я также дал ей понять, что имею подробные сведения о ее дурном поведении, о том, что она водит компанию с бесчестным человеком, имя которого я ей назвал, но, несмотря на подобные слухи, мне очень не хотелось бы этому верить, а потому, чтобы пресечь все толки и восстановить ее репутацию, я готов принять ее обратно и обещаю забыть прошлое, если она откажется от чрезмерных запросов, согласится жить скромнее в соответствии с моим положением и будет относиться ко мне с такой же добротой и нежной любовью, какие я всегда ей выказывал и впредь буду выказывать; если же мое предложение не будет принято, я решил, что дольше не останусь здесь, где потерпел столько разочарований, и вернусь на родину, где спокойно проведу остаток дней моих, удалившись от шума света.

Она отвечала не совсем так, как я ожидал: хотя она и поблагодарила меня за тридцать фунтов, однако настаивала на своей полной невиновности и, прямо не отказываясь вернуться ко мне, тем не менее не дала и согласия, короче, почти или даже совсем обошла эту тему, однако выражала настоятельное требование вознаградить ее за все оскорбления, нанесенные ее доброму имени и тому подобное.

Поначалу это меня было удивило, так как я полагал, что любая женщина в ее обстоятельствах рада будет положить конец всем своим несчастьям, а заодно избавиться от заслуженных упреков путем примирения, в особенности же, учитывая, что в то время она едва сводила концы с концами. Однако существовала особая причина, препятствовавшая ее возвращению, на которую в письме она не могла сослаться, но то была весьма веская причина, не позволявшая ей согласиться на предложение, коему в ином случае она была бы только рада, а все заключалось опять-таки в том, что она попала в дурную компанию и, предавшись распутству, ждала теперь ребенка, оттого и не рискнула принять мое предложение.

Однако, как я уже упоминал, она и не отказалась прямо, рассчитывая, как я понял впоследствии, отложить наши переговоры на то время, когда она избавится от своей тяжкой ноши, как она это называла, и, получив избавление в тайном месте, сможет дать согласие. Но

я решил, что с меня хватит, я слишком хорошо был осведомлен обо всех ее делах, чтобы она могла скрыть их от меня, разве что она успела бы уехать до того, как ее фигура слишком заметно изменилась, но так как она не уехала, я подробнейшим образом знал, когда, где и кого она родила, и на этом мое желание вернуть ее кончилось, хотя она и писала мне несколько раз покаянные письма, в которых признавала свою вину и просила простить ее, но мне все это было уже не по душе, я даже думать о ней не хотел и потому продолжал дело о разводе, который, наконец, и получил, как уже упоминалось выше.

Обстоятельства сложились так, что я решил, о чем сообщал вам, уехать во Францию, после того как получу из Виргинии мое имущество; так я и сделал и в… году отправился в Дюнкерк; здесь я очутился в обществе нескольких ирландских офицеров из диллонского полка[106], которые слово за слово уговорили меня вступить в армию, и с помощью генерал-лейтенанта ***, ирландца по происхождению, и некоторой суммы денег я получил в одном из его полков роту и тем самым вступил в армию.

Я был до крайности доволен новым моим положением и частенько говорил сам себе, что вот добился наконец того, для чего был рожден, так как до сего времени мне еще не доводилось вести жизнь истинного дворянина.

Мой полк вскоре после того, как я вступил в него, получил приказ двинуться в Италию; одним из самых замечательных сражений, в коих мне довелось принимать участие, была атака на Кремону[107] в герцогстве Миланском, куда под прикрытием ночи были предательски впущены войска австрийского императора, которые, воспользовавшись общей растерянностью, захватили большую часть города, повергнув этим в изумление маршала, герцога де Вильруа[108]; они взяли его в плен, когда он вышел из своей ставки, и разбили наголову несколько французских отрядов, оставленных охранять крепость. Однако, когда они уже считали, что победа у них в руках, на них смело и решительно напали два ирландских полка, стоявших на улице, ведущей к реке По и таким образом владевших ключами от речных ворот города — от Ворот По, через которые для императорской армии[109] должно было прибыть подкрепление; в отчаянной схватке немцы упустили из рук свою победу и, не сумев пробиться через наши ряды к своим, были вынуждены снова оставить город, к вящей славе не только наших ирландских полков, но и всей ирландской нации, за что мы получили благодарность от самого короля Франции.

В этой битве я впервые с радостью узнал, что низкая трусость и малодушие, какие я проявил тогда дома, когда тот наглец налетел на меня, желая получить по чеку тридцать фунтов, вовсе мне несвойственны; попробуй он сейчас напасть на меня, и я, пусть беззащитный и безоружный, бросился бы в драку, как лев, и стер бы его в порошок, да ведь люди сами не знают себя, пока не выпадет им испытание, а смелость тоже приходит со временем и с жизненным опытом.

Филипп де Комин[110] рассказывает, что, прославившись в битве при Монтлери[111], граф де Шарлуа, который до того питал полнейшее отвращение к войне, просто ненавидел ее и все, что с нею связано, совершенно переменился. С тех пор армия заменила ему возлюбленную, а тяготы войны сделались его главной усладой. Сравнение это для меня слишком лестное, но и со мной все случилось точно так: после сражения меня принялись превозносить за отвагу, так и говорилось — боевая отвага, и я вообразил себя храбрецом, — был ли я им на самом деле или нет, не мне судить, но взыгравшая гордость заставила меня им стать. Мало того, кто-то отправил ко двору особое донесение, будто в спасении города и его жителей я сыграл немаловажную роль, ибо совершал чудеса, обороняя Ворота По и приняв на себя командование после того, как был убит подполковник, командовавший нашими частями; получив такой рапорт, король прислал для оглашения бумагу, в которой благодарил меня за верную службу и производил в подполковники, а следом гонец доставил и сам приказ о присуждении мне звания подполковника в *** полку.

Еще до этого я не раз попадал в перестрелки и участвовал в мелких стычках, так что успел заслужить славу хорошего офицера, однако случалось мне выполнять и особые задания, которые доставляли мне кое-что более ценное, а именно — звонкую монету, и немало.

Наш полк был отправлен из Франции в Италию морем, сели мы на корабли в Тулоне, а высадились в Савоне[112], что находится на территории Генуи, и отправились оттуда маршем в герцогство Миланское. В первом же городе, который нам приказали захватить — то была Алессандрия[113], — жители сопротивлялись с такой неистовой яростью, что выбили из города почти целый гарнизон, который насчитывал восемьсот человек: собственно французов и солдат, находящихся на службе у Франции.

Я и со мною восемь моих солдат и слуга стояли в доме одного горожанина, расположенном у самого порта; я вызвал моих людей на короткий совет, и мы решили любой ценой защищать этот дом, пока не получим от командира полка приказа об отступлении; получив приказ и убедившись, что наши солдаты под ожесточенным натиском горожан сдают свои позиции на улицах города, я выставил за дверь хозяев дома и засел в нем, как в крепости, взяв командование на себя, а поскольку дом этот примыкал к городским воротам, я принял решение защищать его до последнего, тем паче что отступление нам было обеспечено, так как порт находился рядом.

Очистив дом от его обитателей, мы не постеснялись набить наши карманы всем, что ни попадало под руку, иными словами, растащить все, что было можно, причем мне достался кабинет хозяина дома, откуда я унес деньгами и в слитках примерно двести пистолей[114], не считая прочих ценных вещей. Принцу Водмону[115], тогдашнему правителю герцогства Миланского, была направлена жалоба на наше мародерство, но поскольку враждебный прием, оказанный нам горожанами, расходился не только с его приказом, но вообще с политикой принца, который в то время поддерживал интересы короля Филиппа[116], горожане остались ни с чем, мало того, разграбь мы весь город, ничего бы нам и за это не было, ибо правитель получил приказ впустить наш полк в город, поэтому сопротивление, оказанное нам, можно было счесть за открытое восстание, и тем не менее нам было приказано не стрелять в горожан, если только не случится в этом острая необходимость, и мы предпочли отступить, однако вслед за этим имели столкновение с отрядом отчаянных храбрецов, которые пожелали отнять у нас ни более ни менее, как два бастиона и порт. Сначала их силы втрое превышали наши, потому что к горожанам присоединилось семь рот регулярных войск, что составляло свыше тысячи шестисот солдат, помимо отряда ополчения, таким образом, их было намного больше, ибо нас всего-то оказалось около восьмисот, к тому же они еще владели крепостью и несколькими батареями, так что мы бы не справились с ними, даже если бы и атаковали их. Однако дня через три-четыре им пришлось все-таки уступить и под натиском наших солдат сдать крепость.

После этого мы сидели без дела на своих квартирах восемь месяцев, так как отстояв для короля Филиппа герцогство Миланское и получив временную передышку, принцу ничего не оставалось, как ждать вспомогательных полков из Франции, а когда они пришли, он растянул свои войска, чтобы сдержать натиск сторонников империи, которые готовились вторгнуться в Италию с огромной армией, и занял для этого Мантую[117] и другие города вокруг вплоть до озера Гарда и реки Адидже.

В Мантуе мы задержались, а затем наши полки были выведены оттуда по приказу графа де Тесс[118] (впоследствии маршала Франции), чтобы слиться с французской армией к моменту прибытия на место герцога Вандомского[119], который был назначен главнокомандующим. Тут и началась жестокая кампания 1701 года[120], в которой нашим противником был принц Евгений Савойский[121] с армией, насчитывавшей сорок тысяч немцев, все старых, опытных вояк, и хотя французская армия по численности превышала вражескую на двадцать пять тысяч, однако ей приходилось нести оборону и выставлять защиту во множестве пунктов одновременно, к тому

же точно не было известно, где именно принц Савойский, командовавший императорскими войсками, нас атакует, поэтому французы были вынуждены разбиться на подразделения, причем одно подразделение от другого было расположено так далеко, что немцы успешно осуществляли свой план наступления, о чем история тех лет рассказывает много обстоятельнее.

Я принимал участие в битве при Карпи[122] в июле 1701 года, в которой немцы разбили нас наголову, так что мы вынуждены были оставить наш лагерь и уступить принцу всю реку Адидже; наш полк понес некоторые потери, однако врагу после нас осталось немного, и мосье Катина[123], под чьим командованием мы в то время находились, на другой же день построил нас в боевом порядке на виду у немцев и бросил им вызов, однако те не желали двигаться с места, хотя мы два дня подряд вызывали их на сражение, и, овладев переправой через Адидже, поскольку нам пришлось покинуть Риволи[124], который оказался нам тогда не нужен, считали свое дело сделанным.

Убедившись, что они уклоняются от решающего сражения, наши генералы стали теснить их на местах, заставляя сражаться за каждый клочок захваченной земли, пока наконец в сентябре мы не атаковали их в укрепленном городе Кьяри[125]; мы прорвались в самый центр их лагеря, где учинили поистине страшное побоище, однако, уж не знаю, то ли по ошибке наших генералов, то ли потому, что приказания плохо выполнялись, но только нормандская и наша ирландская бригады, которые так отважно завладели вражескими укреплениями, не получили обещанной поддержки, были вынуждены поэтому отражать атаки целой немецкой армии и в конце концов оставили завоеванные позиции, понеся при этом известный урон; однако мы все-таки получили в подмогу мощный отряд кавалерии, и враг вскоре был отбит и отброшен назад в свой лагерь. Немцы хвастали, что одержали над нами великую победу, и в самом деле оказав нам отпор уже после того, как нам удалось захватить их лагерь, они получили над нами преимущество, однако если бы мосье де Тесс пришел нам на помощь с двенадцатью тысячами пехоты вовремя, как, по словам старины Катина, должен был сделать, минувшее сражение положило бы конец войне, и принцу Евгению оставалось бы только бежать назад в Германию, причем гораздо быстрее, чем он спешил сюда, в противном случае мы бы перехватили его по дороге.

И тем не менее судьба рассудила иначе, и немцы на протяжении всей кампании продолжали идти вперед, продвигаясь с позиции на позицию, пока окончательно не выбили нас из герцогства Миланского.

В последний период кампании мы вели уже только местные бои; легкомысленные французы ежедневно покидали свой лагерь то в поисках продовольствия, то в надежде захватить врасплох вражеский фураж, занимаясь грабежом сами или ловко отбивая награбленное у противника, хотя частенько попадали в переделки, так как у немцев перед ними был целый ряд преимуществ; да, многие сложили головы в этих мелких стычках, а если прибавить еще и тех, кто умер от болезней, заработанных на столь тяжелой службе в дурных условиях лагеря и в окопах, где мы находились вплоть до середины декабря, — в болотистой местности, сплошь прорезанной каналами и реками, какими изобилует эта область Италии, то думаю, что мы, да и противники тоже, потеряли больше людей, чем унесло бы генеральное сражение.

Надо отдать должное герцогу Вандомскому, он настоятельно предлагал назначить день сражения с принцем Евгением, однако герцог де Вильруа, мосье Катина и граф де Тесс противились этому, основным доводом приводя усталость людей, на долю которых якобы выпало столько страданий, что они не в силах выдержать бой с немцами; поэтому, как я уже говорил, спустя три месяца мелких стычек и грабежей мы разошлись на зимние квартиры.

Еще до того, как покинуть окопы, наш полк вместе с отрядом драгунов численностью в шестьсот человек и еще примерно двести пятьдесят кавалеристов отправились, не имея никакого четкого плана, перехватить принца Коммерси[126], одного из видных генералов

принца Евгения Савойского. Предполагалось, что в отряде будут только кавалеристы и драгуны, но, поскольку солдатам императорских войск посчастливилось перебить уже много наших отрядов, — как выяснилось, много больше, чем удалось нам перебить их, — а также зная твердо, что принц, будучи видным военачальником, не покинет ставки без многочисленного сопровождения, отдали приказ присоединить к отряду еще и наш ирландский пехотный полк, чтобы в случае чего немцам пришлось встретиться с равным противником.

За два часа до операции я получил приказ отвести двести пехотинцев и пятьдесят драгунов под укрытие редкого лесочка, где, как донесли нашему генералу, принц собирался расставить своих людей, чтобы обеспечить себе безопасный проезд, что я и выполнил. Однако граф де Тесс, полагая, что наш отряд недостаточно силен, двинулся с тысячью кавалеристов и тремястами гренадеров нам на подмогу, и это пришлось как нельзя более кстати, ибо принц Коммерси, узнав о появлении первых солдат, неожиданно выступил вперед и сам напал на нас; он разбил бы нас наголову, если бы граф, услышав перестрелку, тут же не бросился со своей тысячью кавалерии на подмогу в самый разгар сражения, и благодаря этому немцы были отбиты и вынуждены отступить. Принц тут же ретировался и после боя направился к лесу, в котором засели мои солдаты, а так как поражение застало его врасплох, он не выслал вперед отряда, чтобы обеспечить себе отступление через лес, как намеревался сделать раньше.

Граф де Тесс, зная, что в лесу, как я уже говорил, находимся мы, преследовал их по пятам, чтобы они не успели нас перехватить и, поелику возможно, чтобы мы задержали их там и навязали еще одну стычку. Когда они добрались до леса, смеркалось, и им было трудно определить, сколько нас; подойдя к лесу, они выслали вперед пятьдесят драгунов — разузнать дорогу и проведать ее безопасность. Мы дали им довольно далеко углубиться в лес по просеке и тогда, вклинившись между ними и лесной опушкой, отрезали им всякую возможность отступления, так что, когда они нас обнаружили и открыли огонь, их тут же окружили и буквально изрубили в куски; в плен нам сдались лишь командир да восемь драгунов.

Это заставило принца остановиться; не зная, что же случилось и каковы наши силы, он пожелал получить более точные сведения и отправил двести своих кавалеристов окружить лес, чтобы обнаружить нас, вот тут-то граф де Тесс и зашел к нему в тыл. Мы узнали его местонахождение по шуму схватки и решили немедля ввести в дело две сотни кавалеристов; таким образом небольшой отряд наших всадников перекрыл въезд на просеку и приготовился к атаке; тем временем пехотинцы, залегшие в кустарнике на опушке леса, были начеку, чтобы как настанет момент, тоже ринуться в бой. Под нашим напором вражеская конница подалась и отступила на лесную дорогу, однако, будучи опытнее нас, немцы лишь оттеснили нас к самой опушке, не дав заманить себя в узкий проход, ибо опасались, что в кустарнике стоит наша пехота.

Тем временем принц, обнаружив в тылу у себя французов и не имея возможности снова принять сражение, решил прорваться силой, а потому приказал своим драгунам спешиться, проникнуть в лес и прочесать кустарник по обеим сторонам просеки, чтобы он мог проехать по ней со своей кавалерией. Они так ревностно выполнили его приказ, а силы их, как оказалось, настолько превосходили наши, что, хотя мы упорно отстаивали наши позиции, все же почти половина наших людей полегла на месте. И все-таки мы дали время французской кавалерии приблизиться, напасть на всадников принца и, отрезав им путь к отступлению, взять много пленных; затем мы отошли, чтобы пропустить нашу конницу, которая тут же бросилась в бой; триста драгунов было убито, двести взято в плен.

В первом пылу сражения командир немецких драгунов со своей свитой подстрелил трех солдат, охранявших меня, и предложил мне сдаться, я вынужден был согласиться и отдал ему шпагу, ибо наши люди вот-вот готовы были покинуть поле боя, оставляя нас на произвол судьбы. Однако потом ситуация изменилась, и, когда вторглась наша кавалерия, о чем уже шла речь, драгуны были начисто смяты, а офицер, взявший меня в плен, обернувшись ко мне, сказал: «Мы погибли». Я спросил его, не могу ли я быть чем-нибудь полезен ему. «Пока ни с

места», — сказал он, так как его люди все еще бились с отчаянной отвагой. Но тут у него за спиной появилось еще двести французских всадников, и тогда он сказал мне по-французски: «Теперь я ваш пленник». И с этими словами отдал мне мою шпагу и в придачу свою. Стоявший рядом драгун хотел было последовать его примеру, но был убит наповал пулей; однако принц Коммерси с остатками своего отряда успел скрыться, и больше мы его не преследовали.

Еще шестнадцать или семнадцать человек, подобно мне, избежали плена, тем не менее они были не столь удачливы, как я, который взял офицера, под чьей охраной они все находились. Он оказался так великодушен, что не спросил, сколько при мне денег, хотя много у меня и не было, если б он и поинтересовался, но я только пострадал из-за его благородства, так как не посмел, в свою очередь, спросить с него деньги, хотя знал, что у него имеется около ста пистолей; однако вечером, когда мы вернулись в наши палатки, он предложил мне щедрый подарок в двадцать пистолей, а я за это добился для него разрешения уйти в лагерь принца Евгения под честное его слово, которое он сдержал.

Именно после этой кампании я попал на постой в Кремону, где произошло сражение, о котором уже шла речь и где наш ирландский полк отличился, не позволив немцам занять врасплох город неожиданным штурмом, выдворив их оттуда после того, как они в течение шести часов владели тремя четвертями города.

Однако спешу возвратиться к собственной истории, ибо не моя задача вести дневник различных кампаний, участником которых я был, и довольно долго.

Все лето после этого оба наших ирландских полка не покидали поле сражений, принимая участие во многих жестоких схватках с немцами, так как принц Евгений, будучи опытным военачальником, почти не давал нам передышки; никогда подолгу не задерживаясь на месте, он тут и там срывал немало побед, и потому ни его люди, ни мы не знали покоя.

Будем беспристрастны к французам; тот, кто знает ход этой кампании, должен знать, что им ни разу не удалось окончательно сломить немцев, однако били они их при каждом удобном случае с редким упорством и отвагой; при этом было пролито немало и благородной дворянской крови, и солдатской, тем не менее герцог Вандомский, который был тогда главнокомандующим, несмотря на то, что король Филипп сам принимал участие в этой кампании, сполна воздавал принцу Савойскому, выбивая его из одного города за другим, пока тому не пришлось почти полностью очистить все итальянские земли. Доблестная армия, какую принц Евгений привел в Италию и которая, несомненно, была во всех отношениях лучшей среди прочих, когда-либо побывавших там, сложила свои головы в этой стране, а за нею и еще не одна тысяча воинов, пока французам, потерпевшим в войне еще больший урон, не пришлось подчиниться судьбе, как мы знаем из истории и о чем уже говорилось выше, однако это уже к моему рассказу не относится.

Мое участие в этих событиях было недолгим, но ярким, мы выступили в поход что-то в начале июля 1702 года, когда герцог Вандомский отдал приказ поскорее стянуть все войска, чтобы освободить итальянский город Мантую, блокированную императорской армией.

Принц Евгений был человеком изворотливым и на редкость удачливым, годом раньше он не единожды бил нас, однако на сей раз счастливая судьба стала изменять ему, ибо наша армия превосходила его не только численностью, но имела во главе такого начальника, как герцог; несмотря на то что принц держал Мантую в тесном кольце блокады всю зиму, герцог решил освободить город любой ценой. Как я уже говорил, преимущество в этом деле было на стороне герцога и, так как принц не мог помешать герцогу силой прорвать блокаду, он отвел свои войска, оставив лишь несколько мощных соединений, чтобы защищать Бершелло, которому угрожал герцог Вандомский, и Боргофорте[127], где находился склад его боеприпасов, а затем, объединив оставшиеся силы, приготовился выступить против нас. К этому времени в армию прибыл испанский король, и герцог Вандомский, во главе примерно тридцати пяти тысяч солдат, расположился недалеко от Луццары[128], которую решил атаковать, чтобы

втянуть в сражение и принца Евгения. А принц Водмон, у которого было двадцать тысяч, окопался под Ривальтой[129], что лежала сразу за Мантуей, с тем чтобы перекрыть миланские границы; в самой Мантуе было двенадцать тысяч солдат, а мосье Праконталь с десятью тысячами находился при артиллерии одного из фортов, охранявшей насыпную дорогу, прямиком ведущую в Мантую. Если бы эти силы соединились, как и произошло через несколько дней, принц оказался бы в трудном положении, ему пришлось бы приложить все усилия, чтобы сохранить за собою Италию, ибо в его власти не оставалось уже ни одного укрепленного пункта в стране, где солдаты, сидя в окопах, выдержали бы пятнадцатидневную, хорошо организованную осаду, о чем он и сам прекрасно знал. Вероятно, именно поэтому, пока герцог Вандомский намеревался, коли удастся, втянуть принца Евгения в сражение, для чего и занимался диспозицией наших войск, чтобы атаковать Луццару, мы, к величайшему нашему изумлению, 15 июня 1702 года обнаружили перед собой всю императорскую армию, уже готовую к бою и наступавшую на нас форсированным маршем.

Наша армия двигалась им навстречу тем же боевым строем, какой соблюдала последние два дня, колонна за колонной; еще три дня назад наш герцог обнаружил, что генерал Висконти[130] с тремя полками имперской кавалерии и одним драгунским полком расположился в Сан-Виктории, что на берегу Тичино[131], и решил атаковать их; этот план его выполнялся в такой секретности, что, хотя наша армия проходила всего в трех лье от них по другой дороге, мосье Висконти почти уже достиг герцогства Моденского, когда он совершенно неожиданно для себя оказался атакованным французскими драгунами и кавалерией в шесть тысяч всадников. Около часу он храбро защищался, но, увидев, что враг его одолевает и что под натиском противника ряды его вот-вот будут смяты, он дал сигнал к отступлению, однако не успели его конники развернуться и проскакать в обратном направлении каких-нибудь полчаса, как их со всех сторон окружил большой отряд инфантерии, отрезавший все пути к отступлению, кроме моста через Тичино, но их собственный обоз создал там такую толчею, что было не проехать ни туда, ни сюда, и они налетали и натыкались друг на друга, так что о сохранении строя нечего было и думать; многие попадали в реку и утонули, немало было убито, еще больше попало в плен. Одним словом, все три кавалерийских и один драгунский полк были разбиты наголову.

Принцу был нанесен тяжкий удар, потому что войска эти принадлежали к самым отборным в его армии. Мы взяли в плен около четырехсот человек со всем их имуществом и захватили восемьсот лошадей — добыча немалая. Эти войска, несомненно, очень пригодились бы противнику в битве, которая, как упоминалось, последовала пятнадцатого числа. Наша армия, о чем я писал выше, двигалась походным маршем на Луццару, когда вдруг появился немецкий кавалерийский отряд примерно в шестьсот сабель, а меньше чем через час — и вся вражеская армия в боевом порядке.

Наша армия немедленно перестроилась, и герцог размещал полки, по мере их приближения, настолько искусно, что принцу Евгению пришлось изменить дислокацию своих войск, причем он все же оказался в крайне невыгодном положении, так как был вынужден сражаться с превосходными силами противника, расположившегося на самых удобных позициях. Если бы он повременил всего один день, мы столкнулись бы с ним на полпути, но больно уж немецкие генералы уверены в себе и в доблести своих войск. Левый фланг королевской армии разместился у великой реки По, а на противоположном берегу стояла армия принца Водмона и вела орудийный огонь из окопов, вырытых императорскими войсками у Боргофорте. Чувствуя, что предстоит генеральная баталия, принц отрядил двенадцать батальонов и около тысячи конников для подкрепления королевской армии; все они успели соединиться с нашей армией, вселив в нас бодрость и уверенность, а принц Евгений все перестраивал свои войска, готовясь к наступлению. Однако именно передвижение наших войск заставило принца Евгения решиться вступить в бой, чтобы помешать нам дойти до цели, но

соображения его оказались несостоятельными, а отказаться от боя он уже не мог и совершил таким образом ошибку, исправить которую было поздно.

Ему удалось ввести в бой все свои войска только к пяти часам вечера, после чего нас в течение получаса тщетно обстреливали из орудий, а затем его правый фланг под командованием принца Коммерси яростно атаковал наш левый. Наши части отражали наступление так искусно и оказывали друг другу поддержку столь своевременно, что противник понес огромные потери, а так как принц Коммерси, к их великому горю, был убит в самом начале боя, полки противника, потрясенные гибелью великого военачальника, не получая приказов, отступили в полном беспорядке, а одна бригада была целиком уничтожена.

Однако продвижение второго эшелона их войск под водительством генерала Эрбвиля[132] восстановило первоначальное положение: подоспевшие войска противника смело бросились во вторую атаку и, получая подкрепление от главных сил, вынудили наших солдат, в свою очередь, отступить к каналу, протекавшему по левому флангу между их позициями и рекой По, где они и сосредоточились. Обе стороны, к которым непрерывно поступали свежие пехотные и кавалерийские части, сражались с таким упорством, храбростью и умением, что трудно было предсказать, кто вышел бы победителем, если бы они смогли довести бой до конца.

На правом фланге королевской армии располагался цвет французской кавалерии — гвардейцы, королевские карабинеры[133], конница ее величества и еще четыреста кавалеристов, а рядом с ними стояли пехотные части, среди которых был и наш полк. Первыми в атаку бросились кавалеристы с саблями наголо; они приняли на себя огонь двух императорских кирасирских полков[134] и без единого выстрела прорвали их ряды, которые, когда кони стали теснить и топтать их, пришли в полное смятение. Передовая шеренга нашей пехоты вступила на поле боя, очищенное кавалерией от противника.

В первой атаке был убит маркиз де Креки[135] — командующий правым флангом. Эта потеря была для нас не менее тяжелой, чем гибель принца де Коммерси для противника. После того как мы оттеснили описанным выше образом вражескую кавалерию, войска неприятеля, благодаря искусству и находчивости командования, сосредоточились и, получив поддержку трех императорских пехотных полков, вновь пошли в наступление с такой яростью, что невозможно было им противостоять. В результате два ирландских полка были разбиты, и погибло огромное множество солдат. В этой битве не повезло и мне — выстрелом из мушкета у меня была перебита правая рука, но мало этого, меня еще сшиб с ног огромный, как и все немцы, солдат и, решив, что я мертв, наступил на меня, но тут же пал бездыханный от выстрела одного из наших, а я со своей раненой рукой оказался в весьма бедственном положении, потому что этот парень, громадный, как лошадь, был так тяжел, что я не мог даже пошевелиться.

Вскоре наши войска были оттеснены со своих позиций, и я остался во власти противника, но не попал в плен, то есть меня не нашли до следующего утра, когда группа солдат с врачами во главе вышла, как это принято, на поиски раненых и обнаружила меня почти задохнувшимся под грудой убитых — своих и чужих. Надо отдать врагам должное — обращались они со мной по-человечески, они весьма умело подлечили мне руку, а через четыре или пять дней дали мне возможность под честное слово отправиться в Парму.

Обе армии продолжали сражаться, особенно рьяно на нашем левом фланге, до тех пор, пока из-за темноты солдаты не перестали понимать, в кого стреляют, а генералы — что происходит. Тогда стрельба стала утихать, и ночь, как говорится, разлучила их.

Обе стороны объявили себя победителями и по возможности скрывали свои потери, но нет сомнения в том, что никогда еще ни в одном бою не было проявлено столько мужества и упорства, как в этом, и что, если бы не наступила ночь, обе стороны, безусловно, потеряли бы убитыми еще много тысяч людей.

Немцы имели право считать себя победителями только потому, что они, как я уже говорил, заставили наш левый фланг отступить к каналу и к высокому берегу реки По или, вернее, к холмам, возвышающимся за ним. Однако это отступление оказалось нам очень выгодным, так как оттуда можно было стрелять в самую гущу вражеских войск, а вытеснить нас с этих позиций было невозможно.

Лучшим и наиболее убедительным доказательством победы королевских войск было то, что через два дня после описанной битвы они захватили Гуасталлу, которую немецкая армия уже считала своей, заставили ее гарнизон сложить оружие и поклясться не участвовать в военных действиях в течение шести месяцев. Хотя немцы понесли значительный ущерб, так как гарнизон состоял из тысячи пятисот человек, принц Евгений не пришел ему на помощь. После этого они еще несколько раз при нашем приближении оставляли свои позиции, ибо провести еще одно сражение в том году были не в состоянии.

Мое участие в кампании на этом кончилось, и хотя я вышел из нее с увечьем, все же отделался гораздо легче, чем многие другие офицеры, ведь в этой кровавой бойне мы потеряли более четырехсот убитыми и ранеными, причем трое среди них были генералы.

Военные действия продолжались до декабря; за это время герцог Вандомский захватил Боргофорте и несколько других пунктов, занятых неприятелем, который с каждым днем терял свои позиции в Италии.

Я долго пробыл в плену, но поскольку соглашение о пленных еще не было заключено, принц Евгений приказал отправить французов в Венгрию, что было проявлением неоправданной жестокости к ним. Многим удалось, однако, по дороге удрать к туркам, которые приняли их очень любезно, а посол Франции в Константинополе позаботился о них и по распоряжению короля переправил морем обратно в Италию.

Но к этому времени герцог Вандомский взял в плен так много немцев, что принц Евгений не мог уже заниматься отправкой пленных в Венгрию и был вынужден дать приказ о возвращении тех, кто там уже находился, и начать переговоры о всеобщем обмене военнопленными.

Как я уже говорил, мне разрешили под честное слово уехать на некоторое время в Парму, где я в течение сорока дней залечивал рану и сломанную руку, а потом вынужден был явиться к военному коменданту Феррары, откуда, по прибытии туда принца Евгения, был отправлен с несколькими другими военнопленными в герцогство Миланское, где нам предстояло ждать обмена.

Почти восемь месяцев я прожил в Тренте; человек, в доме которого меня поместили, относился ко мне на редкость любезно, всячески меня опекал, так что жилось мне у него беспечно. Но тут я, сам того не чая, вступил в связь с дочерью моего хозяина, а потом, не знаю, какой черт дернул меня, взял да женился на ней. С моей стороны это было благородным поступком, который, честно говоря, я вовсе не собирался совершать. Но девушка оказалась очень ловкой, ей удалось напоить меня вином сверх меры, и хотя я оставался в полном рассудке и сознавал, что совершаю, веселье взыграло во мне, и я дал себя оженить. Это неразумное проявление благородства причинило мне много неприятностей, так как я понятия не имел, что делать с этим новым грузом, который я на себя навьючил. Я не мог ни оставаться с женой, ни взять ее с собой и находился в совершенной растерянности.

Вскоре меня соответственно с договором об обмене пленными освободили, и я был обязан вернуться в свой полк, расквартированный тогда в герцогстве Миланском. Там я получил разрешение поехать в Париж, пообещав набрать в Англии, куда изредка писал, рекрутов для ирландских полков. Располагая, таким образом, согласием на поездку в Париж, я получил у противника пропуск для проезда в Трент, кружным путем прибыл туда, тщательно упаковал свое имущество, взял жену и все прочее, проехал через Тироль в Баварию, потом через Швабию и Шварцвальд в Эльзас, а оттуда добрался до Лотарингии и, наконец, до Парижа.

Я имел тайное намерение бросить армию, потому что был сыт войной по горло, но поступить так, пока армия находится в походе, считалось столь позорным, что я не мог на это решиться. Однако непредвиденные обстоятельства облегчили мою задачу. Дело в том, что между Францией, с одной стороны, и Англией и Голландией, с другой, вновь начались военные действия. Французский король[136], вознамерившись провести маневр, чтобы отвлечь внимание англичан, снарядил в Дюнкерке мощную эскадру военных судов и фрегатов, на борт которых погрузил войсковые части, насчитывавшие около шести тысяч пятисот человек, не считая добровольцев. Новый король, как мы его называли, хотя вообще-то он был известен под именем Кавалера ордена святого Георга[137], отправился вместе с ними в Шотландию.

Я делал вид, что отношусь к этой затее с большим рвением, и заявил, что если мне разрешат продать чин командира роты, входящей в ирландский полк, в котором я состоял, и получить от Кавалера чин полковника за то, что я наберу для него войска в Великобритании, то после его прибытия я сяду на корабль в качестве добровольца и буду нести расходы по службе сам. Такой уговор был мне весьма выгоден, так как я становился лицом почтенным и пользующимся значительным влиянием у себя на родине. Итак, мне дали разрешение продать мой чин, и я, получив через Голландию кругленькую сумму из Лондона, собрал прекрасное снаряжение и отправился в Дюнкерк, чтобы сесть там на корабль.

Кавалер принял меня вполне благосклонно, так как был уже осведомлен, что я офицер ирландского полка, служил в Италии и, следовательно, — бывалый солдат. Все это в сочетании с моей прежней характеристикой питало его ко мне расположение. Между тем я вовсе не испытывал особой привязанности ни к Кавалеру лично, ни к его делу, да, по правде говоря, я не очень разбирался в причинах, столкнувших между собой воюющие стороны, иначе я бы не стал столь легкомысленно рисковать не только жизнью, но и имуществом, которое с этого момента находилось в распоряжении английского правительства и могло быть конфисковано им в любую минуту. Однако, получив из Лондона почтовый перевод на триста фунтов стерлингов и продав мой офицерский чин в ирландском полку почти за такую же сумму, я не только оказался невольно втянутым в эту нелепую затею, но даже стал добровольцем и, рискуя всем, отправился с ними в путь. История этой бесплодной экспедиции имеет весьма малое касательство к моему рассказу, поэтому считаю нужным сказать лишь, что английский флот, значительно превосходивший по силе флот французский, гнался за нами неудержимо, находясь в опасной близости от наших судов, а то, что мы от него ускользнули, спасло меня от виселицы.

К счастью для себя, французы проскочили мимо порта, к которому сначала стремились, и, направляясь к заливу Ферт-оф-Форт, или, как его называют, Эдинбургскому заливу, пристали к берегу у места под названием Монтроз, где не собирались швартоваться, а оттуда вынуждены были вернуться к заливу Ферт-оф-Форт, подошли к входу в него и стали на якорь в ожидании прилива. Однако эта задержка дала возможность англичанам под командованием сэра Джорджа Бинга подойти к Ферт-оф-Форту, стать, подобно нам, на якорь и ждать подъема воды, чтобы войти в залив.

Если бы мы не проскочили, как я уже говорил, мимо порта, вся наша эскадра могла бы быть уничтожена в течение двух дней, и единственное, что мы успели бы сделать, это войти на малых фрегатах в гавань Лита и сбросить там войска и снаряжение, но нам пришлось бы поджечь свои военные суда, так как английская эскадра находилась от нас на расстоянии, для преодоления которого требовалось не больше суток.

Эти неожиданные обстоятельства заставили французского адмирала вывести суда из северной части залива, где они стояли. Летя на всех парусах к северу, мы опередили английский флот и ускользнули от него, потеряв лишь один корабль, который не сумел уйти, так как находился позади всех. Когда мы убедились, а это произошло лишь на третью ночь, что английские суда больше не преследуют нас, мы изменили курс и, потеряв их из виду, направились к побережью Норвегии; двигаясь этим курсом до самого Балтийского моря, мы

бросили в нем якорь и выслали два разведывательных судна, чтобы изучить обстановку и убедиться в том, что в море не видно ничего подозрительного. Удостоверившись, что противник нас больше не преследует, мы поплыли назад, убавив паруса, и в целости и сохранности вернулись в Дюнкерк. Я был несказанно счастлив, когда ступил на берег, ибо во время нашего спасительного бегства я испытывал невообразимый ужас, ощущая уже как бы петлю на шее, ведь если бы меня схватили, то, несомненно, повесили бы.

Но опасность миновала, я получил увольнение из армии, и, заручившись разрешением Кавалера, помчался в Париж. Неожиданность моего появления дома позволила мне, к несчастью, сделать открытие относительно моей жены, которое меня отнюдь не порадовало. Я обнаружил, что ее милость водила компанию, неподходящую, как я имел основания считать, для порядочной женщины; и так как я на собственном опыте испытал, каков ее нрав, меня охватили ревность и тревога. Должен признаться, что все это задело меня весьма глубоко, ибо во мне воскресло непреодолимое влечение к ней, а манеры ее стали весьма привлекательны, особенно после того, как я привез ее во Францию. При свойственном ей легкомыслии она не могла вести себя иначе, да еще находясь в таком средоточии любовных утех, как Париж.

Обидно было и то, что мне выпало на долю быть рогоносцем как на чужбине, так и дома, и я приходил порою из-за этого в такую ярость, что терял самообладание при одной мысли о своей судьбе. Целыми днями, а иногда и ночами я размышлял, как отомстить ей и особенно как добраться до того негодяя, который обесчестил и одурачил меня. Мысленно я сотни раз совершал убийство, а Сатана, который, несомненно, склоняет нас ко злу, а возможно, является главным возбудителем злого начала в душе человеческой, непрерывно искушал меня мыслями об убийстве моей жены.

Он довел этот страшный замысел до конца, разжигая во мне жестокие стремления, — всякий раз как слово «рогоносец» всплывало у меня в мозгу, я приходил в бешенство, так что я перестал сомневаться, убивать ее или нет, и сосредоточил свое внимание на том, как совершить убийство и затем избежать кары.

Все это время я не располагал убедительными доказательствами ее вины и потому не упрекал ее ни в чем и не давал ей почувствовать своих подозрений; правда, по изменившемуся отношению к ней она могла бы понять, что меня что-то тревожит, но она ничего не заметила, встретила меня очень ласково и как будто обрадовалась моему приезду. Я обнаружил также, что за время моего отсутствия она не тратила денег зря, но ревность, как говорят умные люди, ослепляет, лишает человека разума, и мое расстроенное воображение воспринимало ее бережливость как доказательство того, что она была у кого-то на содержании и ей незачем было тратить мои деньги.

Должен признаться, что, хотя за ней не было никакой вины, она оказалась в трудном положении, потому что во мне так укоренилась мысль о ее бесчестности, что, если бы она проявила щедрость, я объяснил бы это тем, что она тратила деньги на своих поклонников, а поскольку она оказалась бережливой, я полагал, что она была у них на содержании. В общем, вынужден повторить, что воображение мое было расстроено, я считал себя опозоренным и ни на минуту не мог избавиться от этой мысли.

Хотя окончательного разрыва тогда не произошло, я был так одержим уверенностью в ее вине, что не нуждался ни в каких доказательствах и относился с подозрением ко всем, кто посещал ее или с кем она разговаривала. С нами в доме жил гвардейский офицер, человек весьма порядочный и знатный; однажды, когда я находился в маленькой гостиной, примыкавшей к комнате, где сидела в это время моя жена, туда вошел этот господин, что ни в коей мере не нарушало приличий, поскольку он был нашим соседом. Он сел и начал беседовать с моей женой, не ведая, что я нахожусь рядом. Дверь между комнатами была открыта, я слышал каждое слово и мог удостовериться, что ничего, кроме светского разговора, там не происходило. Они обменивались случайными новостями, болтали о некоей юной даме, девятнадцатилетней дочери одного горожанина, которая неделей раньше вышла замуж за

адвоката парижского суда, богача шестидесяти трех лет, о богатой вдове, живущей в Париже, которая вышла замуж за камердинера своего покойного мужа, и о других мелочах, которые, как я теперь сознаю, нисколько не порочили моей жены.

Однако меня охватили ревность и гнев. То мне казалось, что он допускает вольности в обращении с моей женой, то, что она ведет себя слишком бесцеремонно, и я уже был готов ворваться к ним в комнату и осыпать их оскорблениями, но сдержался. Потом он стал со смехом рассказывать ей какую-то историю о девице, которая, как я понял, отдалась старику, но и в этом разговоре не было ничего непристойного. Я же, сгорая от бешенства, не мог больше выносить этого, вскочил и бросился в соседнюю комнату. Прервав жену на полуслове, я выпалил: «Итак, сударыня, вы считаете, что он слишком стар для нее?» И, бросив на офицера взгляд, который, как мне представляется, придал моему лицу сходство с бычьей мордой на вывеске трактира «Бык и глотка»[138] в Олдергейте, я выскочил на улицу.

Маркиз (таков был титул этого офицера) уразумел, что я имею в виду, и, как человек благородный и храбрый, немедленно последовал за мной. Услышав на улице его покашливание, которым он старался обратить на себя мое внимание, я остановился, и он подошел ко мне. «Сударь, — сказал он, — у нас во Франции, к сожалению, существуют очень суровые законы, по которым попытка затеять дуэль влечет за собой крайне строгое наказание. Но будь что будет, а вы должны немедленно дать мне объяснение касательно вашего поступка».

Я несколько успокоился за это время, обдумал свое поведение и почувствовал, что был неправ. Поэтому я сказал ему с полной искренностью: «Сударь, вы человек благородный, я знаю вас очень хорошо и питаю к вам глубокое уважение. Я был немного обеспокоен поведением моей жены, да и вы в подобном случае разве не испытывали бы то же самое?»

«Меня огорчает, что между вами и вашей супругой возникла рознь, — сказал он, — но при чем тут я? Разве вы можете обвинить меня в том, что я допустил хоть что-либо неподобающее, разговаривая с ней о том-то и о том-то?» Здесь он напомнил содержание их беседы. «И поскольку я знал, что вы находитесь в соседней комнате, куда дверь была открыта, и слышите каждое слово, я был уверен, что столь невинную беседу нельзя истолковать превратно».

«Я бы не видел в этом разговоре ничего дурного, — сказал я, — если бы не полагал, что он может привести в дальнейшем к излишней фамильярности между вами, чего я, как человек благородный, допустить не могу. Однако, сударь, — добавил я, — я обратился к моей жене, а вас же лишь приветствовал, приподняв шляпу».

«Да, — сказал он, — и бросили при этом на меня взгляд, полный дьявольской ярости. Разве такой взгляд не говорит сам за себя?»

«Ничего не могу сказать по этому поводу, — ответил я, — так как сам себя не вижу. Но моя, как вы выразились, ярость относилась к моей жене, а не к вам».

«Но послушайте, сударь, — воскликнул он, распаляясь, по мере того, как я успокаивался, — ваш гнев был вызван беседой вашей супруги именно со мной, следовательно, это касается также и меня, и я должен выразить свое негодование».

«Не думаю, сударь, — заявил я, — что поссорился бы с вами, даже если бы застал вас у моей жены в постели. Раз она пустила вас к себе в постель, то она и есть преступница, а к вам у меня претензий нет. Ведь не могли бы вы оказаться у нее в постели, если бы она того не пожелала. А раз она захотела стать доступной женщиной, то ее и следует наказать. С вами же мне ссориться нечего, если удастся, я пересплю с вашей женой, и тогда мы будем квиты».

Все это я проговорил весьма добродушно, желая утихомирить его, однако мой тон на него не подействовал — он требовал от меня, как он выражался, сатисфакции, а я объяснял ему, что их суд ко мне, иностранцу, едва ли проявит сострадание и что мне не следует сражаться с человеком за то, что он встречался с моей женой, так как я сам виноват, что связался со

скверной женщиной. Я пытался доказать ему, сколь неблагоразумно, чтобы я, потерпевший, подвергнулся такой же опасности, что и мужчина, который опозорил меня, заняв мое место в супружеской постели.

Но на этого человека ничего не действовало — я нанес ему оскорбление, смыть которое можно было, по его мнению, только кровью. Итак, мы договорились отправиться вместе в город Лилль во Фландрии. К тому времени я уже достаточно поднаторел в военном деле, чтобы смело смотреть врагу в лицо. Гнев против жены пробудил во мне бесстрашие, да еще маркиз обронил несколько слов, которые совершенно разъярили меня и довели до крайности, ибо, говоря о моем недоверии к жене, он заявил, что, не располагая твердыми доказательствами, я не должен подвергать свою жену подозрениям; я же ответил ему, что если бы я уже имел такие доказательства, то подозрения были бы излишни. Тогда он заметил, что, если бы ему выпало счастье пользоваться ее благосклонностью, он бы уж постарался, чтобы у меня подозрений не возникало. Я ответил ему с той резкостью, какой он добивался, а он на это заявил по-французски: «Nous verrons au Lisle»[139], что означает: «Продолжим этот разговор в Лилле».

Я выразил мнение, что для нас обоих нет смысла ехать так далеко, чтобы разрешить этот конфликт, и что с таким человеком, как он, мы можем сразиться тут же на месте, а тот из нас, кому выпадет счастье стать победителем, сможет бежать в Лилль после дуэли с тем же успехом, что и до нее.

Так мы шли, обмениваясь резкостями, но не нарушая при этом правил приличия, пока не добрались до предместий Парижа, откуда начинается дорога на Шарантон. Когда вся дорога открылась перед нами, я указал ему на деревья, росшие вдоль ограды сада, принадлежавшего господину ***, и сказал, что это весьма подходящее для нас место. Мы направились туда и немедленно принялись за дело. После нескольких финтов он сделал меткий выпад, разрезав мне наискосок руку, но в то же мгновение острие моей шпаги вонзилось ему в грудь, и он, проронив лишь несколько слов, упал. Маркиз, решив, что он умирает, признался, что виноват передо мною и не должен был драться на дуэли. Он просил меня немедленно скрыться, но я отправился обратно в город, так как считал, что нас никто не видел. К вечеру, примерно через шесть часов после дуэли, двое прибывших друг за другом посланцев сообщили, что маркиз смертельно ранен и отправлен в какой-то дом в Шарантоне. Известие о том, что он жив, конечно, немного обеспокоило меня, так как, полагая, что я скрылся, он мог сознаться и назвать меня. Однако, убедившись в том, что мне пока ничего не грозит, я пошел к себе в спальню и вынул из шкатулки все лежавшие в ней деньги, которых, как мне представлялось, было достаточно для предстоящих расходов. Так как я располагал акцептованным векселем на две тысячи ливров[140], я спокойно направился к знакомому негоцианту и получил в счет моего векселя пятьдесят пистолей, сообщив ему, что еду по делам в Англию и обращусь к нему за остальной суммой, когда она окажется в его распоряжении.

Устроив таким образом свои дела, я достал лошадь для моего слуги, — у меня самого был очень хороший конь, — и вновь вернулся домой, где узнал, что маркиз еще жив. Все это время моя жена так умело скрывала свою тревогу о судьбе маркиза, что у меня не было оснований выразить свое недовольство ею. Однако она вскоре, очевидно, заметила в моем поведении признаки гнева и возмущения и, увидев, что я готовлюсь к отъезду, спросила: «Вы уезжаете?» — «Да, сударыня, — ответил я, — и даю вам возможность оплакивать вашего друга, маркиза». При этих словах она вздрогнула и проявила все признаки страшного испуга. Бесконечно крестясь и взывая к деве Марии и к святым своей родины, она наконец воскликнула: «Возможно ли? Неужели маркиза убили вы? Тогда мы оба погибли!»

«Вам, сударыня, смерть маркиза, надеюсь, принесет большее горе, чем мне — разрыв с вами. С меня достаточно того, что маркиз честно признал вашу вину; между нами все кончено». Она бросилась ко мне, крича, что поедет со мной, уверяя меня в своей невиновности, но приводя такие доказательства, которые не могли убедить меня. Я в бешенстве оттолкнул ее, воскликнув: «Allez, infame!»[141], то есть «Прочь, бесстыжая, не заставляйте меня сделать то,

что мне повелевает долг, если я останусь с вами, — отправить вас к вашему милому другу, маркизу». Я отшвырнул ее с такой силой, что она упала навзничь, издав при этом душераздирающий вопль, и не зря, так как ушиблась она очень сильно.

Я пожалел, конечно, что так толкнул ее, но следует учесть, что я был в состоянии крайней ярости, беспредельного гнева и безумия, — как говорится, вне себя. Все же я помог ей подняться, уложил ее в постель и позвал служанку, приказав ей позаботиться о своей госпоже. Затем я вышел из дому, сел на лошадь и отправился в путь, но не в сторону Кале, Дюнкерка или Фландрии, так как можно было догадаться, что я ускользну именно туда, — и действительно в тот же вечер за мной была послана погоня как раз в том направлении, — а поехал в сторону Лотарингии, скакал всю ночь, на следующий день переехал Марну и к вечеру оказался в Шалоне, а на третий день в целости и сохранности прибыл во владения герцога Лотарингского[142], где остался на один день, чтобы обдумать, куда двинуться дальше, ибо для меня было одинаково опасно как оставаться в пределах владений французского короля, так и быть захваченным в качестве подданного Франции ее союзниками. К счастью, в Бар-ле-Дюке я получил добрый совет от священника, который, хотя я не раскрыл ему подробностей моего положения, понял, в чем дело, и сказал, что многие джентльмены в подобных случаях отправляются по дороге, которую он хочет мне предложить. Этот добросердечный padre[143] достал для меня документ, удостоверяющий, что я поставщик аббатства ***, и пропуск для проезда в Цвейбрюккен — город, принадлежавший шведскому королю. Располагая такими полномочиями и рекомендательным письмом священника к его тамошнему коллеге, я получил в Цвейбрюккене от имени короля Швеции пропуск в Кёльн, откуда, находясь уже в полной безопасности, отправился в Нидерланды, где без всякого труда прибыл в Гаагу. Затем весьма секретно, сменив несколько фамилий, я добрался до Англии. Так я избавился от своей итальянской жены, вернее было бы сказать шлюхи, ибо раз я сам совратил ее, то что же ей оставалось, как не распутничать?

Прибыв в Лондон, я написал моему другу в Париж, но местом отправления своего письма пометил Гаагу, куда и просил его направить ответ. Меня интересовало, получил ли он уже деньги по моему векселю, ведется ли какое-нибудь расследование моего дела, какими сведениями обо мне и моей жене он располагает и, главное, какова судьба маркиза.

Через несколько дней пришел ответ, из которого я узнал, что деньги по моему векселю он получил и готов отправить их мне, как только я распоряжусь. Далее сообщалось, что маркиз жив. «Но, — писал он, — жизни вы его, однако же, лишили, ибо он потерял чин офицера гвардии, приносивший ему двадцать тысяч ливров дохода, и все еще находится в заточении в Бастилии». За мной, как он сообщал, была послана погоня, и преследователи, сообразно с их подозрениями, гнались по дороге на Дюнкерк до Амьена и по дороге во Фландрию до Камбре, но, не обнаружив меня, повернули назад. Маркиз же был достаточно благоразумен, чтобы не выдать тайны нашей дуэли, и сказал, что подвергся нападению на дороге. Он рассчитывал, что, если меня не схватят, он будет оправдан из-за отсутствия улик, и хотя мой побег является обстоятельством, отягчающим подозрения против него, так как в тот день нас видели вместе и было известно, что между нами произошла ссора, все же доказать ничего нельзя, и он отделается потерей офицерского чина, что, учитывая его богатство, он сможет перенести довольно легко.

Что касается моей жены, то, как писал мой друг, она безутешна и довела себя слезами до полного изнеможения; правда, добавил он не без ехидства, он не может определить, кого она оплакивает — меня или маркиза. Он сообщил мне также, что она испытывает денежные трудности, которые ее чрезвычайно тяготят, и что, если я не позабочусь о ней, она окажется в отчаянном положении.

Конец письма меня глубоко взволновал, ибо я считал, что как бы там ни было, но я не должен допустить, чтобы она голодала. Кроме того, нищета — это испытание, которое женщине трудно перенести, и я не имею права способствовать тому, чтобы она была низвергнута в страшную пучину преступлений, если могу этому помешать.

Приняв такое решение, я вновь написал ему письмо, в котором просил его навестить ее и разузнать, насколько возможно, об ее обстоятельствах. Если же он удостоверится, что она действительно испытывает нужду и, что особенно важно, не ведет бесчестной жизни, пусть даст ей двадцать пистолей и скажет, что при условии, если она будет жить уединенно и честно, я ежегодно буду посылать ей такую же сумму, чем и обеспечу ее существование.

Она взяла двадцать пистолей, но попросила его передать мне, что я нанес ей обиду незаслуженными обвинениями и теперь должен восстановить справедливость; я погубил ее, сказала она, тем, что обошелся с ней так жестоко, не располагая ни доказательствами ее вины, ни основаниями для подозрений; что же касается двадцати пистолей в год, то это — жалкое пособие для супруги, которая, как она, следовала за мужем по всему свету и тому подобное. Она уговорила моего друга добиться от меня сорока пистолей в год, и я дал на это свое согласие. Однако мне пришлось отсчитать их лишь однажды, потому что через год маркиз, проникшись к ней вновь глубоким чувством, взял ее к себе и, как сообщил мне мой друг, установил ей пособие в четыреста крон в год, а я больше о ней никогда ничего не слышал.

Итак, я находился в Лондоне, но был вынужден вести уединенную жизнь и скрываться под чужим именем, чтобы никто в стране не знал, кто я такой, кроме негоцианта, через которого я вел переписку с моими людьми в Виргинии и, главное, с моим наставником, который теперь стал управляющим всеми моими делами и достиг с моей помощью полного благополучия; правда, он заслуживал всего, что я сделал или мог сделать для него, так как был мне самым преданным другом и слугой из всех, во всяком случае, в тех краях.

Я переносил столь одинокую, затворническую жизнь с большим трудом. На собственном примере я убедился в справедливости слов из Писания: не хорошо быть человеку одному[144]; меня одолевала тоска, на сердце было тяжело, я не знал, куда девать себя, особенно потому, что страх удерживал меня от отъезда за границу. Наконец я решился все бросить, отправиться опять в Виргинию и жить там совершенно уединенно.

Но когда я поразмыслил над своими намерениями более обстоятельно, то понял, что не могу ограничиться только частной жизнью. Меня одолевала жажда все испробовать, изведать и познать, что было для меня источником величайшего наслаждения. Хотя я теперь не имел отношения к армии, не принимал участия в военных действиях и не собирался к ним возвращаться, я не мог оставаться равнодушным к тому, что делается на белом свете, и жить в Виргинии, где мне предстояло получать почту лишь два раза в год и читать сообщения, относящиеся к давно минувшим временам.

Я пришел к выводу, что обретаюсь у себя на родине в неплохих денежных обстоятельствах и что, хотя за границей мне не повезло и с собой я привез мало средств, я смогу жить в достатке, если поведу дела осторожно и умело. Мне некого было содержать, кроме самого себя, а мои плантации в Виргинии давали обычно доход от четырехсот до шестисот фунтов, а один год даже больше семисот фунтов, ехать же туда — значит похоронить себя заживо. Таким образом, я отбросил все мысли об отъезде в Виргинию, решил обосноваться где-нибудь в Англии и устроиться так, чтобы знать обо всех, а обо мне чтобы не знал никто. Место жительства я выбирал недолго, ибо, поскольку я прекрасно говорил по-французски, прожив среди французов столько лет, мне было легко сойти за одного из них. Я поехал в Кентербери, где среди англичан выдавал себя за француза, а среди французов — за англичанина; моей маскировке способствовало еще то, что для французов я был мосье Шарно, а для англичан мистер Чарнок.

Здесь я жил совершенным инкогнито. Ни с кем близко я не сошелся, но при этом со всеми водил знакомство. Я участвовал в общих беседах, говорил по-французски с валлонами[145] и по-английски с англичанами, вел замкнутую и умеренную жизнь, ко мне относились достаточно любезно люди разного положения; поскольку я не вмешивался ни в чьи дела, никто не вмешивался в мои, и мне казалось, что я живу совсем недурно.

Но я не чувствовал полного удовлетворения, так как питал склонность к мирной семейной жизни, и хотя, как вам известно, две попытки, которые я сделал, окончились неудачно, это невезение не расхолодило меня. Напротив, я твердо решил жениться и занялся поисками как можно более подходящей жены, но каждый раз что-нибудь приходилось мне не по вкусу. Лишь однажды я встретил весьма благовоспитанную дочь одного джентльмена, но получил такое множество отказов, обоснованных самыми разными причинами, что вынужден был отступить. И хотя мои ухаживания, несомненно, принимались благосклонно и я сумел так расположить юную леди к себе, что оставалось лишь окончательно уладить все дело, с ее отцом было трудно договориться: он все время прекословил, сегодня был недоволен одним, завтра другим, отрекался от собственных слов, бесконечно менял свои решения, так что в конце концов юная леди и я вынуждены были отказаться от своего замысла, ибо она не хотела выходить замуж без согласия отца, а я не собирался похищать ее; так и закончилась вся эта история.

Разочарование заставило меня покинуть Кентербери и отправиться в Лондон дилижансом.

Здесь и произошел со мной в своем роде необыкновенный случай.

В дилижансе ехала молодая женщина со служанкой. Она сидела передо мной в позе, выражающей глубокую скорбь, все время горько вздыхала, а когда к ней обращалась служанка, заливалась слезами. Хотя мы провели еще мало времени вместе, я, заметив ее печаль, решил немного утешить ее и спросил о причинах ее горя, но она не ответила ни слова, а служанка, еле сдерживая слезы, сказала, что умер ее господин. При этих словах дама вновь разрыдалась, и в течение всего утра я больше ничего не смог добиться ни от госпожи, ни от ее служанки. Когда приспело время обеда, я сказал даме, что она, понятно, не захочет обедать вместе со всеми пассажирами и что я был бы рад предложить ей отобедать со мной в отдельной комнате, тем более что все остальные пассажиры — иностранцы. Служанка поблагодарила меня от имени госпожи, но сказала, что госпожа ее не в состоянии есть и хочет остаться в одиночестве.

Мне удалось, однако, побеседовать немного со служанкой, узнать, что ее госпожа — жена капитана корабля, который направлялся за границу, куда-то в Проливы[146], я думаю, к острову Занте[147] и в Венецию; но, доплыв только до рейда Даунс, капитан занемог и, проболев десять дней, умер в Диле. Его жена, проведав, что он болен, отправилась в Дил и застала его при смерти. Она похоронила его и теперь едет в Лондон, охваченная неутешным горем.

Я искренне сочувствовал юной вдове и попытался в нескольких словах выразить ей свое соболезнование, но она не отвечала мне, лишь изредка, в знак вежливости, кивала головой, не давая мне никакой возможности не только взглянуть ей в лицо, но даже убедиться, что оно вообще существует, не говоря уж о том, чтобы представить себе, каково оно. Стояла зима, поэтому дилижанс делал остановку в Рочестере, не успевая пройти весь путь, как летом, за один день. Незадолго до прибытия в Рочестер я сказал даме, что, как я догадываюсь, она весь день ничего не ела и может из-за этого разболеться, а ее покойному мужу легче от этого не станет. Я старался убедить ее, что, поскольку я человек посторонний и просто выполняю долг вежливости и желаю умерить ее страдания, она не нарушит приличий, если отужинает со мной как с попутчиком; что же касается остальных пассажиров, то они, видимо, не знают этого обычая, да и не стремятся ему следовать.

Она кивнула головой, но ничего не ответила, и лишь после того, как я привел ряд убедительных доводов, облеченных, чего она не могла не заметить, в самую вежливую и любезную форму, она сказала, что благодарит меня, но не может проглотить ни крошки. «Сударыня, — настаивал я, — попробуйте сесть за стол, может быть, вы найдете в себе силы

подкрепиться, хоть вам и кажется, что вы есть не в состоянии. Это вам совершенно необходимо. Вы погибнете, если будете так вести себя, да еще в дороге. Вы можете серьезно заболеть», — уговаривал я ее, а служанка добавила: «Сударыня, умоляю вас, постарайтесь немного отвлечься от своих мыслей». Я стал опять упрашивать ее, и она учтиво склонила голову, но вновь повторила, что есть не может. Служанка продолжала настойчиво убеждать ее, говоря: «Милая госпожа, послушайтесь этого любезного джентльмена, умоляю вас», — а затем, обращаясь ко мне, сказала: «Сэр, мне кажется, что моя госпожа последует вашему совету», — и в ее тоне послышалась радость.

Тем временем я не прекращал своих уговоров и, оставив без внимания слова служанки о том, что я любезный джентльмен, сказал: «Сударыня, я для вас человек посторонний, и если вы полагаете для себя неприличным ужинать со мной, я могу остаться здесь внизу и послать ужин в вашу комнату». Тогда она отрицательно покачала головой, в первый раз за все время взглянула на меня и сказала, что не испытывает никаких опасений по этому поводу, что мое предложение весьма любезно и что ей так же неприятно отвергнуть его, как было бы неловко принять, находись она там, где ее знают. Далее она добавила, что не считает меня посторонним, так как видела меня раньше, и готова посидеть со мной за столом, потому что мне этого хочется, но не может дать обещания отужинать и надеется, что я этого от нее и не потребую даже в благодарность за мое доброе к ней отношение.

Меня напугали ее слова о том, что она встречала меня раньше, так как я ее совершенно не знал, и фамилия ее, которую мне удалось выведать у служанки, была мне незнакома; я почти раскаивался в своей любезности, поскольку для меня было очень важно остаться неизвестным. Однако я не мог уже ничего поделать, и, кроме того, раз меня знали, было необходимо разведать, кто же эта дама и при каких обстоятельствах она меня встречала; поэтому я не изменил своего любезного тона.

Уже темнело, когда мы подъехали к постоялому двору. Я помог вдове выйти из дилижанса, протянув ей руку, и она не отвергла моей услуги. Хотя она немного приподняла капюшон, мне не удалось в темноте разглядеть ее лица. Затем я подвел ее к двери и проводил вверх по лестнице до залы, куда хозяин гостиницы предложил всем пассажирам пройти для отдыха. Однако она отказалась войти туда, заявив, что предпочитает удалиться прямо к себе, и велела служанке сказать хозяину, чтобы он провел их в предназначенную ей комнату. Я проводил ее до двери и ушел, не преминув напомнить, что жду ее к ужину.

Для того чтобы принять ее любезно, но сдержанно и без расточительства, ибо я не заходил в своих намерениях дальше проявлений учтивости, проистекавшей из простого чувства сострадания к горю истинно и беспримерно несчастной женщины, — итак, повторяю, чтобы принять ее достойно, но скромно, я приготовил все, что можно было достать в трактире: пару куропаток и прекрасное блюдо устриц под соусом. Потом нам принесли говяжий язык и окорок, почти весь нарезанный, но мы этого уже не ели, потому что были сыты и оставили столько устриц, что их хватило на ужин служанке.

Я хочу подчеркнуть, что не собирался за ней ухаживать, ни о чем подобном я тогда и не помышлял, а просто питал жалость к несчастной женщине, пребывавшей в крайне горестных обстоятельствах.

Я уведомил служанку, что ужин готов, и она, освещая путь свечой, привела свою госпожу; наконец-то на ней не было плаща, голову не прикрывал черный шарф, а на глаза не свешивался капюшон, и я увидел ее лицо и был поражен его необычайной красотой. Я учтиво поклонился ей и провел ее сразу к камину, так как стол, хотя уже и накрытый, стоял далеко от огня, а погода была холодная.

Она несколько оживилась, но все же была еще печальной и часто вздыхала, вспоминая о своем горе. Но она так искусно владела собой и чувство грусти столь тонко проступало в ее речах, что ее благородные манеры приобретали особую прелесть. Мы долго беседовали о

разных предметах, постепенно мне удалось узнать ее имя от нее самой, — раньше мне сообщила его служанка, — а также выяснить, что она живет около Рэтклифа, или, точнее, Степни; я попросил разрешения навестить ее там, когда она посчитает это уместным, и она дала мне понять, что ждать этого придется недолго.

Нелепо занимать внимание читателей описанием красоты человека, которого они никогда не увидят, достаточно сказать, что она была самой прелестной женщиной из всех, каких мне довелось видеть до или после встречи с нею. Не удивительно, что едва только я взглянул ей в лицо, как был пленен, а уж ее манеры были столь благородны, что не берусь описать их.

На следующий день она держалась гораздо непринужденнее, и мы беседовали так долго, что многое узнали друг о друге; она дала мне разрешение заехать к ней и осмотреть ее дом, что я сделал, впрочем, лишь через две недели, так как не знал, сколь долго она будет соблюдать обычаи, приличествующие началу траура.

Все же я получил возможность посетить ее под предлогом дела, связанного с кораблем, с которого сняли ее умирающего мужа, и когда я в первый раз приехал к ней, то был любезно принят и сразу же признался ей в любви. Она отнеслась к моему объяснению неодобрительно, и хоть и не позволила себе резкостей, но твердо заявила, что мое предложение привело ее в ужас и она впредь не желает слышать ничего подобного.

Я сам тогда не понимал, откуда у меня взялась смелость сделать ей предложение, хотя намерение это зародилось у меня с первой же встречи.

Тем временем я навел справки о ее денежных делах и нраве — и получил самые благоприятные сведения и о том и о другом. Но всего важней то, что она пользовалась славой самой добросердечной и благовоспитанной дамы во всей округе. Я уверовал, что нашел наконец то счастье, к которому, дважды потерпев неудачу, так долго стремился, и твердо решил не упускать эту женщину, если будет хоть малейшая надежда добиться ее.

Правда, иногда я вспоминал, что женат, что жива моя вторая жена, с которой, хотя она обманывала меня и оказалась потаскухой, я не разведен, и поэтому она остается моей женой. Но я быстро преодолел эти сомнения, так как, раз она продажная женщина, в чем мне признался маркиз, значит, мой брак вроде бы как расторгнут и я имею право избавиться от нее. Из-за злосчастной дуэли, заставившей меня покинуть Францию, я не мог возбудить судебного процесса, но поскольку я имел на это законное право, у меня было не меньше оснований считать свой брак расторгнутым, чем если бы развод произошел на самом деле. Так я избавился от угрызений совести по этому поводу.

Я терпеливо выждал два месяца, не напоминая вдове о себе, и лишь строго следил, не проявляет ли к ней интерес еще кто-нибудь. Когда прошло два месяца, я снова навестил ее и был принят более непринужденно — не было ни вздохов, ни рыданий по покойному мужу. И хотя она не разрешила мне повторить мое предложение так настойчиво, как я того хотел, мне было все же позволено приехать еще раз, и я понял, что самое важное для нее — соблюдение приличий, что я ей не противен и своим любезным к ней отношением в дороге снискал ее расположение.

Я продолжал видеться с ней и дал ей возможность повременить еще два месяца, но потом сказал, что правила приличий — одна лишь видимость и не идут ни в какое сравнение с чувством любви, что я не в силах долее сносить промедления и что мы, если ей так приятнее, можем пожениться тайно. Короче говоря, своими ухаживаниями я заставил ее принять решение, и примерно через пять месяцев мы тайно обвенчались, причем так искусно скрыли это, что даже служанка, которая столь многим споспешествовала нашему браку, целый месяц ничего не знала.

Теперь не только в воображении, но и в действительности я стал самым счастливым человеком на свете, так как был полностью всем удовлетворен. Моя жена на самом деле оказалась добрейшей в мире женщиной, отличалась совершенной красотой и отменной

воспитанностью, словом, не имела ни единого недостатка. Это блаженство длилось, не прекращаясь ни на мгновение, почти шесть лет.

Но и на этот раз мне, которому на роду было написано изведать тяжкие страдания в семейной жизни, был в конце концов вновь нанесен тяжелый удар. Жена подарила мне троих прелестных детей, и вот, родив последнего, она схватила простуду, от которой долго не могла оправиться и очень ослабла. Во время этой длительной болезни она, к несчастью, привыкла принимать сердечные лекарства и горячительные напитки, а влечение к питью, подобно дьяволу, завладевает человеком и потихоньку да помаленьку ведет его к гибели. Так случилось и с моей женой: желая избавиться от болезни и слабости, она принимала то одно лекарство, то другое и вскоре не могла уже жить без них, — так она переходила от капли к глотку, от глотка к рюмочке, от рюмочки к стакану, а то и двум, пока не пристрастилась к тому, что принято называть пьянством.

Если я уподобил дьяволу пьянство, которое постепенно завладевает человеком и превращается в привычку, то когда оно укореняется в душах людей, подчиняя себе их разум, это сходство становится еще очевидней. Так моя очаровательная, добрая, скромная, благовоспитанная жена превратилась в животное, в рабу горячительных напитков, которые она поглощала не только за общим столом, но и находясь в одиночестве в своей комнате, из-за чего эта изящная женщина растолстела как трактирщица, а на ее некогда прелестном, а ныне обрюзгшем и покрытом пятнами лице не осталось и следа былой красоты, и лишь прекрасные глаза сияли на нем до конца ее дней. Словом, она потеряла все — красоту лица и фигуры, изящество манер и, наконец, добродетель. Безраздельно отдавшись этому проклятому занятию, она довела себя до гибели за какие-нибудь полтора года. За это время она дважды была разоблачена в позорной связи с одним морским капитаном, который, как последний негодяй, воспользовался тем, что она пьяна и не ведает, что творит. А потом она повела себя еще хуже, ибо когда она опомнилась, то не испытала стыда и раскаяния, а напротив, продолжала упорствовать в грехе; так в конце концов пьянство убило в ней добродетель.

О, сколь всевластна невоздержанность! Как разрушает она самые благие намерения, как постепенно и незаметно завладевает нами, как гибельно влияет на нравственность, превращая самых добродетельных, уравновешенных, воспитанных, образованных и благожелательных людей в безжалостных и жестокосердых! Недаром рассказывают притчу, не знаю, правда это или выдумка, о том, как дьявол искушал юношу, уговаривая его убить отца. «Нет, — сказал тот, — это противно человеческому естеству». — «Тогда, — молвил сатана, — раздели ложе со своей матерью». — «Нет, — сказал юноша, — это отвратительно». — «Ну, что ж, — воскликнул дьявол, — раз ты не хочешь сделать мне ничего приятного, иди напейся допьяна». — «Вот это мне нравится, — ответил юноша, — так я и поступлю». И он пошел и напился как свинья, а опьянев, убил отца и возлег со своей матерью.

Не было на свете женщины более добродетельной, скромной, целомудренной и равнодушной к вину, чем моя жена. У нее никогда не возникало желания выпить что-нибудь крепкое: лишь после настойчивых просьб она соглашалась выпить один-два стаканчика. Даже в гостях ее не тянуло к вину; не было случая, чтобы она произнесла непристойное слово, а услышав что-нибудь подобное, выражала негодование и отвращение. Но, как я уже рассказывал, из-за болезни и слабости после родов она по настоянию сиделки стала принимать от упадка сил сердечные капли и немного спиртного, пока уже не могла обходиться без них, и постепенно так к ним привыкла, что эти средства стали для нее не лекарством, а хлебом насущным; аппетит у нее сначала ослаб, а потом совсем пропал, она почти ничего не ела и дошла до такого ужасного состояния, что, как я уже говорил, к одиннадцати часам утра напивалась у себя в будуаре и в конце концов стала пить беспробудно.

Ведя, как я уже упоминал, столь невоздержанный образ жизни, она утратила все свои достоинства, и один негодяй, если можно назвать так джентльмена, который считался близким знакомым и делал вид, что просто приходит к ней в гости, так напоил мою жену и ее служанку,

что улегся в постель с госпожой в присутствии служанки, а потом со служанкой в присутствии госпожи. После этого он, видимо, позволял себе подобное, когда ему заблагорассудится, пока девка, обнаружив, что она беременна, не открыла эту отвратительную тайну. Посудите сами, каково было мне, считавшему себя целых шесть лет самым счастливым человеком в мире и превратившемуся теперь в жалкое, обезумевшее от горя создание. Однако я так любил свою жену и настолько хорошо понимал, что причиной всему было ее губительное пьянство, что не ощущал к ней того отвращения, которое испытывал к ее предшественнице. Меня пронизывала глубокая жалость к ней! Я отказал всей ее прислуге и фактически запер ее на замок, запретив новым слугам пускать к ней кого бы то ни было без моего ведома.

Но неразрешенным оставался вопрос, как поступить с негодяем, который нанес такое оскорбление мне и ей. Мне казалось неприемлемым вызвать его, как равного, на дуэль, потому что он обошелся со мной так, что не заслуживал честного поединка, и я решил подстеречь его на лугу в Степни, которым он часто проходил вечерами, возвращаясь домой, и выстрелить в него в темноте, но постараться, чтобы он успел узнать от меня, за что погибает. Но, когда я стал обдумывать это намерение, то почувствовал, что оно противоречит как моему характеру, так и нравственным убеждениям и что кем-кем, но убийцей я ни за что не стану.

Но все же я решил сурово наказать его за содеянное, и вскоре к этому представился случай: узнав однажды утром, что он отправился лугом из Степни в Шэдуэлл, как, по моим сведениям, он часто ходил, я притаился там, ожидая его возвращения домой, и столкнулся с ним лицом к лицу.

Без лишних слов я сообщил ему, что давно ищу этой встречи, что ему, конечно, известно, какую подлость совершил он по отношению ко мне, и вряд ли он может предположить, что я, зная все, окажусь трусом и рогоносцем, не посмевшим отомстить за оскорбление. Я заявил, что пришло время ответить за содеянное, и предложил ему, если у него хватит мужества, признать свою вину и обнажить шпагу, чтобы защитить честь капитана военного судна, коим, как говорят, он является.

Он прикинулся удивленным, вступил в долгие объяснения, стараясь умалить свою вину, но я сказал, что такие разговоры неуместны, потому что он ничего не может опровергнуть, а пытаясь преуменьшить свою роль в преступлении, лишь отягощает вину моей жены, которая, как я уверен, ни за что не пала бы так низко, если бы он не одурманил ее вином. Убедившись в том, что он не собирается сразиться со мной, я одним ударом палки опрокинул его на землю, и пока он валялся без сознания, но живой, я его не трогал, чтобы он немного пришел в себя. Через несколько минут он очнулся, а я крепко ухватил его за руку и принялся лупить что было мочи, стараясь, однако, не попасть по голове, чтобы он как следует все почувствовал. Наконец я сам запыхался, а он запросил пощады, но я еще долго оставался глух к голосу сострадания, пока он не завопил, как мальчишка, которому задали хорошую трепку. Тогда я выхватил из его ножен шпагу, сломал ее у него перед носом и оставил его лежащим на земле, наподдав ему два-три раза ногой пониже спины и предложив, если он сочтет нужным, подать на меня в суд.

Большего удовлетворения от подобного труса получить было невозможно и разговаривать с ним было не о чем. Но, понимая, что в городе эта история может вызвать шум, я немедленно перевез свою семью на север Англии, в городок под названием ***, недалеко от Ланкастера. Так замкнуто, ни с кем не общаясь, я прожил около двух лет. Моя жена, ведя теперь жизнь более уединенную и порвав прежние позорные связи, которые, как я уверен, будили в ней искренний стыд и отвращение, когда она бывала трезвой, все же не утеряла пристрастия к вину. Как я уже говорил, без вина она не могла существовать, поэтому здоровье ее вскоре совсем расстроилось, и примерно через полтора года после нашего переезда на север она скончалась.

Итак, я вновь стал свободным человеком и, как следовало бы ожидать, уже мог убедиться, что узы брака не приносят мне счастья.

Считаю нужным еще упомянуть, что подлый капитан, которого я, как сказано выше, отколотил, распустил слух, будто я с тремя головорезами среди бела дня совершил на него нападение, намереваясь убить его, и жители округи начали принимать это за истину. Я написал ему письмо, в котором изложил все, что до меня дошло, и выразил надежду, что эти россказни исходят не от него, в противном случае, писал я, он должен публично отречься от своих слов и собственной персоной объявить, что это ложь, иначе я буду вынужден опять прибегнуть к моему способу обучения хорошим манерам; я заверил его, что если он будет и впредь врать, что я был не один, то я опубликую всю эту историю в печати и, кроме того, всякий раз при встрече буду колошматить его палкой, пока он не ощутит потребности защищаться шпагой, как подобает джентльмену.

На это письмо он не ответил, и я удовлетворился тем, что распространил его в двадцати или тридцати экземплярах среди соседей, наших общих с ним знакомых, придав письму гласность не меньшую, чем если бы оно было напечатано. В результате к нему воспылали такой ненавистью и презрением, что он был вынужден переселиться на другой конец города, куда именно — я не разузнавал.

После смерти жены я впал в отчаяние: неутешное горе и упадок духа чуть не довели меня до душевного расстройства, так что временами мне казалось, что я действительно помешался. На самом же деле это состояние было вызвано тоской и удручающими событиями недавнего прошлого, и примерно через год все прошло.

Повторяю, что около года я метался, не находя утешения и покоя, пока не вспомнил, что у меня трое ни в чем не повинных детей, с которыми я сам не смогу справиться, и что мне придется либо уехать и бросить их на произвол судьбы, либо обосноваться здесь и найти кого-нибудь для присмотра за ними, ибо они не могут вести бродячую жизнь, а иметь мачеху все-таки лучше, чем быть сиротой. Итак, я решил жениться на первой попавшейся женщине, пускай самого низкого происхождения — чем проще, тем лучше. Я хотел ввести новую жену в дом только в качестве старшей прислуги, то есть няни моих детей и домоправительницы, и будет ли она, говорил я себе, потаскухой или порядочной женщиной, мне совершенно безразлично, потому что человек, подобно мне доведенный до отчаяния, больше ничем не дорожит.

Принимая столь опрометчивое и даже безрассудное решение, я рассуждал таким образом: если я женюсь на честной женщине, то о моих детях будет кому позаботиться, если же моя жена окажется шлюхой и опозорит меня, как поступают, судя по моему опыту, все подобные особы, я сошлю ее на мои плантации в Виргинию, где тяжкий труд и скудная еда заставят ее, уж это я ручаюсь, блюсти себя.

Сначала я прекрасно понимал, что мои рассуждения нелепы, и относился к ним без всякой серьезности. Сам не знаю, как это произошло, но я так долго спорил сам с собой, что совсем запутался и решил еще раз вступить в брак, не ожидая от него ничего хорошего.

Но решение, принятое мною столь стремительно, осуществилось не сразу — только через полгода я нашел, на ком остановить выбор, и со мной произошло то, что бывает со всяким, кто сам себе враг. В соседнем городе, примерно в полумиле от нашего, жила молодая, а вернее будет сказать — средних лет женщина, которая, если погода бывала сносной, часто навещала нас просто по-соседски; после смерти жены она продолжала приходить, весь день возилась с детьми, причем управлялась с ними весьма ловко.

Ее отца я часто посылал по делам в Ливерпуль, а иногда и в Уайтхейвен, потому что, обосновавшись, и, как я думал, окончательно, на севере Англии, я распорядился, чтобы часть моего имущества при первой возможности переправили морем в один из двух городов, куда плыть экипажу капера было гораздо безопаснее — ведь война все еще продолжалась, — чем через Ла-Манш в Лондон.

В конце концов я вообразил, что эта девушка вполне мне подходит, а заметив, как хороша она с детьми и как горячо они ее любят, я решил жениться на ней, льстя себя надеждой, что

если две благородные дамы и простая горожанка, на которых я был женат, оказались шлюхами, то в невинной крестьянской девушке я наконец обрету свой идеал.

Я долго рассуждал сам с собой, и ведь и раньше я вступал в брак только по зрелому размышлению, исключением была лишь вторая женитьба, но на сей раз я принял решение после четырех месяцев серьезных раздумий, и именно эта осмотрительность испортила все дело. Итак, приняв решение, я в один прекрасный день пригласил проходившую мимо моей двери мисс Маргарет к себе в гостиную и сказал, что хочу с ней поговорить. Она охотно вошла, но, когда я предложил ей сесть, вспыхнула, потому что я указал ей на стул рядом с собой.

Я не разводил особых церемоний, а просто сказал ей, что давно заметил, как добра и нежна она к моим детям и как все они любят ее, и что я намерен, если мы с ней придем к согласию, сделать ее их матерью, при условии, что она ни с кем не помолвлена. Девушка сидела молча, не говоря ни слова, пока я не сказал: «Если она ни с кем не помолвлена», — а я, не обращая на это внимания, продолжал: «Послушай, Могги (такое имя принято в деревне), если ты кому-нибудь уже дала обещание, то скажи мне». Дело в том, что, как всем было известно, некий молодой человек, порочный сын одного доброго священника, два или три года увивался вокруг нее, добивался ее любви, но, по-видимому, никак не мог ее уломать.

Она знала, что для меня это не секрет, и поэтому, придя в себя от потрясения, сказала, что мистер *** не раз домогался ее благосклонности, но она в течение нескольких лет отказывала ему и никогда ничего не обещала, так как отец всегда предупреждал ее, что это очень скверный парень, который погубит ее, если она с ним свяжется.

«Ну, Могги, — говорю я ей тогда, — что же ты мне ответишь, согласна ты стать моей женой?» Она вспыхнула, потупилась и долго молчала, когда же я стал настойчиво требовать ответа, она подняла глаза и сказала, что я, наверно, просто шучу. Я же старался переубедить ее, говоря, что у меня такого и в мыслях нет, что я считаю ее благоразумной, честной и скромной девушкой, которую, как я уже говорил, крепко любят мои дети. Я заверил ее, что и не думаю шутить и, если она согласна, даю честное слово, что женюсь на ней завтра утром. Она опять взглянула на меня, слегка улыбнулась и сказала, что не может так быстро дать ответ и просит времени, чтобы подумать и посоветоваться с отцом.

Я ответил, что ей вовсе не нужно много времени для раздумий, но, впрочем, до завтрашнего утра, а это достаточно долго, пусть думает. Между тем я уже успел дважды или трижды поцеловать Могги, а она стала вести себя более непринужденно, и когда я вновь потребовал, чтобы она завтра утром вышла за меня замуж, она рассмеялась и заявила, что венчаться в старом платье — плохая примета.

Но я тотчас же заставил ее замолчать, сказав, что ей не придется венчаться в старом платье, потому что я дам ей новое. «Ну, это, наверное, потом», — заметила Могги и опять засмеялась. «Нет, сейчас, сию минуту, — воскликнул я, — пойдем со мною, Могги». Я провел ее наверх в комнату жены и показал ей новый халат, который покойная жена успела надеть не больше двух-трех раз, и несколько других красивых туалетов.

«Глянь-ка, Могги, — проговорил я, — вот тебе наряды к свадьбе. Дай мне руку, раз ты уже решила завтра выйти за меня. Что же до твоего отца, то ты ведь знаешь, что он уехал по моему поручению в Ливерпуль, и я ручаюсь, что по возвращении домой ему будет только приятно назвать хозяина своим зятем, а приданого я от него не требую. Поэтому дай мне руку», — повторил я весело и опять поцеловал ее, и она тоже с радостью протянула мне руку, чем, смею вас уверить, я был очень доволен.

Неподалеку от нас жил пожилой господин, который считался врачом, но на самом деле был католическим священником, коих много в этой части Англии. Вечером я послал к нему с просьбой зайти ко мне. Он знал, что я догадываюсь о его истинной профессии и что я долго жил в папистских странах[148]; короче говоря, он считал меня католиком, каковым я и был, живя за границей. Когда он пришел, я сообщил ему, зачем его вызвал, и добавил, что хочу

венчаться на следующее утро. Он с готовностью ответил, что обвенчает нас у себя дома, если мы с Могги придем к нему вечером, когда легче, чем утром, сохранить все в тайне. Я вновь позвал Могги и объяснил ей, что поскольку мы с ней все решили, то нет никакой разницы, поженимся ли мы завтра утром или сегодня вечером, при этом я сослался на слова священника. Могги вновь вспыхнула и заявила, что должна сначала побывать дома и что до вечера она не успеет подготовиться. «Послушай, Могги, — воскликнул я, — ты уже теперь моя жена, и девицей ты отсюда не уйдешь. Я ведь знаю, чего ты добиваешься — ты хочешь пойти домой, чтобы сменить белье. Ну-ка, пойдем со мной наверх еще раз». И я потащил ее к комоду, где лежали новые, ненадеванные, а также и ношеные сорочки моей покойной жены. «Вот тебе чистая рубашка, Могги, — молвил я, — а завтра получишь все остальное». Проделав все это, я сказал: «А теперь, Могги, оденься и постучи, когда будешь готова». Я запер комнату и спустился вниз.

Могги не постучала, а просто через некоторое время вошла ко мне в комнату (по-видимому, ей удалось отодвинуть засов) вся разнаряженная, потому что надела и другие вещи, которые я предложил ей взять. Все пришлось ей впору, как на нее сшито.

«Ну, Могги, — говорю я, — ты убедилась наконец, что тебе не придется выходить замуж в старом платье», — и с этими словами я обнял и поцеловал ее, ощутив неведомую мне до той поры радость. Как только стемнело, Могги, как мы условились с доктором, первой выскользнула из дому и прибежала к домоправительнице старого джентльмена, а я пришел туда примерно через полчаса; там, в кабинете доктора, вернее, в его молельне, или часовне — маленькой комнатке, отгороженной от кабинета, — он обвенчал нас, а потом мы остались у него и вместе поужинали.

Посидев там еще немного, я сначала пошел домой один, чтобы отправить детей в постель и отпустить прислугу, а потом пришла Могги, и мы спали эту ночь вместе. На следующее утро я объявил всей семье, что Могги стала моей женой; это известие привело всех троих детей в невообразимый восторг. Так я в четвертый раз стал женатым человеком, и, честно говоря, с этой скромной деревенской женщиной я испытал больше счастья, чем с любой из моих прежних жен. Хотя и не очень молодая, ей было около тридцати трех, она в первый же год родила мне сына. Ее нельзя было назвать красавицей, но она была очень миловидна и хорошо сложена, обладала веселым нравом и отлично вела хозяйство, любила моих детей от третьей жены и, когда появились свои, обходилась с ними по-прежнему ласково, — короче говоря, она была примерной женой, но брак наш длился всего четыре года, так как она, будучи беременной, упала, ушиблась и умерла. Ее смерть явилась для меня поистине тяжелой утратой.

Так уж мне везло с женами, что и на этот раз, несмотря на все признаки робости и застенчивости, выказанные Могги поначалу, впоследствии выяснилось, что в молодости, десять лет тому назад, она согрешила и родила ребенка от хозяина известного в этих краях большого поместья, который обещал на ней жениться, а потом бросил ее. Но так как это случилось задолго до моего приезда сюда, а ребенок умер и был забыт, жители округи отнеслись к ней и ко мне столь благожелательно, что, проведав о нашей женитьбе, не проронили об этом ни слова, так что я ничего не слыхал и не подозревал и узнал обо всем только после ее смерти, когда это уже не могло изменить моего к ней отношения, тем более что она была мне верной, добродетельной и покорной женой. Еще при ее жизни на меня обрушилось тяжелое горе — черная оспа, страшная болезнь, поразившая эту деревню, ворвалась и в мою семью и унесла троих детей и служанку, так что в живых остались только сын от покойной жены и дочь от Могги.

В разгар этих событий в Англию вторглись шотландцы, и произошла битва под Престоном[149]. Тут мне надлежит с благодарностью вспомнить Могги, потому что я рвался в бой, был готов вскочить на коня и, взяв оружие, умчаться прочь и присоединиться к сторонникам лорда Дервентуотера[150], но Могги так заклинала меня остаться, так донимала

меня мольбами и слезами, что я сдался и не двинулся с места, за что должен быть ей признателен.

Я был поистине несчастным отцом, ибо смерть моих детей глубоко ранила меня, но еще больше страдания причинила мне гибель жены, и слухи о ее давних прегрешениях нисколько не притупили моей скорби и не заглушили добрых воспоминаний о ней, потому что все это случилось задолго до нашего знакомства и при ее жизни оставалось мне неизвестным.

Я был безутешен и вскоре понял, что Провидение предопределило, чтобы я удалился в Виргинию — тот, можно сказать, единственный край, где я бывал счастлив и в какой-то мере преуспевал и где, благодаря тому, что мои дела находились в надежных руках, плантации так разрослись, что в иные годы я получал доход в восемьсот фунтов, а однажды даже целую тысячу. Поэтому я решил вновь покинуть родину. Сына я решил взять с собой, а дочь от Могги поручил заботам ее деда, которого назначил моим главным доверенным лицом. Я оставил ему значительные средства на содержание ребенка и свое завещание, в соответствии с которым, если я умру раньше, чем смогу обеспечить дочь иным образом, мой сын должен будет выплатить ей две тысячи фунтов из доходов от моих владений в Виргинии, а если он умрет неженатым, к ней перейдет все мое имущество.

Мы сели на корабль в Ливерпуле в… году и доплыли до Виргинии благополучно, если не считать столкновения с пиратами на 48° северной широты, которые ограбили нас, похитив все, что попалось им под руку, то есть провизию, снаряжение, ружья и деньги. Следует признать, однако, что пираты, хоть и были отъявленными негодяями, людей не тронули; что же касается потерь, то они оказались незначительными, так как груз, который мы везли, состоял главным образом из мануфактурных товаров и не представлял для них особого интереса, а чтобы добраться до него, им пришлось бы обыскать весь корабль, что, по их мнению, не стоило делать.

В Виргинии все мои дела оказались в полном порядке, плантации чрезвычайно разрослись, а мой управляющий, который первым пробудил во мне тягу к путешествиям и сделал меня обладателем всех сколько-нибудь значимых познаний, не мог прийти в себя от радости, увидев меня после двадцати четырех лет моих странствий.

Верным слугам в назидание хочу упомянуть здесь, что он представил, как мне кажется, совершенно точный отчет о всех делах на плантациях со сведенным за каждый год балансом, причем доходы за вычетом почтовых сборов ежегодно полностью переводились на мой счет в Лондоне.

Я имел все основания быть весьма довольным тем, как успешно он управлял моими делами, при этом он не забывал и о своих. За это время он привел в отличное состояние собственную обширную плантацию, которой он обзавелся в силу закона этой страны о владении землей и с моего одобрения. Вас не удивит, что, получив столь приятный и радостный отчет, я ощутил желание осмотреть плантации и увидеть своими глазами подвластных мне невольников, которых было в обеих моих усадьбах и на плантациях более трехсот. Мой наставник обычно покупал изгнанников, доставляемых сюда на кораблях из Англии, и как-то раз я с ужасом заметил в толпе этих людей двух или трех участников Престонской битвы, которым публичную казнь, грозившую всем военнопленным, заменили рабством, что для дворянина хуже смерти.

Я не буду здесь останавливаться на том, что я сделал или сказал, увидев их, так как впоследствии, когда речь пойдет о прибытии остальных их собратьев и об обстоятельствах, имеющих ко мне более близкое касательство, я расскажу об этом подробнее.

Однажды произошел случай, который ошеломил и до крайности потряс меня; как я уже говорил, часто наведываясь на плантации, я пристально вглядывался в лица невольников. Как-то раз я забрел на участок, где работали только женщины. Увидев этих несчастных, я задумался о суетности жизни человеческой; возможно, думал я, они раньше жили весело и

легко, а потом вереница бедствий привела их сюда, и, несомненно, история жизни, рассказанная иной из них, была бы не менее трогательной и поучительной, чем проповедь священника.

Предаваясь таким мыслям и поглядывая на работающих, я вдруг услышал какой-то шум. Раздались громкие крики о помощи, и тут оказалось, что одна из женщин потеряла сознание; все кругом говорили, что, если ей не окажут помощи, она умрет. При мне ничего не было, кроме бутылочки рому, которую всегда носят с собой плантаторы, чтобы дать глотнуть невольнику, заслуживающему поощрения. Я повернул коня и подъехал к месту происшествия, а так как страдалица лежала на земле и ее окружили остальные женщины, мне не было ее видно, и я отдал им бутылку, а они натерли ей ромом виски, хлопоча и суетясь, привели ее в чувство, попытались дать ей глотнуть из бутылки, но она не могла пить, и ей было так худо, что ее унесли в инфермерию, как называют в итальянских монастырях лазареты, куда помещают больных монахов и монахинь. Однако здесь, в Виргинии, подобным заведениям, как мне кажется, больше подходит название камеры смертников, потому что они приспособлены не для того, чтобы лечить людей, а чтобы отправлять их на тот свет.

Так как больная не стала пить, одна из невольниц хотела вернуть мне бутылку, но я предложил им распить ее, что чуть не вызвало драки, потому что рому на всех не хватило.

Я тотчас же поехал домой; памятуя тяжкие условия, в которые попадали несчастные рабы во время болезни, я спросил у управляющего, так ли обстоят дела и сейчас. Он ответил, что у меня на плантациях положение лучше, чем где бы то ни было в стране, но заметил, что и здесь лазарет — это весьма унылая обитель, добавив, что немедленно пойдет туда и проверит все сам.

Вернулся он через час и рассказал мне, что женщине очень худо, что она, испуганная своим состоянием, хочет покаяться в каких-то прошлых грехах и спрашивает его, нет ли здесь священника, чтобы утешить несчастную умирающую невольницу. Он же напомнил ей, что священника можно найти только в ***, и пообещал послать за ним, если она доживет до утра. Он сообщил мне также, что перевел ее в комнату, где раньше жил главный надзиратель, дал ей простыни и все, по его мнению, необходимое и приказал одной из рабынь присматривать и ухаживать за ней.

«Ну, что ж, — сказал я, — ты хорошо поступил, ибо я не могу примириться с тем, чтобы несчастные создания, больные и нуждающиеся в помощи, погибали здесь».

«Кроме того, — сказал я, — некоторые из этих страдалиц, которых ныне называют каторжными, может быть, получили благородное воспитание». — «А ведь правда, сэр, — заметил он, — я всегда утверждал, что в ней есть что-то благородное. Это видно было по ее манерам, да и другие женщины, я сам слышал, рассказывали, что она прежде жила в роскоши, имела в своем распоряжении тысячу пятьсот фунтов и в свое время была очень красива, и правда, руки у нее нежные, как у знатной дамы, хотя и огрубели от солнца и ветра. Она, видимо, совсем не приучена к такому тяжелому труду, каким ей приходится здесь заниматься, и уже говорила своим товаркам, что эта работа убьет ее».

«Да, — ответил я, — так, наверно, и обстоит дело, и в этом причина ее болезни. Скажи, — добавил я, — а нет ли у тебя для нее какой-нибудь работы полегче, которую она могла бы выполнять в помещении, не страдая от жары и холода?» Он подтвердил, что такая работа есть, — он может поставить ее экономкой, потому что женщина, исполнявшая эту работу, отбыла свой срок наказания, вышла замуж и завела свою плантацию. «Ну, что ж, — промолвил я, — пусть займется этим, если выздоровеет, а сейчас сходи к ней, — распорядился я, — и сообщи эту новость; может быть, столь радостное известие поможет ей встать на ноги».

Он так и поступил, и это утешение, хороший уход и вкусная горячая пища сделали свое дело — бедняжка поправилась и вскоре начала выходить, ибо истинной причиной болезни

было то, что, при ее деликатном воспитании, она не могла сносить тяжкий труд, скверное жилье и дурную пищу.

Став экономкой, она совершенно преобразилась и привела все хозяйство в такое отличное состояние, так ловко распоряжалась запасами провизии, что мой управляющий был от нее в восторге и не уставал повторять, что она прекрасная хозяйка. «Ручаюсь, — говорил он, — что она благородного происхождения и была в свое время светской дамой». Словом, он говорил о ней столько хорошего, что у меня появилось желание увидеть ее воочию, и в один прекрасный день, под предлогом необходимости наведаться в так называемую контору и побывать в комнатах, всегда готовых к приезду хозяина плантаций, отправился туда. Ей удалось заметить меня раньше, чем я увидел ее, и она тотчас же узнала меня, я же, хоть сто раз смотри, ни за что бы ее не признал. Она, видно, пришла в крайнее смятение и замешательство, поняв, кто я такой, и когда управляющий по моему приказанию пошел за ней, он застал ее рыдающей; сквозь слезы она молила о прощении, уверяя его, что дрожит от страха и умрет, если приблизится ко мне.

Ни о чем не догадываясь и полагая, что бедняжка просто боится меня, — ведь хозяева плантаций в Виргинии — истинные чудовища, — я велел передать ей, чтобы она не страшилась встречи со мной, ибо я вовсе не намереваюсь обижать или распекать ее, а хочу сделать некоторые распоряжения. Мой управляющий, решив, что успокоил ее, хотя ее волнение объяснялось совсем иными причинами, привел ее ко мне. Переступив порог комнаты, она стала утирать глаза платком, как бы осушая следы слез, а я произнес веселым голосом: «Сударыня, не тревожьтесь, что я послал за вами, до меня дошли отрадные вести об усердии вашем, и я пригласил вас, чтобы сообщить, что я весьма этим доволен, и если представится возможность помочь вам, я, вероятно, даже постараюсь вызволить вас из нищеты».

Она низко присела, ничего не отвечая, а потом набралась смелости и отвела руку от лица, желая, как мне думается, чтобы я, всмотревшись, узнал ее; однако во мне ничто не дрогнуло, как если бы я никогда раньше с ней не встречался, и я продолжал выказывать ей свое расположение, как имел обыкновение делать в отношении всех, кто этого, по моему мнению, заслуживал.

Тем временем мой наставник, бывший в этой же комнате, вышел по какому-то делу; как только он закрыл за собой дверь, она разразилась рыданиями и бросилась передо мной на колени. «О сэр, — вскричала она, — вы так и не узнали меня. Будьте милосердны, ведь я ваша горемычная, покинутая вами жена!»

Я был потрясен, я был испуган, я дрожал как в лихорадке, я лишился языка — словом, я был почти в обмороке, а она распростерлась ниц и окаменела. Повторяю, я потерял дар речи, но у меня хватило присутствия духа подойти к двери и запереть ее, чтобы в комнату не смог войти мой наставник. Вернувшись к женщине, я поднял и стал утешать ее, признавшись, что совершенно не узнаю ее, как будто никогда в жизни ее не видел.

«О сэр, — вымолвила она, — тяжкие невзгоды, выпавшие мне на долю, изуродовали мое лицо. Ради бога, простите мне те обиды, которые я вам нанесла. Я дорого заплатила за свою порочность, и бог по заслугам низринул меня к вашим ногам, чтобы я могла вымолить прощение за мои недостойные поступки. Простите меня, сэр, — продолжала она, — молю вас, и разрешите до конца дней моих быть вашей рабой или слугой — это все, чего я прошу». С этими словами она вновь рухнула на колени и разрыдалась так безудержно, что не могла промолвить ни слова. Я опять поднял и усадил ее, уговаривая ее успокоиться и выслушать меня, хотя все это так глубоко меня растрогало, что я почти так же, как она, был не в состоянии произнести ни звука.

Прежде всего я признался, что от потрясения мне трудно говорить, и на самом деле я рыдал почти столь же бурно, как и она. Я объяснил ей, что, поскольку никто пока не знает о нашем прошлом, совершенно необходимо сохранить все в тайне, и добавил, что встреча со

мной — доброе предзнаменование для нее, однако, если все раскроется, я ничего не смогу для нее сделать, и поэтому, будет ли она в дальнейшем счастлива или несчастна, полностью зависит от ее умения соблюсти тайну. Поскольку мой наставник мог в любую минуту вернуться, я велел ей удалиться к себе и заниматься обычными делами, пообещав, что дня через два я зайду к ней и мы поговорим обо всем более подробно. Она заверила меня, что не проронит ни одного слова, и поторопилась скрыться до прихода моего наставника, чтобы он не заметил того возбужденного состояния, в котором она пребывала.

Я был так ошеломлен этим поразительным происшествием, что весь день не соображал, что делаю и говорю, а к утру так и не решил, как поступать дальше. Но все же утром я призвал к себе моего наставника и сообщил ему, что чрезвычайно озабочен судьбой этой многострадальной женщины — нашей экономки, что знаю кое-что из ее весьма печальной истории, что некогда она жила в прекрасных условиях и получила отличное воспитание; я выразил удовлетворение тем, что он заменил ей труд на плантации домашней работой, но заметил, что при этом ей почти нечего надеть и мне хотелось бы, чтобы он пошел в кладовую и принес ей оттуда белья, особенно постельного, а также разных мелочей, таких, как капоры, перчатки, чулки, туфли, нижние юбки и так далее, и пусть она сама выберет, что захочет; и еще чтобы он принес ей утреннее платье и накидку из ситца лучшего сорта, то есть чтобы одел ее во все новое, что он и сделал. Потом он рассказал мне, что слышал, как она плакала, — она так рыдала целую ночь напролет, что ему казалось, она захлебнется в собственных слезах и погибнет; пока он вручал ей новые вещи, она обливалась слезами, время от времени стараясь унять их, но как только пыталась промолвить хоть слово, вновь разражалась рыданиями, вызывая сердечное сочувствие у всех, кто видел это.

Меня глубоко тронуло ее состояние, но я приложил все усилия, чтобы скрыть свою жалость, и завел речь о другом. Между тем, хотя я пошел к ней только на третий день, я круглые сутки раздумывал над тем, как мне быть и что делать, оказавшись в столь необычайном положении.

Когда я на третий день посетил ее, она вошла в комнату, где я находился, одетая в те вещи, которые я приказал ей дать, и молвила, что благословляет всевышнего за то, что может вновь служить мне, поблагодарила меня за одежду, которую я ей послал, и добавила, что она этого не заслуживает.

Пользуясь тем, что, кроме нас двоих, там никого не было, я вступил с ней в беседу и прежде всего посоветовал ей забыть ее греховное прошлое, ибо она уже достаточно покаялась, я же никогда не стану ее упрекать — и без того ей на долю выпали тягчайшие страдания. Я дал ей понять, что в настоящих обстоятельствах не могу сделать ее, преступницу, привезенную сюда для наказания, своей женой; да и она не осмеливалась желать этого. Однако к сказанному я присовокупил, что могу помочь ей избавиться от всех невзгод, в том числе и от самого большого ее несчастья, которое сильнее всего угнетает ее сейчас, — неволи, если она сумеет держать язык за зубами и не проронит ни единого слова о наших делах; если же она проговорится, предупредил я, то погибнет.

Она не хуже моего понимала, сколь важно блюсти тайну, и сознавала, что лишь я один могу вызволить ее из нынешнего бедственного состояния, переносить которое она больше не в силах. А потом, сказала она, если я того пожелаю, она посвятит весь остаток своих дней покаянию и готова делать для меня самую черную работу; она была бы счастлива, если бы я простил ей прошлое, и желала бы всю жизнь быть мне слугой; при этом я могу быть уверен, заверяла она, что никогда никто даже не заподозрит, что я знал ее раньше.

Я спросил ее, не хочет ли она поведать мне, как ей жилось после того, как мы расстались, и предложил ей выбрать для рассказа лишь то, что ей самой кажется уместным. Она призналась, что, подобно тому как разлад со мной начался с безрассудного поступка, а завершился грехопадением, так и вся ее последующая жизнь была вереницей бедствий, падений и раскаяния, порока и позора и в конце концов нищеты и скорби. Ее обманом втянули

в беспутную компанию и приохотили к роскошной жизни, ради которой ей пришлось совершать безнравственные поступки, а после несметного множества бед и невзгод она уже не могла себя обеспечить и впала в крайнюю нищету.

Не раз она принималась за письмо, где униженно и робко молила простить ее, искренне раскаивалась в своем первом преступлении, но обо мне ничего не было слышно, и ей не удавалось проведать, куда я скрылся. Она осталась в таком одиночестве, что не у кого было попросить кусок хлеба, тогда бедность и невзгоды заставили ее связаться с воровской шайкой, с которой водилась она довольно долго, добывая изрядное количество денег, но беспрерывно испытывая невообразимый ужас и дрожа от страха в ожидании расплаты и позора. То, чего она так боялась, вскоре свершилось, да еще во время самого пустячного дела, к которому она имела лишь стороннее касательство, и вот — она здесь. Она отметила, что вся жизнь ее состояла из взлетов и падений — изобилие и нищета, свобода и неволя, благоденствие и муки, и потребовалось бы очень много дней, чтобы поведать мне, свидетелю самой лучшей поры ее жизни, все, что случилось потом. Мне ведь известно, продолжала она, какое деликатное и благородное воспитание она получила, теперь же она принадлежит к отверженным и готова наравне со свиньями питаться отбросами, которых тоже не всегда бывает вдосталь. Описывая все это, она так горько рыдала, что время от времени, захлебываясь слезами, умолкала и в конце концов вынуждена была прекратить рассказ. Тогда я сказал, что избавлю ее от необходимости продолжать его, ибо он лишь воскрешает в сердце былые горести, а я хотел бы помочь ей предать прошлое забвению.

Затем я объявил ей, что раз провидение вновь привело ее ко мне, я позабочусь, чтобы она не ведала ни нужды, ни житейских тягот, но большего я сейчас сделать не могу, и на сем мы расстались. Она по-прежнему оставалась экономкой, а я, чтобы облегчить ей жизнь, дал ей работницу — якобы в помощь, но на самом деле, чтобы другие не знали, — в услужение, которая должна была за ней ухаживать и все для нее делать.

Побыв в экономках, она воспряла духом и повеселела, лицо у нее округлилось, грудь и бедра налились, к ней стали возвращаться живость и обаяние, которые некогда были мне так в ней милы. Временами во мне вспыхивало к ней нежное чувство и хотелось вновь назвать ее своей женой, но до этого нам предстояло преодолеть еще много трудностей.

А тут еще приключился весьма странный случай, неожиданно поставивший меня в крайне затруднительное положение. Мой наставник, человек незаурядного ума и большой учености, а также благородного образа мыслей, с самого начала был тронут тем состраданием, которое я проявил к этой женщине; уже давно, как упоминалось выше, он уразумел, что она чем-то отличается от прочих. Теперь же, когда она, повторяю, обрела прежние черты и веселый нрав, его так пленило общение с ней, что он воспылал к ней любовью.

Рассказывая о ней, я упомянул, что она была очаровательной собеседницей, дивно пела, отличалась острым умом и прекрасным воспитанием; все эти качества по-прежнему оставались при ней и делали ее весьма приятной дамой. Короче говоря, однажды вечером он обратился ко мне с просьбой разрешить ему жениться на экономке.

Эта просьба меня совершенно ошеломила, но я и виду не показал, а лишь выразил надежду, что, прежде чем довести это до моего сведения, он все хорошо обдумал, так что моих советов и не потребуется, при этом я напомнил, что ей предстоит еще почти четыре года отбывать наказание.

Он же ответил, что почитает меня, никогда не предпринял бы такого шага без моего ведома и не сказал ей об этом ни единого слова. Я понятия не имел, как поступить, но в конце концов решил, что она сама даст ему ответ, а до тех пор мы заблаговременно все с ней обсудим. Итак, я убедил его, что он может действовать по своему усмотрению, я же не имею права вмешиваться в чужие дела и не полагаю возможным давать ему советы; что же касается

срока ее наказания, то это пустяк, о котором и говорить не стоит, однако я надеюсь, что раньше, чем совершить этот шаг, он глубоко вникнет во все обстоятельства.

Он заявил, что обдумал все до основания и решил, убедившись, что я против этого не возражаю, во что бы то ни стало соединиться с ней и стать, как он считает, счастливейшим из всех живущих на земле. Затем он принялся расписывать ее достоинства — как отменно она справляется со всеми делами, какая она очаровательная собеседница, как остроумна, что за память, какими широкими познаниями обладает и т.д. и т.п. Я-то знал, что все это так и есть, но кое-что он упустил, ибо если перечисленные им черты были свойственны ей еще во времена нашего супружества, то, испив горькую чашу бедствий, она не только сохранила прежние особенности своей натуры, но и приобрела новые — самообладание, благоразумие, здравомыслие и другие, которых раньше ей недоставало.

Нетрудно догадаться, что я с нетерпением ждал встречи с моей милой экономкой, чтобы сообщить ей эту тайну и увидеть, какой оборот она придаст всему делу, но, как назло, я схватил простуду и вынужден был два дня просидеть взаперти, а за это время все и произошло, так как мой наставник в тот же вечер навестил ее и сделал ей предложение, которое поначалу было принято холодно, чем он был крайне поражен, ибо нисколько не сомневался, что она тотчас же изъявит свое согласие. Тем не менее он вновь пришел на второй, а потом и на третий день, и тогда она, убедившись в серьезности его намерений, но чувствуя, что не может даже помыслить о согласии, коротко ответила, что питает к нему глубокую признательность за оказанную ей честь и охотно приняла бы его предложение, как и всякая другая на ее месте, но не хочет вводить его в заблуждение, а должна открыть ему, что связана обязательствами, которые препятствуют их союзу, короче говоря, призналась, что она замужем и муж ее здравствует и поныне.

Ответ ее был настолько чистосердечен и недвусмыслен, что он не мог ни словом ей возразить, а лишь сказал, что безмерно огорчен ее отказом, что ему нанесен тяжелый удар и он никогда в жизни не испытывал подобного разочарования.

На следующий день после их разговора я отправился в контору, послал за экономкой и сообщил ей, что ее ждет весьма выгодное предложение, которое я бы хотел, чтобы она как следует обдумала; затем я изложил ей все, что мне сказал мой наставник.

Она тотчас разрыдалась, что меня крайне удивило. «О сэр! — воскликнула она, — как можете вы так говорить со мной?» Я ответил, что имею для этого все основания, потому что после разлуки с ней был уже женат на другой. «Но, сэр, — возразила она, — дело в том, что, раз вина лежит на мне, я не имею права вступить в брак; и пусть даже причина не в этом, — продолжала она, — я все равно не могу так поступить». Я притворился, что стою на своем (честно говоря, я был неискренен, потому что меня влекло к ней и в душе я простил ей былые прегрешения), — так повторяю, я сделал вид, что настаиваю, но она залилась слезами и взмолилась. «Нет, нет, лучше мне быть вашей рабой, чем женой самого благородного человека на свете». Я стал уговаривать ее, ссылаясь на ее денежные обстоятельства и доказывая, что такой брак вернет ей покой и довольство и никто в мире не узнает и даже не заподозрит, кем она была и чем занималась, но она не могла сносить подобные речи и, рыдая, причитала так громко, что я побоялся, что ее услышат. «Заклинаю вас, — молила она, — не говорите об этом больше; я была вашей прежде и никогда в жизни не буду принадлежать другому; пусть все останется как есть, или сделайте со мной, что вам угодно, только не заставляйте меня выходить замуж за другого».

Меня так растрогала пылкость ее речей, что поначалу я словно оцепенел, но затем все-таки вымолвил: «Жаль, что ты не была так чистосердечна в давние времена, тогда нам обоим было бы куда лучше, но как бы там ни было, никто не заставит тебя поступить против воли и не станет карать тебя за отказ. А как ты намерена от него отделаться? Он же, верно, надеется, что ты сочтешь его предложение лестным для себя, каковым оно и является, ведь особенности твоего положения ему неизвестны». — «Но, сэр, — воскликнула она, — я уже все сделала, он

получил мой ответ и полностью им удовлетворен, никогда больше он не потревожит вас этим», — после чего она пересказала мне суть своего ответа.

В тот же миг я решил во что бы то ни стало снова взять ее в жены, ибо убедился, что она искупила свою вину передо мною и заслуживает прощения: и воистину, уж кто-кто, а она-то заслужила его, особенно если припомнить, какой суровой каре она подверглась, и сколь долго пришлось ей влачить жалкое существование, да и само провидение вроде бы опять вверило ее моим заботам и, что самое важное, вселило в нее столь нежную ко мне любовь и такую твердость духа, что она отважилась отвергнуть заманчивое предложение ради того, чтобы не расставаться со мной.

Придя к такому решению, я счел жестоким скрывать его, да и невозможно было скрывать мои чувства долее, и, заключив ее в объятия, я воскликнул: «Ты доказала свою любовь ко мне так убедительно, что я не в силах больше противиться, я прощаю тебе все былые прегрешения, и поскольку ты не желаешь принадлежать никому другому, будь, как прежде, моей».

Но это оказалось выше ее сил, ибо примирение так ее потрясло, что, не дай она выхода своим чувствам в рыданиях, она, наверно, скончалась бы в моих объятьях; мне пришлось усадить ее, а она не менее четверти часа заливалась слезами и не могла промолвить ни единого слова.

Когда она пришла в себя и обрела способность говорить, я объяснил ей, что нам нужно подумать, каким образом проделать все так, чтобы не обнаружилось, что она раньше была моей женой, ибо тогда мы оба будем разоблачены; не лучше ли неприкрыто, у всех на виду, вновь заключить брак. Она сочла этот путь весьма разумным, и согласно с нашим решением мы через два месяца поженились, причем ни один мужчина на свете не имел лучшей жены и не жил счастливее, чем мы в течение следующих нескольких лет.

Я уже склонен был полагать все свои дела в этом мире улаженными и надеялся завершить свою многотрудную жизнь безмятежным покоем, ибо мы оба, обретя мудрость через страдания и невзгоды, были теперь способны сами определить, какой образ жизни более соответствует нашим обстоятельствам и может принести нам счастье.

Но человек — создание по меньшей мере недальновидное, особенно когда сам берется утверждать, что счастлив, или полагает, что может жить своим умом. Казалось, у нас были все основания считать — и жена нередко обращала на это мое внимание, — что жизнь, которую я тогда вел, полностью соответствовала представлению о человеческом счастье. И в самом деле, богатство наше приумножалось с каждым днем, и его было более чем достаточно, чтобы при желании снискать в наших краях почет. Располагая всем, что дарует отраду и приятность, нам не приходилось подавлять свои стремления, сладость нашего благополучия не омрачалась ни каплей горечи, к добру не примешивалось ни грана зла, нам казалось, что беда уже никогда не обрушится на нас; наше слабое и ограниченное воображение не допускало, что в эту размеренную жизнь может ворваться несчастье, разве что провидение в извечных деяниях своих ниспошлет нам испытание.

И все же незримая мина разорвалась и в один миг камня на камне не оставила от этой идиллии, и, хотя сей взрыв не нарушил моих привычных дел и занятий, он мгновенно оторвал меня от них и вновь обрек на странствия по белу свету, уготовив мне существование, сопряженное с риском, полное опасностей и вынуждающее человека действовать по собственному разумению и сообразно своим несовершенным мерилам.

Теперь я должен вернуться к одному эпизоду, который произошел довольно давно и относится ко времени моего последнего пребывания в Англии.

Я уже рассказывал, как моя верная супруга Могги слезами и мольбами уговорила меня не поступать безрассудно и не принимать открытого участия в восстании ныне покойного лорда Дервентуотера и его сторонников в момент, когда они вступили в Ланкашир; послушав ее, я спас себе жизнь. Но некоторое время спустя меня одолело такое любопытство, что, когда они

подошли к Престону, я улизнул от жены, решив лишь поглядеть на них и понаблюдать, как пойдут дела.

Я уже говорил, что жена моя своими неотвязными просьбами удержала-таки меня от открытого участия в этом деле и не дала мне взяться за оружие, чем, повторяю, несомненно, сохранила мне жизнь, так как, будь все иначе, меня бы там приметили и последствия были бы для меня не менее роковыми, чем если бы я действительно участвовал в сражении.

Однако, когда повстанцы продвинулись вперед и приблизились к нам, то есть к Престону, а жители округи прониклись к ним большим расположением, любезный доктор (о нем речь шла выше), тот самый, который был католическим священником и обвенчал нас, стал вселять в меня ранее неведомый мне пыл и не отстал, пока не вынудил меня, располагавшего лишь добрым конем и мушкетом, примкнуть к повстанцам в канун их вступления в Престон, причем и сам он занял место рядом со мной.

Меня здесь мало кто знал, во всяком случае, из деревни, где я жил, тут никого не было, и это, как вы скоро убедитесь, впоследствии выручило меня; однако я был знаком некоторым повстанцам, особенно шотландцам, с которыми я вместе служил за границей; с ними я был в приятельских отношениях и слыл среди них французским офицером. Я убеждал их сформировать отдельный отряд для обороны предмостья у Престона и настаивал, что от этой обороны зависит исход всего дела.

Я защищал свой план с некоторой горячностью, и поскольку меня считали французским офицером и бывалым солдатом, мое предложение вызвало споры. Однако, как всем известно, мой замысел не был осуществлен, а я, решив в то же мгновение, что они обречены на гибель, стал изыскивать способ удрать оттуда целым и невредимым, что и проделал ночью, накануне того дня, когда их окружила королевская кавалерия. Удалось это мне с большим трудом, так как, благополучно перебравшись через реку Рибл, я никак не мог найти твердого грунта, который выдержал бы моего коня. В конце концов я все же выбрался на берег и, изо всех сил погоняя коня, к исходу следующего дня примчался к месту, откуда был виден мой дом. До глубокой ночи я укрывался в лесу, а потом, убив коня и зарыв его в неглубоком песчаном карьере, сам пешком, примерно к двум часам ночи, добрался домой, где меня радостно встретила испуганная жена. Не мешкая, я принял меры, чтобы оградить себя от возможных неприятностей, но дело обернулось так, что эта предосторожность оказалась излишней, потому что повстанцы были разбиты наголову, — те, что остались живы, были взяты в плен, а в деревне никто не знал и даже не подозревал, что я побывал среди них; таким образом, я ловко выпутался из самой опасной в моей жизни затеи, в которую встрял по неслыханной глупости.

Выручило меня и то, что, убив коня, я зарыл его, потому что через два-три дня люди, которые видели в Престоне, как я ездил верхом, нашли бы его и опознали, а поскольку никто не проведал о моей отлучке из дому, я помалкивал; раз никто из соседей раньше не хватился меня, то зайди кто-нибудь из них сейчас поболтать, я тут как тут — у себя дома.

Но все же я испытал тревогу и дорого бы дал, чтобы оказаться в своих виргинских владениях, куда, правда, при совсем иных обстоятельствах, я вскоре собрался уехать со своей семьей.

Между тем разыгрались упомянутые события в Престоне, и злосчастные повстанцы сдались на милость королевских войск; как водится, некоторых из них казнили, чтобы другим неповадно было, а всех остальных помиловали и заключили на длительный срок в замок Честер[151] или же в иные подобного рода заведения, откуда они со временем разными способами освободились, о чем нам еще доведется узнать.

Несколько сот человек, говоря простонародным языком, «загнали» по их собственной просьбе на плантации, то есть отправили в Виргинию и другие Британские колонии с тем, чтобы, как это принято делать с каторжниками, продать их в рабство на определенный срок,

после чего вновь отпустить на свободу. О некоторых из них речь шла выше; и вот теперь, живя здесь, я, к немалому моему огорчению, обнаружил, что к берегу, на котором раскинулись мои плантации, пришвартовались два корабля с новой партией осужденных на борту.

Как только это известие дошло до меня, я, не теряя ни минуты, принял решение не допустить ни одного из них к себе в усадьбы (или плантации); так я и поступил, сделав вид, что не желаю превращать в рабов несчастных, но благородных джентльменов, пострадавших лишь за верность своему делу, и ссылаясь на другие подобные соображения. На самом же деле я опасался, что некоторые из них узнают меня и при всем честном народе объявят, что я того же поля ягода, что и они, только сумел вовремя удрать, и я попаду в большую беду; но если бы мне даже удалось сохранить жизнь, меня лишили бы всего, что, по моему мнению, я вполне заслужил, и ввергли бы опять в бездну страданий и нищеты.

Моя осторожность была обоснованной, но, как вскоре обнаружилось, недостаточной, чтобы уберечь меня от напасти, ибо, хотя я сам не купил ни одного из этих бедняг, это сделали некоторые из моих соседей, так что на расположенных поблизости от меня плантациях работало множество вновь прибывших невольников. Словом, я не смел носа высунуть, все время опасаясь, что кто-нибудь меня заметит и узнает.

Должен признаться, что это мучительное существование вскоре стало совершенно невыносимым, ибо страх низвел меня с высоты знатного человека, судьи, властителя и хозяина трех плантаций до положения жалкого бунтовщика, приговорившего самого себя к наказанию и боявшегося даже показаться на люди. Уж лучше бы я остался в Ланкашире или уехал в Лондон и спрятался там, пока все не утихнет, а теперь опасность нависла прямо надо мной, стучалась ко мне в дом, и я каждый день ожидал, что меня выдадут, схватят и в кандалах отправят в Англию, а мои плантации отойдут королевской казне.

У меня оставалась лишь одна надежда на спасение — ведь я пробыл среди повстанцев очень недолго, в деле не участвовал, даже мое имя было им неведомо, и почти все называли меня то французским полковником, то французским офицером, а то просто французом; что же касается доктора, который приехал в Престон вместе со мной, то, обнаружив, что вся затея явно обречена на провал, а вокруг повстанцев, подобно тучам, собираются королевские войска, он тоже нашел, правда, иной, чем я, способ убраться восвояси.

Однако указанные обстоятельства меня не утешали, и я не имел понятия, как поступить, ибо даже в самые тяжкие мгновения моей жизни я не испытывал такой растерянности. Первым долгом я пошел домой и честно поведал всю историю жене. Стремясь к полной откровенности, я раньше, чем начать рассказ, заявил, что, раскрыв мою тайну, даю ей возможность отомстить мне, если я, по ее мнению, был несправедлив к ней в прошлом, и предать меня в руки врагов, но я верю в ее великодушие и воскреснувшую любовь ко мне и полагаюсь на ее преданность, после чего без лишних слов я открыл ей все и, в частности, сообщил, какая опасность мне угрожает.

Добрый советчик может вернуть человека к жизни, он вселяет отвагу в слабодушного и пробуждает в разуме человеческом способность поступать нужным образом; для меня в ходе всей этой истории таким советчиком была моя жена, и каждый шаг, который я предпринимал, чтобы выпутаться из этого лабиринта, направлялся ею.

«Полно, полно, дружок, — утешала она меня, — если ничего другого не случилось, то незачем совершать опрометчивые поступки, внушенные одним только страхом» (а дело в том, что я готов был не мешкая распродать все имущество и плантации, сесть на корабль и отплыть на остров Мадейру или куда угодно, только бы оказаться вне владений короля).[152]

Но жена держалась иного мнения и, стараясь перетянуть меня на свою сторону, предложила мне два способа спасения: либо загрузить шлюп провиантом и отправиться в Вест-Индию, оттуда в Лондон, либо разрешить ей уехать прямо в Англию и постараться во что бы то ни стало вымолить у короля прощение.

Я был склонен принять второе предложение, ибо, совершая, на свою беду, неправедные поступки, всегда втайне — и не без основания — уповал на милосердие и доброту его величества, и будь я в Англии, меня нетрудно было бы уговорить пасть королю в ноги.

Но в моем положении отъезд в Англию не мог бы пройти незамеченным, ибо я вынужден был бы либо открыто готовиться к путешествию, бывать на людях, дождаться уборки урожая и отбыть достойным образом и сообразно с моим званием, либо сделать вид, будто произошло нечто из ряда вон выходящее, вызвав среди окружающих множество беспочвенных подозрений.

Однако изобретательность моей жены выручила меня. Однажды утром, когда я еще лежал в постели, она неожиданно вошла ко мне в спальню и решительно заявила: «Друг мой, меня очень беспокоит ваше здоровье, и я распорядилась, чтобы Пеннико (молодая негритянка, которую я дал ей в услужение) разожгла у вас в комнате камин, а вы пока полежите спокойно». Тотчас появилась негритянка, неся дрова, ручные меха и прочие нужные для разведения огня предметы, а жена моя, не дав мне опомниться, шепнула, чтобы я молчал и дожидался ее возвращения.

Я, конечно, не на шутку перепугался и лежал, мысленно представляя себе, как меня опознают, предают властям, увозят в Англию, вешают, четвертуют и тому подобное. Сердце мое замирало от страха. Жена заметила мое смятение и, подойдя к моей постели, стала убеждать меня, что причин для волнения нет, что она скоро вернется и все мне объяснит. Я немного успокоился, но вскоре приказал Пеннико спуститься вниз, найти госпожу и передать ей, что мне очень худо и я хочу немедля поговорить с ней. Не успела служанка выйти из комнаты, как я вскочил с постели и начал быстро одеваться, дабы не оказаться застигнутым врасплох.

Моя жена, как и обещала, уже поднималась по лестнице навстречу служанке и, войдя ко мне, сказала: «Вам, видно, не по себе, но, умоляю вас, крепитесь, подойдите к окну и из-за ширмы гляньте; не знаком ли вам кто-нибудь из шотландцев, собравшихся во дворе; там семь или восемь человек пришли по какому-то делу к писарю».

Прикрывшись ширмой, я посмотрел в окно, подробно разглядел их, но никого не узнал и лишь убедился в том, что все они шотландцы. Однако то, что я сам не приметил знакомых, не успокоило меня, они-то могли меня узнать, ибо, как гласит английская пословица: не ведает дурак, что знает его всяк; поэтому я прятался у себя в комнате до тех пор, пока не удостоверился, что все они ушли.

Вскоре моя жена объявила всем домашним, что я нездоров, а через три-четыре дня мне укутали ногу большим лоскутом фланели, пристроили ее на низкой скамеечке, и я охромел от «подагры». Так продолжалось почти шесть недель, а затем жена сообщила мне, что распустила слух, будто у меня не подагра, а скорее всего ревматизм и поэтому я отправляюсь на остров Невис или Антигуа[153], для лечения горячими водами.

Все получилось очень ловко, и затея моей жены — сначала продержать меня полтора-два месяца в четырех стенах, а потом без лишнего шума увезти прочь — получила полное мое одобрение. Однако я так до конца и не понимал, к чему все это приведет и каковы ее дальнейшие намерения, но она хотела, чтобы я положился на нее, что я охотно сделал, и весьма ловко претворила свой план в жизнь. По прошествии почти трех месяцев, которые я просидел с забинтованными ногами, она пришла и объявила, что шлюп готов к отплытию и все необходимое для путешествия уже на борту. «А теперь, дорогой мой, — сказала она, — я поведаю вам остальную часть моего плана. Надеюсь, — добавила она, — вы не подозреваете меня в намерении вывезти вас из Виргинии тем обманным способом, каким других людей привозят сюда, или же устранить вас, дабы завладеть вашим добром; нет, я верна вам так же, как была бы верна, оставаясь вашей рабой и не смея даже помышлять о том, чтобы стать вашей супругой; вы можете убедиться, что, желая выручить вас из беды, я и не мыслю о

разлуке; напротив, я всюду должна сопровождать вас, помогать и служить вам в любых обстоятельствах и разделить вашу участь, какова бы она ни была».

В этих словах столь убедительно проявилась ее благородная преданность, они столь наглядно свидетельствовали, как здраво она оценивает наше положение, что с этого момента я с готовностью, ничуть не колеблясь, отдал себя в ее распоряжение. Примерно через десять дней мы погрузились на принадлежавший мне большой шлюп водоизмещением около шестидесяти тонн.

Здесь уместно напомнить, что всеми моими делами по-прежнему ведал мой верный наставник, как я называл его, и поскольку он знал, как и с кем наладить переписку в Англии, мы, как и раньше, поручили это его заботам; при этом я был совершенно уверен, что он будет умело и честно вести мои дела, хоть его и опечалила история с моей женой, которая, как уже упоминалось, вновь вышла за меня замуж, отвергнув его предложение.

Хотя слова ее соответствовали истине, мне пришлось, — поскольку надлежало хранить нашу тайну, — в меру сил своих измыслить другие причины ее нежеланию выйти за него замуж, что, видимо, получилось у меня не слишком убедительно и вряд ли его успокоило, и он, несомненно, считал, что кое в чем с ним поступили дурно.

Однако он уже начал понемногу успокаиваться, особенно когда убедился, что, уезжая, мы, как и прежде, доверяем ему ведение всех дел.

После того как жена познакомила меня со всеми подробностями предстоящего путешествия и мы начали к нему готовиться, она как-то утром зашла ко мне и с присущей ей бодростью объявила, что хочет осведомить меня об остальных действиях, предпринимаемых для моего избавления; состояли они в том, что, пока мы будем совершать эту, как она выразилась, морскую прогулку к горячим источникам на Невисе, она напишет письмо в Лондон одному своему другу, на которого можно положиться, и попросит его добиться прощения для человека, участвовавшего в недавнем восстании, при этом она укажет, что я пробыл среди повстанцев всего три дня и к действиям их причастен не был. Она не сомневалась, что во время нашего отсутствия ответ непременно придет, так как обеспечила столько разных способов доставки ответных писем, что первое же прибудет через столько времени, сколько требуется судну, чтобы проделать путь туда и обратно, причем вначале издержки будут незначительными, потому что она получит ответ прежде всего на самый главный вопрос — можно ли надеяться на помилование, а потом уж будет определена стоимость всего дела, и я смогу решить, расстанусь ли с необходимой суммой денег до того, как на мой счет поступят новые средства.

Я был весьма доволен этой стороной ее плана; добавить мне было нечего, разве только предложить ей не ставить своему другу столь жестких условий, а попросить, чтобы он, если у него появится твердая уверенность в возможности получить прощение, довел дело до конца, затратив две, три или даже четыре сотни фунтов; для того же, чтобы выполнить это, ему следует обратиться к господину имярек, который оплатит счета по предъявлении соответствующей бумаги за моей подписью.

Для вящей убедительности я вложил в ее конверт письмо к одному из моих знакомых, к коему питал особое доверие, а также разрешение на выплату денег на таких-то условиях. Однако жена моя столь успешно повела переписку, что избавила меня от расходов, и вместе с тем, как вы вскоре узнаете, все получилось так же удачно, как если бы деньги уже были полностью уплачены.

Уладив все эти дела сообразно нашему разумению и оставив хозяйство, как всегда, в хорошем состоянии, мы сели на корабль и пустились в плавание, а капитан английского военного судна, которое охотилось за пиратами, а сейчас стояло у берега, собираясь отплыть в направлении Флоридского пролива, пообещал эскортировать нас до острова Нью-Провиденс или до Багамских островов.

Теперь, когда установилась отличная погода и я совершаю приятное путешествие, а с ноги моей сняли фланелевую повязку, самое время сказать несколько слов о том, какой груз я взял с собой. Поскольку дела мои в Виргинии шли хорошо, у меня была возможность отправиться в столь долгий путь с изрядным запасом провизии и денег, необходимых на всякий случай.

Как я уже говорил, наш шлюп был водоизмещением в шестьдесят или семьдесят тонн. Основной продукт виргинских плантаций, табак, на Невисе не пользовался сколько-нибудь значительным спросом, поэтому мы взяли его совсем мало, а загрузили свое судно главным образом зерном, горохом, мукой и несколькими бочками свинины. Такой товар ценился очень высоко, а большая часть продуктов была снята с моих плантаций или произведена у меня в усадьбах. Мы везли также значительное количество золотых монет испанской чеканки, которые имели обращение не только в торговых, но и во всех других операциях. Я распорядился, чтобы, как только от меня будет получено сообщение о благополучном прибытии на место, был бы зафрахтован еще один корабль и отправлен ко мне с такими же товарами на борту.

На восемнадцатый день после того, как мы миновали Виргинские острова, наш корабль оказался на широте острова Антигуа, расположенного очень близко от острова Невис, где мы намеревались пришвартоваться, но его пока не было видно. Капитан корабля настойчиво уверял нас, что если мы будем идти тем же курсом, что и сейчас, а ветер не спадет, то менее чем через пять часов мы пристанем к берегу; итак, он продолжал идти к острову прежним курсом. Однако его предсказание не оправдалось — мы плыли весь вечер, а земля не показывалась, потом всю ночь, и на рассвете с топа стеньги[154] заметили, что на расстоянии примерно в шесть лиг за нами следует шхуна или шлюп; погода стояла ясная, и дул свежий зюйд-ост.

Капитан быстро сообразил, что это за корабли, и спустился ко мне в каюту, чтобы известить меня о неприятном открытии. Сообщение об угрожающей нам опасности, разумеется, ошеломило меня, но о себе пришлось забыть и позаботиться о жене, потому что бедняжка страшно перепугалась, и я боялся, что мы не довезем ее живой.

Вдруг, в самый разгар суеты и переполоха, на палубе поднялись беготня и шум, — мы выглянули и услышали крики: «Земля, земля». Тогда капитан и я — к этому моменту я уже выскочил из своей каюты — ринулись на палубу, и вся картина предстала перед нами с совершенной ясностью: негодяи гнались за нами на полных парусах, но, как я уже сказал, находились от нас на расстоянии шести лиг, если не больше. Прямо перед нами, примерно в девяти лигах, показалась земля. Стало быть, если пиратам удастся перещеголять нас, делая три фута за то время, что мы делаем два, они, несомненно, догонят нас раньше, чем мы достигнем острова; если же у них это не получится, мы ускользнем от них и доберемся до острова; но и в этом случае нам угрожало наскочить на мель, разбить судно и погубить груз.

Когда мы вели этот разговор, вошел сияющий капитан и сообщил мне, что поставил дополнительные паруса и убедился, что судно отлично идет под ними, негодяи к нам почти не приблизились и если только шлюпу удастся нас догнать, а уж от шхуны мы сумеем уйти. Итак, мы вынудили их пуститься, как говорится, в яростную погоню, и они изо всех сил старались настигнуть нас, но примерно в полдень оба судна внезапно замедлили ход и прекратили преследование, что вызвало у нас, как нетрудно догадаться, великую радость.

По-видимому, пираты ранее нас заметили, что нам суждено избавление: когда мы на всех парусах, словно пришпоренные этими двумя разбойниками, мчались к одному из островов, на рейде у острова Невис, откуда тоже заметили пиратов, стоял английский военный корабль, заслоненный от нашего взора полосой суши.

Обнаружив пиратов, военное судно незамедлительно вытравило канат, снялось с дрейфа и пустилось в погоню за негодяями, а те, находясь с наветренной стороны, как только

приметили его, поставили паруса по ветру и бросились наутек. Так мы были спасены; а примерно через час, увидев, как военный корабль снялся с якоря и устремился вслед за пиратами, которые теперь удирали от нас столь же стремительно, сколь раньше нас преследовали, мы уразумели, кто наш избавитель. Итак, натерпевшись страху, мы благополучно пристали к острову Антигуа. На этот раз мы подверглись значительно большей опасности, чем если бы находились на борту корабля, идущего с грузом из Лондона или в Лондон, потому что в таком случае пираты обычно только грабят судно, отбирают всю ценную кладь, какую можно унести, и отпускают его на волю, но поскольку у нас был всего лишь шлюп, да еще нагруженный отличной провизией, которая, без сомнения, была нужна им для пополнения их запасов, они, конечно же, увели бы наше судно вместе с грузом и людьми, а может быть, подожгли бы его; таким образом мы неминуемо лишились бы золота, а нас самих завезли бы неизвестно куда и обошлись бы с нами так, как эти злодеи привыкли обращаться с невинными людьми, попавшими к ним в руки.

Но вот опасность миновала, а через несколько дней до нас дошло приятное известие: несмотря на то, что пираты ночью изменили курс, военный корабль так неуклонно следовал за ними, что с наступлением дня им пришлось разделиться и пойти в разных направлениях; тогда военный корабль последовал за шхуной и оттеснил ее к Ямайке, а шлюп умчался прочь.

Сойдя на берег, мы тотчас, да к тому же по довольно выгодной цене, сбыли свой груз, и передо мной стал вопрос — что делать дальше. Я полагал, что мое участие в восстании здесь неизвестно и мне нечего теперь бояться; прошло уже пять месяцев, как я уехал из дому, за это время я отправил туда судно с ромом и патокой, которые, как я знал, нужны у меня на плантациях, и оно вернулось, нагруженное, как и в первый раз, провизией.

С этим же кораблем моей жене пришел пакет из Лондона от человека, которому, как упоминалось, она поручила хлопотать о прощении. Он со всей откровенностью писал ей, что не может совершить в отношении ее друга, кто бы он ни был, неблаговидный поступок и заставить его платить зря за ходатайство по его делу, так как ему доподлинно известно, что его величество по своей прирожденной склонности ниспосылать милосердие и благо подданным своим решил даровать прощение всем провинившимся, кроме нескольких тяжких преступников, к числу которых, он надеется, ее друг не принадлежит.

Это известие как бы вдохнуло жизнь в нас обоих, и мы решили, что жена, не теряя времени, отправится на шлюпе в Виргинию, где будет дожидаться добрых вестей из Англии, и как только получит их, сразу же оповестит меня.

Она поступила сообразно с этим решением, благополучно доехала до наших плантаций и довезла весь груз, и после четырех с лишним месяцев ожидания оттуда прибыл шлюп, но — увы! — совершенно опустошенный: пираты захватили весь груз, оставив лишь около ста мешков немолотого солода, с которым, не умея варить пиво, здесь не знали, что делать. Но, к великой моей радости, я обнаружил на корабле пачку писем от жены, а также письма к ней от ее друга из Англии и ко мне от моего знакомого, в которых они извещали нас, что король скрепил своей подписью указ о помиловании, другими словами, даровал всем прощение; к сему они присовокупили списки указа, который явно имел прямое отношение ко мне.

Мне хотелось бы теперь отметить, что милостью короля Георга[155] я вновь обрел жизнь, да еще без всяких затрат с моей стороны, и это обратило меня в новую веру, — преисполненный чувства признательности и долга, я готов был пойти в огонь и в воду ради его величества. С тех пор это чувство не оставляет меня, и я буду свято хранить его в сердце, доколе живет во мне представление о чести и способность быть благодарным. Я пишу об этом, чтобы показать, что в таких случаях нами повелевают чувство признательности за проявленную к нам благосклонность, а также сознание долга перед теми, кто дарует нам жизнь, имея возможность отнять ее. Мы остаемся в вечном долгу перед ними и обязаны посвятить себя служению им и их делу до конца дней своих; чувство благодарности не иссякает, ибо оказанная нам милость преображает всю нашу жизнь. Мой государь даровал мне

жизнь, а я никогда не смогу полностью отблагодарить его, разве только если у меня вдруг окажется возможность спасти ему жизнь; но и тогда долг не будет оплачен сполна, ибо мы не равны, и спасение жизни государя — мой естественный долг, а милость государя, властелина живота моего, есть проявление благости и великодушия.

Вероятно, не всем читателям придутся по вкусу такие рассуждения, но поскольку я решил во всех своих поступках, касающихся предметов подобного рода, руководствоваться только правилами строгой добродетели и чести, то полагаю, что для человека, преступившего законы своей страны и тем обрекшего себя на праведный суд государя, который в милосердии своем вернул ему жизнь, долг чести состоит в том, чтобы до конца дней своих верно служить государю; в ином же случае человек этот свершит вероломство, безвозвратно преступит законы чести и долга и никогда не будет прощен ни богом, ни людьми. Я надеюсь, что это отступление, которое я написал как беглое напоминание о законах чести, от рождения вложенных в душу каждого воина и добропорядочного человека, одобрят все непредубежденные люди, понимающие, что значит честь.

Но вернемся к моим делам. Жена моя уехала, а с ней, казалось, покинули меня удача и везение в делах, и мне, мнившему, что все невзгоды остались позади, пришлось изведать еще одно несчастье.

Как я уже рассказывал, мой шлюп вернулся, но во Флоридском заливе его настигли подлые пираты; они сначала захватили его, а потом, обнаружив, что груз целиком состоит из съестных припасов, в которых они всегда испытывают нужду, перетащили все добро к себе, кроме, как я говорил, примерно ста мешков солода, с которым они и впрямь не знали, как обращаться. Но что много хуже, — они взяли в плен весь экипаж, за исключением капитана и одного юнги, оставленных на борту, чтобы довести судно до острова Антигуа, куда, как заявил капитан, оно направлялось.

Однако, к несказанной радости моей, они не тронули самой ценной части груза, а именно — пакета с письмами из Англии, благодаря которым передо мной открылась возможность вернуться к жене и навсегда, как я твердо решил, остаться на своих плантациях.

С этой целью я немедля сел в шлюп, погрузил в него все свои пожитки и решил плыть прямо к берегам Виргинии. Мой капитан при противном ветре привел судно к Флоридскому проливу менее чем за двое суток, но здесь нас настиг яростный шторм и отнес к берегу Флориды так близко, что мы дважды наскочили на мель, и если бы это повторилось в третий раз, судно неизбежно потерпело бы крушение. Через день или два, когда шторм немного утих, мы пустились в путь, но вскоре обнаружили, что встречный ветер, мешающий нам войти в залив, столь силен, а волны столь высоки, что долго нам здесь не продержаться; поэтому мы были вынуждены уйти в открытое море и искать выход на свой страх и риск. В таком бедственном состоянии мы на пятый день подошли к берегу, но обнаружили, что это мыс в северо-западной части острова Куба. Нам нужно было непременно найти убежище у берега, однако мы не бросили якорь, то есть не вошли во владения короля Испании[156]. Все же на следующее утро нас окружило пять испанских баркасов, или шлюпов, у них они называются barcos longos[157], до отказа набитых людьми; испанцы тотчас же взяли наше судно на абордаж и вынудили нас бросить якорь в Гаване, самом крупном в этой части света порту, принадлежащем испанцам.

Они немедленно захватили наш шлюп, а следовательно, как поймет всякий, кто знает нравы испанцев, особенно здешних, разграбили его, всех наших отправили в острог, а что касается меня и капитана, то нас, как преступников, потащили к alcalde major, главному алькальду, то есть к мэру города.

Поскольку в Италии мне пришлось служить под командованием испанского короля, я прекрасно говорил по-испански, что на этот раз мне весьма пригодилось, ибо я столь искусно доказал, как несправедливо они обошлись со мной, что губернатор, или как там он называется,

открыто признал, что им не следовало задерживать меня, раз они видели, что я нахожусь в открытом море и иду своим путем, никому не причиняя вреда, не пришвартовываясь и не выказывая намерения сойти на берег во владения его католического величества[158], пока не попал туда как пленник.

Такой поступок со стороны губернатора был проявлением великой ко мне милости, однако я быстро уловил, что значительно труднее будет заставить их удовлетворить мои законные требования, а уж на возмещение убытков нечего и надеяться. Мне объявили, что я должен буду ждать возможности доложить о происшедшем вице-королю Мексики[159] и получить от него ответ, как со мною поступить.

Мне нетрудно было угадать, к чему все это клонится, — судно и имущество, по принятому здесь обычаю, будут конфискованы, а решение вице-короля Мексики касательно моей особы на самом деле зависит от того, как ему представит положение вещей здешний коррехидор, то есть судья.

Но я не располагал ничем, кроме испытанного, хоть и немудреного средства, называемого терпением, а его у меня было достаточно, да к тому же я вовсе не считал причиненный мне ущерб таким значительным, каким изобразил его перед ними. Больше всего я боялся, что они арестуют меня и приговорят к пожизненному заключению, а то и сошлют меня на рудники в Перу. Они уже поступили так со многими и объявили, что впредь будут ссылать туда всех, кто высадится в их владениях, пусть даже самые тяжкие бедствия будут тому причиной. Именно поэтому некоторые, кого обстоятельства вынуждали высадиться здесь, вступали в бой с испанцами, предпочитая лучше продать свою жизнь подороже, чем попасть к ним в руки.

Мне, однако, был оказан более любезный прием, главным образом потому, что, повторяю, я хорошо знал испанский и сумел расписать, как сражался в Италии за интересы его католического величества; к счастью, у меня в кармане оказалось подписанное королем Франции назначение на должность подполковника в Ирландском полку, где было упомянуто, что указанный полк входит в состав французской армии, находящейся в Италии в распоряжении его католического величества.

Я не преминул отозваться с похвалой о доблести и личной храбрости его католического величества, присущих ему вообще, но особо проявленных в сражениях, в коих его величество, к слову сказать, никогда не принимал участия; однако я уловил, что имею дело с людьми несведущими, поэтому можно было нести любую околесицу, лишь бы в ней воздавалась хвала королю Испании и превозносилась испанская кавалерия, которая, видит бог, не была представлена в армии ни единым полком, во всяком случае, когда я там находился.

Подобный образ действий обеспечил мне свободу передвижения, правда, под честное слово, что я не буду делать попыток скрыться; в виде большой милости мне выдали двести пиастров на пропитание, пока в Мексике не закончатся переговоры о моих делах; что же до матросов, то их содержали в тюрьме на казенный счет.

Наконец, после многократных просьб и длительного, в течение нескольких месяцев, ожидания, мне выпало счастье узнать, что мое судно и груз конфискуются, а горемычных матросов надлежащим образом отправляют на рудники. Однако их мне удалось вызволить из беды и договориться, что их доставят на остров Антигуа при условии, что будет уплачен выкуп в триста пиастров; меня же оставляют заложником до выплаты двухсот пиастров, которыми меня ссудили, и еще пятисот пиастров — в качестве выкупа за мою особу, причем только в том случае, если упомянутое выше решение о конфискации будет утверждено в Мехико вице-королем.

Что говорить, условия были тяжкие, но я вынужден был им покориться. Поскольку я в действительности располагал значительно большими средствами, меня все это не очень беспокоило; трудность заключалась в том, что я понятия не имел, как вступить в переписку с моими друзьями, живущими в разных странах, и получить необходимые товары или деньги,

чтобы произвести расчет в соответствии с уговором. Испанцы столь ревностно стерегли свои порты, что под страхом захвата и конфискации всего имущества, как это произошло со мной, судам всех стран было запрещено не только приставать, но даже приближаться к берегу.

С этой трудностью я обратился к коррехидору, пытаясь доказать ему, что он поставил нас в невыносимое положение, которое противоречит принятым в отношениях между странами обычаям: ведь если человека берут в плен в Алжире, то ему разрешают направить своим близким просьбу об уплате выкупа за него, а посланца, доставившего выкуп, как лицо официальное, свободно пропускают туда и обратно; когда подобный порядок не соблюдается, договор о выкупе невольника заключен быть не может, если же он все-таки подписан, его нельзя осуществить.

Затем я перевел разговор на мои дела и спросил, каким образом я смогу получить известие о том, что сумма, необходимая для выкупа моих матросов и меня самого, уже собрана, если, допустим, это произойдет в срок, оговоренный соглашением. Как же доставить мне это сообщение, если лицам, которые возьмут это на себя, а затем осмелятся привезти деньги, грозит арест и конфискация имущества, как это случилось со мной, да к тому же у них могут отнять и самый выкуп.

Хотя претензия моя была столь справедлива, что оспаривать ее было невозможно, испанец все же увильнул от прямого ответа и заявил, что в подобных случаях они не располагают полномочиями действовать самостоятельно, что королевские законы, запрещающие допускать чужеземцев в американские владения его католического величества, чрезвычайно суровы и их нельзя нарушить ни на йоту без assiento, то есть особого решения Consulado, как именуется у них торговая палата в Севилье, или приказа за подписью и печатью вице-короля Мексики.

«Да неужто, сеньор коррехидор, — воскликнул я с некоторой горячностью и вроде бы в изумлении, — неужто вы не вправе подписать разрешение на въезд сюда поверенного или гонца, посланного одним из губернаторов владений короля Великобритании в этих краях и прибывающего к вам под белым или парламентерским флагом, чтобы вести переговоры с правителем здешних мест или с другим лицом, уполномоченным королем, по поводу таких дел, которые губернатор считает нужным подвергнуть обсуждению? Право, — добавил я, — если вы не располагаете такими полномочиями, значит, вы не можете действовать в согласии с правилами, принятыми в отношениях между государствами».

Он с озадаченным видом покачал головой, но все же промолвил, что нет, даже этого он сделать не может. Тут в разговор вмешался один из здешних военных комендантов и стал возражать ему, и между ними завязался горячий спор; один настаивал на том, что эта статья их закона страдает несовершенствами, а другой доказывал, что они обязаны соблюдать этот закон, в противном же случае на них падет ответственность за прискорбные последствия.

«Но послушайте, — обратился офицер к коррехидору, — вот вы задержали этого англичанина как заложника до получения выкупа за матросов, которых вы отпустили; предположим, он сообщает вам, что в том или другом месте уже приготовлены необходимые деньги, каким образом можно их сюда доставить? Ведь любого, кто пожелает привезти их, вы возьмете в плен. Что ему делать? Как может он быть уверен, что ему вернут свободу, когда вы получите выкуп? И почему он должен так доверять вам, чтобы вручить вам деньги, все еще оставаясь у вас в плену?»

Доводы его были столь убедительны, что коррехидор совершенно потерялся и лишь повторял, что так гласит закон, от буквы которого он не смеет отступить, и остается лишь один выход — вновь послать нарочного к вице-королю Мексики.

Тогда комендант любезно уведомил меня, что своей властью даст пропуск на въезд всякому, кто доставит деньги, а также разрешит стоянку судна, на котором прибудет посланец, и обеспечит ему благополучный отъезд, если я поручусь, что он не привезет ни европейских,

ни каких-либо других товаров и не сойдет на берег без его особого на то разрешения, а также если он, комендант, тем временем не получит от начальства противоположных указаний, хотя и в этом случае посланцы будут иметь возможность беспрепятственно вернуться домой, охраняемые белым флагом.

В знак признательности за его добросердечие я почтительно поклонился коменданту, а затем обратился к нему со смиренной просьбой разрешить моим матросам отправиться в путь в нашем шлюпе на том условии, что стоимость судна будет сейчас определена, а они, вернувшись в нем обратно, привезут с собой наличные деньги и либо выкупят его, либо оставят здесь.

Тогда он осведомился, в какую страну я пошлю их за столь крупной суммой денег и могу ли я поручиться, что оплата будет произведена, но, узнав, что им придется плыть всего лишь до Виргинии, он, по-видимому, совершенно успокоился, и, чтобы ублажить коррехидора, который все еще не шел на уступки, продолжая с истинно испанским упорством придерживаться буквы закона, вышеупомянутый комендант обратился ко мне с такими словами: «Сеньор, — сказал он, — я помогу вам избежать трудностей в этом деле, если вы примете мое предложение, — пусть ваши матросы берут этот шлюп с условием, что вы останетесь у меня заложником до его возвращения, и считаться он будет не вашим, хотя после уплаты денег он вновь перейдет в ваше владение, и что с матросами отправятся двое моих людей, за благополучное возвращение которых вы должны поручиться честным словом; на обратном пути шлюп пойдет под флагом его католического величества и пристанет к нашему берегу под видом судна, приписанного к порту Гавана, причем капитаном будет один из испанцев, скрывающийся под именем, которое он сам изберет».

С этим предложением коррехидор тотчас же согласился, заявив, что оно не противоречит королевскому указу, но подчеркнул при этом, что на борту шлюпа не должно быть европейских товаров. Я выразил желание придать этому условию несколько иной вид, указав, что запрещается выгружать европейские товары на берег. Целых два дня спорили они о том, следует ли указать, что европейских товаров не должно быть на судне или что их нельзя выгружать на берег. Однако мне удалось намекнуть, что я вовсе не собираюсь торговать здесь, но нельзя же мне запретить привезти сюда для некоего лица небольшой подарок в знак благодарности за оказанную мне милость. После того как я, весьма уместно, сделал этот намек, дело пошло на лад, и вскоре они сошлись на том, что после уплаты выкупа за меня и за судно я по справедливости должен иметь право вести торговлю с любой страной вне владений короля Испании, чтобы возместить понесенные мною потери; поэтому было бы жестоко принудить моих матросов вернуться на порожнем судне и проделать такой путь понапрасну, еще больше отягчив пережитые нами невзгоды, а понеже на землю владений его католического величества никакие товары выгружены не будут, что, собственно, они и должны были обеспечить, все остальное их не касается.

Теперь я начал прикидывать, как бы умнее повести себя дальше в этой злополучной истории, и смекнул, что деньги помогут мне не только выпутаться из нее, но и придать ей совсем иной оборот. Посему я отправил в путь свой шлюп под испанским флагом, дав ему название «Нуэстра Сеньора де ля Валь-де-Грас» и назначив капитаном сеньора Хиральдо де Несма, одного из двух ранее упомянутых испанцев.

Я отослал с судном письма жене и моему главному управляющему, в которых дал указания, какой груз следует отправить сюда: я велел погрузить на шлюп двести бочек муки и пятьдесят бочек гороха, а также, чтобы претворить в жизнь другие мои намерения, я распорядился уложить сто тюков всякого рода европейских товаров, причем не только из тех, что хранятся у меня в кладовых, но и из запасов других хозяев, которые, как мне было известно, полностью нам доверяют.

Я приказал упаковать в эти тюки все самые роскошные и ценные английские ткани, которые есть в наличии или могут быть приобретены, будь то полотно, шерсть или шелк; более

грубую материю, из тех, что в Виргинии идет на одежду слугам и невольникам, я велел оставить на месте. Не прошло и семи недель, как шлюп вернулся; в ожидании его я каждый день исправно выходил на отмель и первым заметил судно еще далеко в море, узнав его по парусам, а затем уже более явственно — по поднятым сигналам.

Шлюп с развевающимся на корме испанским флагом подошел ближе и, выполняя приказ, стал на рейде и бросил якорь. Я же, заметив его еще за несколько часов до этого, сразу пошел к коменданту, сообщил ему, что судно приближается, и выразил надежду, что его превосходительство, как я его именовал, окажет мне честь лично подняться на борт судна, чтобы убедиться, как точно выполняются его приказания. Однако он отклонил мою просьбу, сославшись на то, что не имеет права покинуть остров, ибо он тогда нарушил бы долг службы и лишился бы ее, а стать вновь комендантом крепости можно лишь по особому распоряжению короля.

Тогда я попросил разрешить мне взойти на корабль, на это он согласился, и я доставил на берег золото на всю ту сумму, которую обязался уплатить как выкуп за моих матросов, меня самого и за судно; а поскольку мне было дозволено сойти на берег в другом месте, комендант направил туда своего сына с шестью солдатами, чтобы встретить и сопроводить меня с деньгами в крепость, которой он командовал и где жил. Деньги я увязал в тюки так, чтобы они походили на тяжелые узлы с серебряными монетами, и поручил нести их двум матросам с моего шлюпа, приказав согнуться под этим грузом для того, чтобы скрыть, что они легче, чем кажутся, ведь часть монет я заменил тремя свертками товаров, которые я намеревался подарить коменданту.

Когда деньги внесли в дом и положили на стол, комендант велел всем удалиться, а я дал каждому солдату по пиастру на выпивку, за что они были мне весьма благодарны, да и комендант, видимо, тоже был этим доволен. Затем я учтиво спросил его, угодно ли ему получить деньги, но он сказал, что нет, он возьмет их только в присутствии коррехидора и других чиновных лиц; тогда я попросил у его превосходительства, как я его именовал, разрешения развязать свертки с вещами, чтобы удостоиться чести отблагодарить его, в меру моих возможностей, за оказанные мне благодеяния.

Нет, сказал он, сюда нельзя привозить ничего, кроме денег, но если я привез что-нибудь для личного пользования, то он не станет любопытствовать и я могу поступать, как пожелаю.

Тогда я сам пошел в комнату, где лежали тюки, заперся там, вынул все вещи и разложил их покрасивее. В тюках было пять небольших свертков, в которых находилось следующее:

1, 2. 20 ярдов отличного английского тонкого сукна, из коих 5 ярдов черного и 5 ярдов малинового были в одном свертке, а остальное — красивой пестрой расцветки — во втором.

3. 30 элей тонкого голландского полотна.

4. 18 ярдов прекрасного английского парчового шелка.

5. Штука черного колчестерского сукна.

Я положил все отрезы в ряд, и, несмотря на его притворные возражения и отказы, мне удалось втолковать коменданту, что это привезено ему в подарок. Он много раз обежал комнату, поглядывая на вещи, и наконец согласился принять подношение, в знак чего швырнул на них свою шляпу, которую до того держал под мышкой, и чопорно мне поклонился. Когда все это кончилось, он пожелал остаться один, а я вышел в соседнюю комнату и ждал там, пока он меня не позовет. Вернувшись, я убедился, что он все подробно рассмотрел, после чего он тут же велел унести вещи.

Теперь это был совсем другой человек: он благодарил меня за подарок, заявил, что такой удар был бы впору вице-королю Мексики, а не простому коменданту крепости, что его услуги не стоят подобной награды и что он постарается до моего отъезда оказать мне содействие еще в чем-нибудь.

Когда мы обменялись любезностями, я попросил послать за коррехидором, и как только он пришел, я в его присутствии уплатил причитающийся по договору выкуп за судно и экипаж.

Но тут коррехидор заявил, что мои интересы он намерен блюсти не менее строго, чем свои, и принимает эти деньги не как выкуп за пленников, а как залог, равный той сумме, которую нам придется заплатить, если будет утверждено решение считать нас пленными.

А затем комендант и коррехидор сообща послали (во всяком случае, так нам было сказано) доклад об этом деле вице-королю Мексики, а мне потихоньку посоветовали задержаться до возвращения «Авизо» — судна, направляющегося через залив в Веракрус[160] с нарочным к вице-королю; при этом они сообщили мне, что обычно такое плавание продолжается два месяца.

Мне это предложение пришлось по душе, так как мне дали понять, что я, вероятно, получу возможность лично отправиться на своем шлюпе в Веракрус, где смогу тайно сбыть товары, лежащие у меня в трюме. Но все получилось гораздо проще: примерно через два дня после того, как я внес залог, что описано выше, на борту моего судна появился сын коменданта, которому я неоднократно говорил, что буду рад его здесь видеть, и три знатных испанских купца, из коих двое не были тамошними жителями.

Они провели у меня время с приятностью и в веселии, и я сумел их так ублаготворить, что вечером они были не в силах добраться до берега и с удовольствием улеглись на коврах, которые я велел для них расстелить; а чтобы сын коменданта убедился, что и с ним хорошо обошлись, я принес ему для сна прекрасный халат и малиновый бархатный колпак, а утром предложил ему взять их себе, к чему он отнесся весьма благосклонно.

В разгар этой пирушки один из купцов, который не был так сильно одурманен вином, как молодые господа, и соображал, зачем пришел сюда, улучил удобный момент и вступил в беседу с капитаном шлюпа, чтобы разузнать, какие товары есть у нас на судне. Капитан быстро смекнул, в чем дело, и доложил мне о разговоре, а я дал ему указания, что говорить и как поступать дальше. Он выполнил мои распоряжения, и они, не теряя времени, сошлись на пяти тысячах пиастров и сами на свой страх и риск выгрузили кладь.

Меня это весьма порадовало, так как я уразумел, что, распродав груз, я возьму свое и полностью расквитаюсь с негодными испанцами за все обиды, нанесенные мне вначале. Задавшись такой целью, я велел капитану сбыть весь оставшийся товар и возложил все это дело на него самого, а он так ловко справился с моим поручением, что на следующий день трое испанцев скупили весь груз, выдвинув одно дополнительное условие — доставить их и купленный товар на нашем шлюпе в указанный ими пункт между Гондурасом и Веракрусом.

Мне было нелегко выполнить это требование, но, убедившись, что установленная при сделке цена с лихвой окупит такое путешествие, я дал свое согласие, но тут возникло еще одно препятствие — ведь если я, теперь уже свободный человек, уйду с испанцами на шлюпе, то я не дождусь благоприятного ответа вице-короля Мексики на ходатайство коменданта и коррехидора. Все же, решил я, будь что будет, а я поеду; с этим я отправился к коменданту и объяснил ему, что понесу большие потери, если мой шлюп будет стоять здесь, пока я дожидаюсь благоприятного ответа из Мехико, и попросил у него разрешения отбыть на шлюпе к острову Антигуа, чтобы распродать там свой товар, который, как ему известно, я не имею права выгрузить на берег здесь, в Гаване, и который может прийти в негодность от столь долгого лежания в трюме.

Разрешение я получил без труда, да еще комендант дал мне право вернуться обратно и, оставив судно на рейде, сойти — но лишь мне одному — на берег, чтобы лично ознакомиться с волеизъявлением вице-короля по моему делу, находившемуся сейчас у него на рассмотрении.

Получив таким образом разрешение на выезд, то есть пропуск для судна и себя самого, я с тремя испанскими негоциантами на борту отправился в плавание. Испанцы сказали мне, что они не из Гаваны, но один из них, по-видимому, врал; во всяком случае, они водили знакомство

с богатыми купцами из Гаваны и ее окрестностей, ибо в ночь нашего отплытия притащили на борт судна изрядную сумму денег в пиастрах. И впоследствии я убедился, что они, купив у меня товар по весьма солидной цене, перепродали его другим купцам на побережье у Веракруса с таким барышом, что он превысил полученную мной немалую прибыль более чем в два раза.

Подняв якорь, мы пошли прямо на Веракрус; сначала я сомневался, стоит ли заходить в порт, так как меня беспокоило, как бы испанцы опять не сыграли со мной какой-либо шутки, но поскольку мы плыли под испанским флагом и купцы предъявили нам подлинные документы за надлежащими подписями, оснований для страха не было.

Когда же мы оказались в виду берега, я убедился, что они весьма ловко ведут недозволенную торговлю, которая, несмотря на то что она запрещена законом, стала для них привычным занятием. А дело происходило так: ночью мы держались неподалеку от берега, примерно в шести лигах[161] севернее порта; отсюда двое купцов отправились в шлюпке к берегу и часа через три вернулись, а вместе с ними приплыли пять челноков с семью или восемью купцами; не успели они подняться на борт, как мы легли на курс и к рассвету потеряли землю из виду.

Мне следовало бы еще раньше сказать, что с момента отплытия и в течение всего плавания по Мексиканскому заливу, которое длилось восемь суток, мы переворошили весь груз, открыли указанные испанцами тюки и сбыли им весь товар, кроме бочек с мукой и горохом.

Груз этот представлял собой значительную ценность, в чем можно убедиться, если учесть, что стоимость всего товара, указанная в накладной, или фактуре, которую написал для моей супруги мой наставник и управляющий, достигала лишь 2684 фунтов 10 шиллингов, а я продал его, вкупе с частью, приобретенной ими в тот вечер, когда, как я уже рассказывал, они впервые явились на борт нашего судна, за 38593 пиастра, да к тому они еще добавили 1200 пиастров за фрахт и преподнесли капитану и матросам отменные подарки, что, как вы скоро узнаете, этим купцам было вовсе не трудно.

Когда земля скрылась из виду, испанцы занялись торговлей, и наши трое купцов открыли свою лавку, как они смело могли бы назвать ее. Я оставался в стороне, так как мне не было никакого дела ни до их лавки, ни до товара, а они провернули всю сделку за несколько часов, и ночью мы опять взяли курс к берегу, куда пять челноков доставили большую часть товаров, потом они вернулись к нашему судну и привезли деньги наличными как за выгруженный, так и за весь остальной товар, который они скупили на обратном пути, не оставив у меня на судне ничего, кроме бочек с мукой и горохом, которые я не желал продавать за цену, предлагаемую ими.

Стало быть, как я подсчитал, они получили более семидесяти тысяч пиастров за товар, который я им продал, почему я и загорелся желанием поближе познакомиться с покупателями, прибывшими ко мне с берега, так как мне пришло в голову, что я смогу без всякого труда ходить к ним из Виргинии на своем шлюпе, захватив с собой полученный из Англии для этой цели товар стоимостью в пять или шесть тысяч фунтов, и продавать его втридорога. Возымев такое намерение, я завязал с испанцами, прибывшими в челноках, знакомство, и мы так сдружились, что в конце концов я, с согласия трех испанцев из Гаваны, принял их приглашение сойти на берег и навестить их, а жили они в небольшом загородном доме или, вернее, усадьбе, где находится ingenio, то есть сахароварня, или сахарный завод, и где нас встретили, как принцев крови.

Я не преминул сказать, что знай я, как вновь добраться сюда, я мог бы навещать их один или два раза в году, а это принесло бы им и мне изрядную прибыль. Один из испанцев вмиг смекнул, в чем дело, и, уведя меня в другую комнату, сказал: «Сеньор, если вы и впрямь желаете вновь приехать сюда, я дам вам такие указания, которые оградят вас от просчетов, и

можете не сомневаться, что, если вы сойдете на берег ночью и проберетесь сюда или поднимете на судне заранее условленные сигналы, мы не мешкая выйдем вам навстречу и доставим довольно денег, чтобы заплатить за любой груз, который вы привезете».

Я выслушал все их указания, а они дали честное слово, что обеспечат мне полную безопасность. Я решил посетить их как можно скорее, но не обмолвился об этом ни единым словом перед первыми тремя купцами. Итак, завершив в течение пяти дней наши коммерческие дела, мы вышли в море и направились к острову Куба; там я спустил на берег моих трех испанцев со всем их добром и к полному их удовольствию и не мешкая отправился на Антигуа, где со всей возможной поспешностью сбыл с рук двести бочек с мукой, которые, правда, несколько пострадали от длительного путешествия, и, загрузив шлюп ромом, патокой и сахаром, вновь взял курс на Гавану.

На этот раз я не знал покоя, страшась встречи с пиратами, так как на моем судне находилось большое богатство — не только товары, но сорок тысяч пиастров серебром. Вернувшись в Гавану, я сошел на берег, чтобы явиться к коменданту и коррехидору и осведомиться, какой ответ получен от вице-короля. На этот раз счастье улыбнулось мне: как я узнал, вице-король отклонил приговор, согласно которому мы считались пленными и подлежали выкупу, полагая подобные меры допустимыми только в период военных действий; что же касается конфискации моего имущества, то этот вопрос, по его мнению, следовало передать на рассмотрение Торговой палате или Совету в Севилье и изложить в прошении к королю, если таковое будет подано.

Со стороны вице-короля подобное решение в известной мере было проявлением глубокого чувства справедливости. Ведь и в самом деле, поскольку мы не высадились на берег, не было законных оснований взять нас в плен; что же касается остального, то я уверен, что если бы я взял на себя труд поехать в Испанию и ходатайствовать там о возвращении мне судна и груза, мне их вернули бы.

Но как бы там ни было, я, не внося выкупа, обрел свободу, мой экипаж тоже был отпущен на волю, а деньги, которые, как уже говорилось, я оставил в виде залога, были мне возвращены. Итак, я покинул Гавану и не мешкая отправился в Виргинию, куда прибыл после полутора лет отсутствия и, несмотря на все понесенные мною потери, оказался на четыре тысячи пиастров богаче, чем был, когда уехал из дому.

Ну, а вся эта давняя история с теми, кто был взят в плен в Престоне, канула в прошлое и больше меня не тревожила, так как я совершенно успокоился, когда парламент утвердил всеобщую амнистию. Здесь было бы уместно отметить, что неизбежным спутником преступления является страх; всего несколько месяцев тому назад один лишь вид судна с несчастными пленными из Престона напугал бы меня до потери сознания. Не зря же я, чтобы избежать встречи с ними, притворился больным и забинтовал ноги, якобы страдая подагрой; а вот теперь они не вызвали бы во мне никакого волнения, и, увидев их, я испугался бы не больше, чем если бы натолкнулся на каких-нибудь невольников с плантаций.

Но особенно замечательным было то, что если раньше я воображал, что любой из них может узнать и вспомнить, а следовательно, разоблачить и выдать меня, то теперь, хотя мне приходилось часто бывать среди них и нередко встречаться если не со всеми, так с большинством, причем некоторых я узнавал в лицо, а иных помнил даже по имени, не оказалось ни одного человека, который посмотрел бы на меня особенно пристально или объявил, что раньше знавал меня.

Как покойно было бы мне, если бы все это я мог предвидеть заранее, от скольких несчастий, мучений и опасностей, кои потом посетили меня, я был бы избавлен! Но человек, создание близорукое, не может заглянуть далеко вперед и не способен ни предчувствовать грядущую радость, ни отвратить несчастье, как бы близко они к нему ни подступили.

Мысли у меня были заняты планами относительно Вест-Индии, и я начал готовиться к их осуществлению; я располагал исчерпывающими сведениями о том, какие европейские товары пользуются особым спросом в Новой Испании[162]; а спешил я так, ибо проведал, что жителям этой страны очень нужны европейские товары, потому что за последние два года отплытие галеонов[163] из Старой Испании каждый раз задерживалось на необычайно длительное время. По этой причине, а также полагая, что у меня не хватит времени, чтобы послать в Англию за нужными товарами, я решил нагрузить мой шлюп табаком и ромом, который я привез с острова Антигуа, и отправиться в Бостон, находящийся в Новой Англии, и в Нью-Йорк, а там посмотреть, не удастся ли мне достать товары по своему вкусу.

Согласно с этим намерением, я вместе с женой сел на корабль, взяв с собой двадцать тысяч пиастров, и мы отправились в путь. В Новой Англии еще не бывало такого, чтобы купец из Виргинии закупил столь большое количество товаров, да еще, что их там особенно поразило, расплатился за основную часть наличными. Это обстоятельство так взбудоражило всех негоциантов, что посыпались вопросы, кто я такой и чем занимаюсь, на которые сразу же последовал четкий ответ, что я владелец обширных плантаций в Виргинии, и это было все, что члены моего экипажа могли сказать обо мне, но и того вполне достаточно.

Ну, а толков обо мне, как передавали, было немало: одни говорили, что я, несомненно, направляюсь на Ямайку, другие — что я собираюсь вести торговлю с испанцами, третьи — что я намерен отправиться в Южные моря[164] и, став полукупцом, полупиратом, высадиться где-нибудь на побережье Чили и Перу; словом, одни говорили одно, другие — другое, в зависимости от того, что подсказывало этим сплетникам их воображение. Мы же продолжали заниматься своим делом, выложили двенадцать тысяч пиастров, продали ром и табак, после чего отправились в Нью-Йорк, где и истратили остальные деньги.

Самыми ценными товарами, которые мы здесь купили, были: отменное английское тонкое сукно, серж, драгет, нориджская шерсть, гарусная шерсть, саржа и всякого рода шерстяные ткани, а также изрядное количество разного полотна и на тысячу фунтов прекрасного шелка нескольких сортов.

С этим грузом я благополучно вернулся в Виргинию и, добавив к нему еще немного, начал готовиться к путешествию в Вест-Индию.

Мне следовало бы упомянуть, что я перестроил свой шлюп, несколько приподняв палубу, чтобы расположить на нем двенадцать пушек и сделать его пригодным к обороне, так как не хотел, чтобы его опять, как это случилось раньше, взяли на абордаж испанские суда; и впоследствии вы убедитесь, что принятые мною меры пошли нам на пользу.

В начале августа мы поставили паруса, а поскольку на нас дважды, при прохождении через Флоридский пролив или между Багамскими островами, нападали пираты, я решил, хоть это и удлиняло путь, держаться подальше от берега, что, как я полагал, избавит меня от столкновения с ними. Мы пересекли тропики, по-видимому, как раз там, где знаменитый сэр Уильям Фипс[165] вытащил серебро из потонувшего испанского судна, и, лавируя меж островов, легли на курс вест-тень-зюйд[166], проплыли под островом Куба и ворвались на так называемых пассатных ветрах в великий Мексиканский залив, повернув сначала на север, а потом на северо-запад от острова Ямайка, и таким образом, как мне представляется, избежали встречи с испанцами с Кубы или из Гаваны.

Когда мы огибали западную оконечность Кубы, три испанских судна вознамерились взять нас на абордаж, как это было в прошлый раз по другую сторону острова, но вскоре испанцы убедились, что попали впросак и не сладят с нами, так как мы выкатили пушки, которых они раньше не заметили, и, пальнув три или четыре раза, обратили их в бегство.

На следующее утро они появились вновь, — теперь уже было пять больших лодок и один барк, — и погнались за нами; мы же подняли испанский флаг и приготовились к сражению, но тут они убрались восвояси. Итак, мы избежали опасности, потому что оснастили свой корабль.

Теперь мы с попутным ветром шли к порту назначения, и, так как я получил весьма толковые указания, мы отошли к северной части островка, где расположена крепость Сан-Хуан д'Ульва[167], двигаясь вдоль берега, нашли условленное место, высадились, и я послал капитана прямо на сахароварню. Там он нашел испанского купца, который жил в своем доме наподобие властителя маленького царства. Он радостно встретил моего посланца, понял, что я, согласно уговору, нахожусь на судне, стоящем в бухте, и не мешкая, примерно через четыре часа, явился ко мне, прихватив с собой из соседней усадьбы еще одного испанского купца, и все они пришли ко мне.

Они пытались уговорить меня остановиться у них до следующего вечера, а шлюп пока отвести, как обычно, на рейд, но я не согласился покинуть судно на целые сутки, и мы все вместе поднялись на него. Поскольку уже почти совсем стемнело, мы вышли в море и к рассвету потеряли землю из виду.

Тут, как я уже рассказывал, мы начали показывать испанцам свое добро, и я приметил, что они несколько смущены количеством груза, но когда они разглядели товары поближе, то, наверное, не возражали бы, окажись последних раза в четыре больше. Быстро просмотрев те тюки, которые мы развязали, и почти не торгуясь, они согласились купить все, что я им показал; но так как у них не хватило денег, они решили на следующий вечер съездить за ними.

Оставшуюся часть ночи мы посвятили осмотру всех товаров и составлению их описи, или, говоря по-другому, фактуры, чтобы наши покупатели хорошо рассмотрели покупку, выяснили ее стоимость и установили, сколько нужно привезти денег.

Вечером, как и было задумано, мы приблизились к берегу, а испанцы в нашей шлюпке увезли часть товаров и, выгрузив и спрятав их, вернулись на борт моего судна вместе с еще тремя купцами, с которыми мы уже имели дело раньше, и привезли столько денег, что на них можно было купить не только весь мой груз, но и самый корабль, если бы я пожелал продать его.

Следует отдать им должное — в переговорах со мной они вели себя как истинно благородные люди. Они отлично понимали, что я продаю им все значительно дешевле, чем те трое гаванских купцов, у которых они купили товары раньше; эти купцы были настоящими барышниками, так как сначала купили товар у меня, а затем, как я уже рассказывал, при продаже удвоили цену; правда, теперь и я изрядно повысил цену по сравнению с той, за которую ранее продал груз упомянутым испанцам, но для этого у меня были основания: путь туда и обратно был чрезвычайно долгим и опасным и все трудности, с ним сопряженные, лежали на мне одном.

Словом, я продал им весь груз и получил за него двести тысяч пиастров, да к тому же, когда они прибыли ко мне во второй раз, их шлюпки были до краев полны свежей провизией — тушами свиней и овец, битой птицей и т.п. — в количестве, достаточном для дальнейшего плавания, причем все это добро мне преподнесли в подарок; таким образом, купля-продажа завершилась к взаимному удовольствию, и при расставании мы дали друг другу обещание не прерывать наших торговых связей, а они заверили меня, что окажут мне всяческую помощь, если при перевозе товаров для них на меня обрушится беда, что, вообще говоря, вполне могло случиться, поскольку таможенные правила относительно людей, ведущих у них на побережье недозволенную торговлю, весьма суровы.

Я сразу же собрал свой небольшой экипаж на совет, чтобы решить, каким путем идти обратно; помощник капитана был того мнения, что нужно гнать корабль против ветра и подняться к Ямайке, но поскольку у нас было слишком много добра, чтобы подвергнуть себя риску, и нам следовало избрать самый безопасный путь, я и капитан корабля полагали, что лучше всего плыть по заливу вдоль побережья и, не теряя берегов Флориды из виду, войти кратчайшим путем в пролив, направиться к берегам Каролины, зайти в первый порт, куда нас

пустят, и дождаться там любого английского военного судна, которое совершает плавание вдоль побережья и сможет сопровождать нас до Флориды.

Курс был выбран на редкость удачно, так что путешествие наше прошло совершенно благополучно, если не считать того, что около мыса Флорида и в проливе, пока мы не поднялись до широты Сент-Огастина, к нам несколько раз приближались испанские крупные и малые барки с намерением захватить нас, но одних смущал наш испанский флаг, а других удерживал на почтительном расстоянии внушительный ряд пушек у нас на борту. Таким образом, мы прибыли целые и невредимые, и хотя раз или два штормовой ветер чуть не выбросил нас на мель, повторяю, мы благополучно вошли в Чарлсривер в Каролине.

Отсюда мне удалось послать домой письмо, в котором я рассказал жене о моих успехах, а затем, получив сообщение, что в прибрежной полосе нет пиратов, я отважился, хотя поблизости не было ни одного военного судна, пуститься в плавание. Вскоре мы без каких-либо происшествий вошли в Чесапикский залив, то есть приблизились к берегам Виргинии, а через несколько дней, пробыв в отъезде три месяца и четыре дня, я вернулся к себе домой.

Никогда еще никому не удавалось совершить в этих краях плавание столь быстро и с таким барышом: ведь, по самым скромным подсчетам, я получил наличными двадцать пять тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли, и это с учетом всех расходов, связанных с путешествием в Новую Англию.

Казалось, для меня настало время утихомириться, но человеку не хватает мудрости успокоиться на достигнутом. Моя благоразумная жена настойчиво старалась убедить меня, что я должен угомониться и умерить свой деловой пыл. Я же воображал, что передо мной открыт путь к несметным богатствам, что я могу повернуть золотые реки Мексики в сторону моих виргинских владений и иду на неизбежный в таких случаях риск. Я смотрел на жизнь совсем по-иному, чем моя жена, и не мог думать ни о чем другом, кроме наживы. Вопреки доводам разума, я поспешно готовился к новому путешествию и старался раздобыть и запасти побольше разных товаров для продажи. В Новую Англию я на сей раз не поехал, так как за несколько месяцев до этого послал доверенного человека в Англию и теперь располагал прекрасными английскими товарами; таким образом, мой товар, согласно составленной мною накладной, стоил более десяти тысяч фунтов и был так умело подобран и выгодно куплен, что я рассчитывал выручить за него гораздо больше, чем прошлый раз.

Теша себя подобными надеждами, мы в апреле, то есть почти через пять месяцев после возвращения из первого путешествия, отправились во второе, но на этот раз удача изменила нам с самого начала, и хотя мы, чтобы не встретиться с пиратами, отошли от берега почти на шестьдесят лиг, уже на пятый день нас атаковали и обстреляли две пиратские шхуны, которые держали курс на север, то есть к берегам Ньюфаундленда; они отняли у нас всю провизию, боевые припасы, ружья и пистолеты, так что мы оказались в плачевном положении. Поскольку это произошло близко от дома, мы сочли разумным повернуть назад к Виргинии и там поправить свои дела и пополнить запасы; для этого нам потребовалось около десяти дней, после чего мы вновь пустились в плавание. Что же касается груза, который мы везли, то его пираты не тронули, потому что все товары были увязаны в громоздкие тюки, а если бы пираты их и взяли, то не знали бы, что с ними делать.

С нами не случилось ничего достойного упоминания, пока мы, держась того же курса, не вошли в Мексиканский залив, где на нас и обрушилось первое несчастье: огибая Кубу и направляясь к побережью Юкатана, мы увидели испанскую эскадру, которая обычно ходит из Картахены[168] или Порто-Белло в Гавану, а оттуда в Европу. Она состояла из одного брига и трех фрегатов; из них два пустились за нами в погоню, но, так как уже смеркалось, мы вскоре потеряли их из виду и, взяв курс на север, пересекли Мексиканский залив, как бы направляясь к устью Миссисипи; таким образом, мы скрылись от них и через несколько дней спустились в нижнюю часть залива, где находился наш порт назначения.

Как обычно, мы ночью подошли к берегу и подали условный знак нашим друзьям, но, вместо того, чтобы как прежде, сообщить о своей готовности прибыть к нам, они оповестили нас, что наше судно замечено в заливе и известие об этом отправлено в Веракрус и другие места; несколько фрегатов уже разыскивают нас, а еще три будут крейсировать в поисках нашего шлюпа завтра утром.

Мы недоумевали, как это могло случиться, но впоследствии нам рассказали, что эти три фрегата, потеряв нас ночью из виду, подошли к берегу и забили тревогу, что, мол, появились морские разбойники.

Как бы там ни было, а нам надлежало немедленно решить, что делать дальше; совет, который подали нам испанские купцы, был весьма разумен, если бы мы ему последовали, — той же ночью перевезти на берег на нашей шлюпке и в их челноках как можно больше тюков, а утром побыстрее двинуться к северной части залива и положиться на судьбу.

Моему шкиперу, то есть капитану, совет этот очень понравился, но когда мы принялись за его выполнение, нас обуяли смятение и паника, и как только стало светать, мы, не успев переправить и шестнадцати тюков, подняли паруса. Но тут капитан предложил новый выход — чтобы я в готовой к отплытию лодке, нагруженной еще пятью тюками, поехал на берег и остался там при условии, что испанские купцы согласятся спрятать меня, а он уйдет в море и попытает там счастья.

Испанские купцы охотно взялись спрятать меня, тем более что я мог сойти за настоящего испанца; они отвезли меня на берег вместе с двадцатью одним тюком, а мой шлюп ушел в море. Мы с капитаном договорились, что если он заметит преследователей, то ночью непременно приведет шлюп к берегу. Мы без устали высматривали его, но тщетно, потому что, как оказалось, его обнаружили два фрегата и бросились за ним в погоню. Мой шлюп, отличавшийся быстроходностью, набрал такую скорость, что фрегаты отстали и наши непременно к ночи ушли бы от них; но, несмотря на все принятые меры, от моего судна никак не отрывался маленький разбойничий корвет, который два или три раза пытался ввязаться в бой, помогая, таким образом, другим судам нагнать наше. Однако шлюп не замедлял хода, и они были вынуждены преследовать его трое суток, пока на свежем юго-западном ветре он не подошел к Рио-Гранде, или Миссисипи, как называют эту реку французы, и капитан, не видя другого выхода, посадил шлюп на мель недалеко от принадлежавшей тогда французам крепости Пенсакола. Мой экипаж провел бы судно в речной порт, но поскольку не было лоцмана, а шли они против сильного течения, пришлось посадить судно на мель, а людям спасаться в шлюпках, кто как может.

Положение, в котором я теперь оказался, было двойственным — с одной стороны, мне очень повезло, ибо я попал к истинным друзьям, настолько преданным, что они пеклись обо мне не меньше, чем о самих себе; кроме того, спокойствию моему способствовало и то, что благодаря их совету и содействию все мои товары остались при мне, а стоимость этого груза была столь велика, что я мог прожить здесь безбедно, сколько потребуется; в случае же надобности, как заверил меня первый купец, которого я навестил, он даст мне в долг двадцать тысяч пиастров. С другой стороны, я был ввергнут в пучину отчаяния из-за невозможности снестись с женой и сообщить ей, что я вышел живым и невредимым из всех злоключений и нахожусь среди своих доброжелателей.

Но этому горю ничем нельзя было пособить, кроме единственного проверенного средства от всех неизлечимых страданий — терпения. К тому же, если бы я ведал, что грозило мне, попади я в руки испанцам, мне бы следовало не только исполниться терпением, но и питать глубокую благодарность к судьбе, ибо я избежал ссылки на рудники, а может быть, что много страшнее, — суда инквизиции. А если бы мне и удалось ускользнуть от испанцев, меня ожидала бы участь моего экипажа, испытавшего еще более ужасные бедствия, опасности и страдания. Скитания забросили их к дикарям, а затем к французам, оказавшимся свирепее дикарей, потому что они не только не облегчили им страдания и не оказали помощи, а, напротив,

ободрали их как липку. Скитания эти, которые сами по себе заслуживают отдельного рассказа, закончились, лишь когда они добрались до юго-западной части Южной Каролины. Так вот, повторяю, если бы все это было мне известно, я должен был бы в моем положении не только исполниться терпением, но и быть благодарным судьбе, считая себя счастливцем.

Как уже говорилось, здешний купец — мой покровитель — оказывал мне княжеские почести, проявлял особую заботу о моей безопасности; и в то время, когда мы со страхом ожидали, что мой шлюп захватят и приведут в Веракрус, он прятал меня глубоко в лесу в домике, при котором был прекрасный птичник со всякого рода американскими птицами, часть которых он ежегодно отправлял в Испанию в подарок своим друзьям.

Без такого убежища я не мог бы обойтись хотя бы потому, что, если бы мой шлюп захватили и привели в Веракрус, а матросов взяли в плен, их вынудили бы признаться, что я их хозяин, и указать место, где я высадился и выгрузил двадцать один тюк груза. Что касается этого груза, то мой покровитель о нем отлично позаботился: все тюки были вскрыты, товары осмотрены, а потом вместе с другими европейскими товарами, которые прибыли на галеонах, заново упакованы и отправлены различным негоциантам в Мексику; так что никто, даже прознав о существовании моего груза, не смог бы его обнаружить.

В таких обстоятельствах, обуреваемый беспокойством о судьбе моего шлюпа, я прожил в этом загородном доме, или, как его здесь называют, «домике в долине», около пяти недель. Мне дали в услужение двух негров, из коих один выполнял обязанности поставщика и повара, а второй — камердинера. Мой друг, хозяин усадьбы, навещал меня каждый вечер, мы вместе ужинали и посещали птичник, прекраснее которого я нигде не видывал.

В конце пятой недели моего уединения мой покровитель получил наконец точные известия о судьбе моего судна — два фрегата и шлюп гнались за ним до тех пор, пока оно не наскочило на мель около форта Пенсакола; преследователи видели, как оно разбилось и разлетелось на части под ударами волн, а матросы спаслись в шлюпке. По-видимому, экипаж упомянутых фрегатов доставил эту новость в Веракрус, куда и отправился мой друг с намерением все разузнать и где капитан одного из фрегатов поведал ему эту историю.

Известие о том, что судно мое и весь груз погибли, но команда выбралась на берег и спаслась, было много приятнее для меня, чем если бы я узнал, что груз цел, а экипаж попал в руки испанцев, ибо только теперь я чувствовал себя в безопасности, — ведь случись все по-другому, матросов вынудили бы открыть мое местопребывание, мне пришлось бы бежать и даже с помощью моих друзей было бы чрезвычайно трудно скрыться.

Теперь же я обрел полное спокойствие, а мой друг, полагая, что больше нет надобности укрывать меня в «домике в долине», открыто привез меня к месту своего постоянного пребывания, где выдал меня за негоцианта, который недавно прибыл из Испании в Мексику, а оттуда приехал к нему погостить.

Меня нарядили в костюм знатного испанца, дали мне в услужение трех негров и стали называть доном Фердинандом де Мереса из Кастилии.

Делать мне здесь было нечего, — я лишь совершал прогулки, ездил верхом в лес и возвращался домой, где меня ожидало отрадное уединение и покой, ибо никто на всем свете не живет в такой роскоши и не располагает такими огромными богатствами, как здешние купцы.

Живут они, как я уже говорил, в усадьбах (villas), на своих ingenios, или, как называли бы их в Виргинии, плантациях, где производится индиго и сахар; кроме того, эти купцы владеют домами и складами в Веракрусе, куда ездят дважды в год, когда туда прибывают галеоны из Испании и когда эти галеоны загружают и отправляют в обратный путь. Приехав как-то с ними в Веракрус, я был поражен, когда увидел, какую громадную партию товаров получили они от своих поверенных в Испании и как ловко они с ней справились: как только ящики, узлы и тюки с европейскими товарами поступали к ним в кладовые, носильщики и упаковщики, то есть их

слуги — негры и индейцы, вскрывали всю упаковку и укладывали товары по-другому, после чего новые тюки и отдельные свертки отправляли на лошадях в Мексику и распределяли там между несколькими купцами, а остаток привозили домой, то есть в усадьбы, где, повторяю, жили хозяева груза; усадьбы же находились примерно в тридцати английских милях от Веракруса, так что дней через двадцать их кладовые вновь оказывались порожними. По окончании всех дел в Веракрусе они вместе со слугами тотчас уезжали домой, не оставаясь там долее, чем требовалось, так как воздух в тех краях вредоносный.

Не меньше поражала меня и та точность, с которой мексиканские купцы расплачивались за купленные товары серебром и золотом, так что уже через несколько месяцев кладовые моих хозяев до потолка были набиты сундуками с пиастрами и серебряными слитками.

Узкие рамки настоящего повествования не дают возможности подробно рассказать, как точно и исправно, но без всякой спешки и путаницы происходило все это дело, как быстро завершались переговоры о предметах весьма трудных и касающихся больших ценностей, как стремительно вновь упаковывались товары, составлялись фактуры и все отправлялось к назначенным лицам; примерно через пять недель у моих хозяев не оставалось и следа товаров, прибывших на галеонах из Европы, причем товары эти записывали в расчетную книгу, чтобы хозяин точно знал, кому каждый из них отправлен; затем все дела поступали в ведение бухгалтеров, которые составляли фактуры и писали письма, хозяину же оставалось только прочитать и подписать их, а другие работники переписывали их в особые книги.

Мне трудно оценить стоимость товаров, которые прибывали к ним на этих торговых судах, но я помню, что когда галеоны отправились в обратный путь, они увезли с собой один миллион триста тысяч пиастров наличными, да еще сто восемьдесят тюков или мешков кошенили[169] и около трехсот тюков индиго; при этом испанцы скромно утверждали, что все это предназначено для них самих и их друзей; на самом же деле несколько мексиканских купцов поручили им перевезти на судах и препроводить соответственно их распоряжению большие количества драгоценных слитков, и мне известно также, что при этом им был определен куртаж и они даже таким образом получили немалую прибыль.

Я побывал с ними в Веракрусе, а после возвращения оттуда они расплатились со мной за двадцать один тюк, которые я в свое время выгрузил на берег. По представленному мною счету, к которому были приложены образцы всех товаров и где была обозначена их окончательная цена, мне причиталось восемь тысяч пятьсот семьдесят пиастров; эту сумму мой друг, а иначе я не могу его теперь называть, уплатил наличными, приказав своим слугам-неграм сложить все деньги в углу моей комнаты; таким образом, несмотря на пережитые несчастья, я все еще был весьма богат.

Еще в Виргинии я велел один тюк упаковать особо; в нем лежали товары, выписанные мною из Англии — в основном тонкое английское сукно, шелк, шелковый бархат и очень тонкое голландское полотно — и предназначенные на всякий случай для подарков; как я ни торопился, переправляя двадцать один тюк товаров на берег, этот тюк я не забыл захватить, и при продаже всех остальных товаров я сказал, что в этом тюке упакована моя одежда и другие вещи личного обихода и поэтому открывать его не следует; это было выполнено, и тюк принесли ко мне в комнату.

В этом тюке было упаковано несколько свертков, которые я приказал сложить так, чтобы в случае необходимости иметь возможность сделать нужный подарок. Все вещи были, однако, довольно ценными; я полагаю, что весь тюк обошелся бы мне в Англии не дешевле двухсот фунтов стерлингов. Хотя в моем положении мне следовало несколько умерить свою щедрость, я чувствовал себя настолько обязанным, особливо моему доброжелательному и великодушному испанцу, что счел необходимым, открыв два меньших свертка, соединить вместе их содержимое и преподнести подарок, достойный как моего благодетеля, так и того уважения, которое он мне выказал. Когда я сложил вместе те товары, которые находились в этих двух свертках, получилось следующее:

Две штуки отменного тонкого английского сукна, самого лучшего из того, что можно было достать в Лондоне; подобно сукну, которое я преподнес губернатору в Гаване, одно сукно было прекрасного малинового, весьма стойкого цвета, так как окрашено оно было в пряже, а второе — отличного черного цвета.

4 штуки тонкого голландского полотна, которое стоило в Лондоне от семи до восьми шиллингов за эл.

12 штук прекрасного шелкового драгета[170] и вельвета для мужского платья.

6 штук широкого шелка, из них две — камки[171] и две — шелка для мантилий.

Коробка лент и коробка кружев, причем последняя стоила в Англии около сорока фунтов стерлингов.

Я разложил эти чудесные вещи у себя в комнате и как-то утром привел туда испанца, якобы для того, чтобы, как это частенько бывало, выпить по чашке шоколаду. Когда мы, пребывая в веселом расположении духа, попивали шоколад, я в разговоре заметил, что, хотя я продал ему почти весь мой груз и получил с него за это деньги, мне, по сути дела, следовало бы не продавать ему товары, а сложить их у его ног, ибо только благодаря его покровительству я спас хоть что-нибудь из моего имущества.

Приветливо улыбаясь, он ответил, что взять у меня товары без денег было бы то же, что обобрать потерпевшего кораблекрушение, а это еще хуже, чем ограбить больницу.

В конце концов я объявил, что имею к нему две просьбы, в которых мне нельзя отказать. Затем я сообщил ему, что приготовил для него небольшой подарок и он не может не принять его по причине, которую я потом изложу, и что вторую просьбу я поведаю ему после того, как он выполнит первую. Он ответил, что, не потерпи я бедствия, он принял бы от меня подарок, но теперь поступи он так — это было бы грубо и невеликодушно. Но, возражал я, необходимо, чтобы он выслушал, по какой причине он обязательно должен принять подарок. И тогда я сообщил ему, что этот сверток был собран в Виргинии моей женой и мною для него лично и что на метках, прикрепленных к свертку, обозначено его имя, после чего я показал ему эти метки, — которые в самом деле были лишь на одном из свертков, куда, как уже упоминалось, я вложил содержимое второго, — добавив, что все это принадлежит ему. Короче говоря, я так убеждал его принять эти вещи, что он поклонился в знак согласия, а я без лишних слов приказал моему негру, то есть, вернее, его негру, который прислуживал мне, унести все, кроме двух коробок, в покои хозяина, который, таким образом, был лишен возможности обстоятельно рассмотреть подарок.

Мой друг удалился, но минут через пятнадцать ворвался ко мне в страшном гневе, чуть не с бранью, однако я без труда приметил, что в самом деле он весьма доволен; он заявил мне, что если бы успел раньше подробно рассмотреть подарок, то ни за что не позволил бы себе принять его, и закончил свою речь теми же словами, что и губернатор в Гаване, сказав, что такой подарок подобало бы вручить вице-королю Мексики, а не ему.

Успокоившись, он прибавил, что помнит о моих двух просьбах и о том, что я собирался изложить ему вторую после того, как будет исполнена первая; при этом он выразил надежду, что я попрошу у него нечто такое, что даст ему возможность достойно отблагодарить меня.

Мне известно, признался я, что в Испании не принято, чтобы посторонний человек преподносил дамам подарки, и я нисколько не сомневаюсь, что он доставляет женщинам из его семьи все, что, по его мнению, им нужно. Однако в свертке оказались две коробочки, на которых моя супруга собственноручно пометила, что они предназначены для передачи его родственницам, и я убедительно прошу, чтобы он лично вручил их по назначению от имени моей жены; я же являюсь всего лишь посыльным и поступил бы бесчестно, если бы не выполнил доверенного мне поручения.

Речь шла о двух коробках с лентами и кружевом, которые я, ведая, сколь изысканным вкусом обладают испанские дамы и сколь требовательно относятся к подобным вещам сами

испанцы, велел жене сложить и собственноручно, как же упоминалось, надписать, кому они предназначены.

Он улыбнулся и подтвердил, что у испанцев не принято предоставлять женщинам такую свободу, как это водится у других народов, но все же, добавил мой друг, он надеется, я не воображаю, что испанцы считают своих женщин потаскухами или непременно ревнуют своих жен. Что же касается моего подарка, то, поскольку он согласен принять его, было бы желательно, чтобы я указал, какую именно часть отдать его супруге и какую — дочерям, ибо у него три дочери.

Тут я вновь стал изощряться в учтивости, заверяя его, что ни в коем случае не могу давать подобного указания и молю его лишь о том, чтобы он собственными руками преподнес своей донне, то есть супруге, подарок, посланный ей моей женой, и не забыл бы сказать, что это от моей жены, обитающей ныне в Виргинии. Он был весьма доволен моей щепетильностью; и я сам видел, как он преподносил своей супруге этот подарок, исполнив все, что я просил, и в какой восторг она пришла, когда открыла коробки, что вполне естественно, ибо здесь подобные изделия стоят больших денег.

Хотя ко мне и раньше относились на редкость дружелюбно, лучше и желать нельзя было, все же признательность, которую я проявил, преподнеся им столь великолепный подарок, не осталась незамеченной; и, по-видимому, вся семья ощутила ее; из чего я заключаю, что сделанные таким образом подношения не пропадают даром, если обеими сторонами не движет корыстолюбие.

В предоставленном мне убежище, хоть и был я здесь вроде бы узником, жилось приятно и удобно; я мог вкушать любые удовольствия и получать все, что мне заблагорассудится, кроме одного — возможности вернуться домой; и, наверно, именно поэтому моим единственным желанием было уехать отсюда, ибо нередко тоска по одной утраченной радости может омрачить все прочие услады мира.

Здесь я испытал мгновения, которых ранее не знавал, — я хочу сказать, что здесь я оглянулся назад, на свою долгую жизнь, и понял, что мог бы не погрязать в грехе, а обращать себе на пользу несметные блага ее; и здесь я постиг, что честные размышления о прошлом являют собой высшую благодать, ниспосланную человеку.

Здесь написал я эти воспоминания и должен заметить, что искренности размышлений моих о минувшем немало способствовал жестокий приступ подагры, которая, как многие полагают, прочищает мозги, восстанавливает память и наделяет нас способностью оценить собственные деяния глубоко, чистосердечно и с пользой для себя.

Делая эти записи, я, конечно, не мог предвидеть, что под влиянием духа времени в Англии станет модно сочинять жизнеописание и что читать их будут с удовольствием; если кто-нибудь, прочитав мое повествование, сочтет за благо предаться тем искренним размышлениям, кои, признаюсь, должны были бы давно овладеть мною, может быть, он извлечет из моего опыта больше пользы для себя, чем я сам. Превратности судьбы, которые испытывает заурядный человек на протяжении быстротекущей жизни своей, явно свидетельствуют, что жизнеописания могут во многих отношениях быть полезными и поучительными для тех, кто прочтет их, если авторы уделят должное внимание размышлениям о нравственном и религиозном совершенствовании.

Хотя повествование мое близится к концу, многие злоключения, выпавшие мне на долю, следовало бы описать более подробно, что споспешествовало бы искренним размышлениям, к завершению коих я сам еще не пришел. Особенно хотелось бы мне отметить, что, перебирая в памяти все превратности моей жизни, я постиг, что нашими поступками руководит, наши устремления ограничивает и всеми свершениями в жизни нашей повелевает непобедимая и всемогущая сила — указующая десница всевышнего.

Это откровение помогло мне уразуметь, сколь справедливо то, что именно всевышнему возносим мы хвалу за все сущее, что коль скоро он не только управляет связью причин и следствий, коей строго повинуется вся природа, но и сотворил эту связь, то его — властелина и творца всего сущего — надлежит нам возблагодарить за все свершения и за все следствия тех причин, коим он положил начало.

Я, живший до сих пор поистине без бога в сердце, научился теперь глубже проникать мысленным взором в суть подобных явлений; и это в конце концов заставило меня постичь, сколь нечестивой была моя жизнь. Правда, никто не внушил мне ни религиозных, ни нравственных убеждений; впервые я приобщился к ним, когда вел недолгую мирную жизнь в Шотландии, где отвращение к безнравственности моего названного брата — Капитана и общение с благонравными и набожными людьми, с которыми свела меня судьба, внушили мне некоторое представление о добре и зле и показали, сколь прекрасна умеренная и богобоязненная жизнь; но я уехал из этой страны и все позабыл. Во второй раз праведные мысли пробудились во мне под влиянием мягких увещаний и справедливых рассуждений моего управляющего, которого я величаю наставником, человека поистине благочестивого и искренне раскаявшегося в былых заблуждениях. Горе мне! Ведь если бы я, подобно ему, чистосердечно покаялся в совершенных мною дотоле проступках, мне не пришлось бы потом в течение двадцати четырех лет влачить беспутное и нечестивое существование.

Теперь, как говорил я выше, у меня нашлось свободное время, чтобы поразмыслить и раскаяться, вспомнить минувшее и с глубоким отвращением к самому себе изречь, подобно Иову: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле».[172]

Вот какие мысли и чувства владели мною, когда я писал историю моей жизни. Мне хочется, чтобы всякого, кто вознамерится прочесть ее, охватил бы при чтении дух раскаянья. Покаянные мысли бывают особенно благотворны, когда предаешься им у себя дома, где царят покой, изобилие и свобода, ниспосланные провидением. Много хуже бывает тем людям, которые, как это пришлось супруге моей и наставнику, живут на чужбине в положении невольников. Тяжкие страдания выпали также и на долю капитана моего шлюпа, который, как мне рассказали, скончался, испытывая глубокое раскаяние, во время скитаний по горам и долам, где он блуждал, пытаясь добраться через Каролину домой — в Виргинию; матросы же мои добрели туда, изведав безмерные лишения и муки. Нелегко было каяться и мне, ибо, находясь в благоприятных обстоятельствах, я все же был пленником, оторванным от семьи, увидеть которую я долгое время даже не надеялся.

Итак, повторяю, человек, обретший покой, располагает возможностью предаться благотворному раскаянию. Но сколь невелико число тех, кто решается поглубже заглянуть себе в душу, раньше чем на их жизненном пути возникнут непреодолимые препятствия!

Наконец, повторяю, и для меня приспело время покаяться; не мне судить, угодно ли господу покаяние наше, когда он ниспосылает нам возможность раскаяться. Удовольствуюсь тем, что посоветую читателям моего повествования вспомнить о моей судьбе, столкнувшись на своем жизненном пути с обстоятельствами, подобными моим, и спросить себя: а не настало ли время покаяться? И да откликнется на это их душа!

Мне остается лишь поведать, что мой добрый друг — испанец, не располагая иной возможностью помочь мне вернуться в Виргинию, получил для меня разрешение отправиться под видом испанского купца на галеонах в Кадикс. Я прибыл туда в целости и сохранности и вдобавок привез с собой все деньги, потому что мой друг не дозволил мне, гостю, потратить ни одного пиастра. Вскоре я из Кадикса переправился на борту английского торгового судна в Лондон, откуда послал жене подробный отчет о моих приключениях; а через пять месяцев она приехала ко мне, спокойно оставив все наше хозяйство в тех же верных руках, что и раньше.

КОНЕЦ

Примечания

Сообщение о предстоящем выходе в свет книги Даниеля Дефо «История достопримечательной, полной бурных приключений, жизни высокочтимого Полковника Жака, в просторечье именуемого Полковником Джеком и т.д.» появилось в английских газетах в середине 1722 года. Роман был напечатан издателями Дж. Бразертоном и другими 20 декабря 1722 года и сразу получил широкое признание, хотя издание было далеко не безукоризненным, так как содержало множество ошибок и даже нелепостей. Часть ошибок осталась и в последующих изданиях: один и тот же герой выступает под разными именами, неправильно написаны и грамматически искажены слова и предложения на французском и испанском языках, перепутаны некоторые географические названия.

В трех изданиях, осуществленных при жизни автора (2-е издание 19 января 1723 г., те же издатели, 3-е — 1724 г.), в заглавии после слов «…Кавалера ордена святого Георга» следовало заключительное предложение: «…рассчитывая умереть генералом», то есть не было ничего о Престонском восстании[173], о покойном короле, ибо в 1722—1724 годах Георг I был еще жив, а также о сражениях в царицыных войсках с турками, так как Анна Иоанновна вела войну с турками в 1736—1739 годах, когда Дефо уже не было в живых.

Это дополнение появилось лишь в 4-м издании романа в 1738 году, через семь лет после смерти автора. Издание было осуществлено Дж. Эпплби по заказу и за счет книгопродавцев Уорда и Чэндлера. П.Доттен, исследователь творчества Дефо, полагает, что издатели намеревались предложить кому-нибудь написать продолжение романа и поэтому ввели в заглавие указанные дополнения. Более того, он считает, что Дефо собирался завершить роман вторичной женитьбой своего героя на первой жене и лишь под давлением издателей искусственно вернулся к Престонскому восстанию, чтобы иметь возможность продолжить приключения героя; следует отметить, что автор почти ничего не говорит о самом восстании, видимо, не желая поднимать политические вопросы, тем более что Дефо не отличался устойчивыми политическими взглядами.

Роман был издан в сокращенном виде в 1809 году, затем в 1810 году был (полностью) включен в избранные сочинения Дефо, изданные под наблюдением В.Скотта. Это издание точно воспроизводило издание 1738 года, но было неудачно разбито на главы. В течение XIX века роман входил во все собрания сочинений Дефо, но не издавался отдельно, так как викторианское общество считало его «безнравственным», а издательства, которые осмеливались печатать «безнравственную» литературу, предпочитали издавать «Моль Флендерс» — роман Дефо, увидевший свет в том же 1722 году.

«Полковник Джек» — самый «лондонский» роман Дефо. Детство и отрочество героя проходят на улицах Сити, в лондонских доках, в бедных кварталах Ист-Энда, то есть в районах, которые Дефо, родившийся на Форстрит, у северной границы Сити, прекрасно знал с самого детства. Пребывание Дефо в Ньюгетской тюрьме в 1703 году, куда его заключили за антицерковный памфлет «Простейший способ расправиться с диссентерами» и знакомство с Дж. Эпплби, издателем исповедей и предсмертных речей преступников, дали писателю возможность изучить жизнь лондонского преступного мира, услышать рассказы о каторге в Виргинии, усвоить особенности языка лондонского дна. Путь удирающего от преследования воришки, точное перечисление названий улиц, по которым он бежит, напоминают газетные отчеты о судебных процессах, в ходе которых подсудимые подробно описывали обстоятельства своих преступлений.

Хотя «Полковник Джек» первый неанонимный роман Дефо (предисловие подписано автором), он все же был в 1734 году, благодаря характерному для Дефо умению делать вымысел подобным реальной жизни, включен в сборник жизнеописаний настоящих преступников (Капитан Чарльз Джонсон, Жизнь и приключения разбойников).

Роман «Полковник Джек» ранее на русский язык не переводился. Настоящий перевод сделан с 5-го издания (1739), осуществленного Дж. Эпплби по заказу Уорда и Чэндлера и перепечатанного издательством «Оксфорд: Бэзил Блэкуелл» в 1927 году.

Сноски

1

…в пользу разумного воспитания… — Вопрос воспитания детей, особенно из бедных слоев населения, всегда тревожил Дефо-просветителя. В работе «Милосердие остается христианской добродетелью», изданной в 1719 г., он утверждал, что образование — лучший путь борьбы с преступностью, и доказывал необходимость создания школ для бедных детей. В 1723 г. он вступил в резкую полемику с Тренчардом, выступавшим со статьями в «Бритиш джорнал», и Мандевиллем, которые высказывались против введения образования среди неимущих слоев населения.

2

Гудменс-Филдз — поле в районе Олдгейта. Олдгейт, что в переводе означает Старые ворота, — место, где до 1760 г. стояли самые восточные ворота Сити.

3

Он был врожденным негодяем… — Вопреки своему убеждению, что от рождения все люди равны и личность человека формируется воспитанием, Дефо здесь несколько раз подчеркивает, что Полковник Джек совершает преступления, не понимая, что это безнравственно, а Капитан Джек, человек низкого происхождения, грешит «по склонности натуры своей».

4

Карл II — король Англии, правивший с 1660 по 1685 г. Сын Карла I Стюарта, обезглавленного в 1649 г. Восшествие Карла II на престол знаменовало собой эпоху реставрации Стюартов.

5

…герцог Йоркский. — С XVI в. титул герцога Йоркского обычно носил второй сын короля Англии.

6

Рэтклиф-Хайуэй — улица в районе доков, пользовавшаяся дурной славой из-за множества увеселительных заведений для моряков. Впоследствии была переименована в Сент-Джордж-стрит.

7

Взятие Маастрихта. — Маастрихт — главный город нидерландской провинции Лимбург на р. Маас, который шесть раз тщетно осаждали войска Людовика. XIV В 1673 г. город все же был вынужден сдаться.

8

Смерть Карла I. — Карл I (1600—1649) вступил на престол в 1625 г. В 1645 г. бежал в связи с революционным восстанием в Шотландию, но был выдан парламентским войскам и в 1649 г. решением парламента был предан суду и обезглавлен.

9

Ньюгетская тюрьма — знаменитая лондонская тюрьма, получившая свое название от старинных ворот (Ньюгейт означает в переводе Новые ворота), у которых она находилась. В нее заключали обвиняемых на время разбирательства их дел в Центральном уголовном суде Олд Бейли (см. прим. ранее). О пребывании Дефо в этой тюрьме см. преамбулу к роману.

10

Брайдуэлл — замок в Лондоне, погреба которого с XVI в. были превращены в исправительную тюрьму. Это название стало нарицательным для обозначения тюрьмы вообще. В Брайдуэлле перед публикой секли молодых воришек.

11

Варфоломеевская ярмарка до 1855 г. устраивалась на территории Смитфилдского мясного рынка. В районе Смитфилд, у северо-восточной границы Сити, происходило в XVI в. сжигание еретиков. Форстрит, на которой родился Дефо, кончается в Смитфилде.

12

Ломбард-стрит — улица в Сити, где были сосредоточены конторы менял, ростовщиков и ювелиров. Название ее восходит к XIV-XV вв., когда на ней жили выходцы из Ломбардии (северная Италия).

13

Собор Сент-Мэри-Овери — одна из древнейших церквей Лондона. Толкование названия Овери двоякое: по имени девушки Мэри Овери, жившей па месте собора до его постройки, или от слов over rie, что означает «на воде». Первоначальное здание было построено в 1106 г., в 1212 г. оно сильно пострадало от пожара, но затем было восстановлено, и собор был объединен с соседним приходом. В настоящее время он входит в состав Саутуоркского собора — крупнейшего на южном берегу Темзы, невдалеке от Лондонского моста.

14

Биржа. — Здание Биржи, существовавшее при Дефо, сгорело в 1838 г. Современное здание находится на том же месте — в самом центре Сити.

15

Старый Бедлам был основан в 1247 г., а в XIV в. стал лечебницей для душевнобольных; находился на Бишопсгейт-стрит. В 1675 г. больница была переведена в новое здание на Мурфилде. «Бедлам» стал понятием нарицательным, означающим сумасшедший дом.

16

Темпл-Бар — каменные ворота, сооруженные в 1672 г. в конце Стрэнда и начале Флит-стрит, то есть между Вестминстером и Сити. На них выставлялись головы казненных. Снесены в 1878 г.

17

Уэст-Смитфилд — часть Смитфилда, находившаяся несколько южнее Смитфилдского рынка.

18

Сассекс — графство на юге Англии.

19

…по Монастырской — то есть мимо аркад, расположенных у церкви св. Варфоломея Великого, которая находится в восточной части Смитфилда.

20

Панкрас-Черч — церковь св. Панкратия находилась в северной части Лондона.

21

Тотенхэм-Корт — улица, которая в XVIII в. была самой западной в Лондоне.

22

Сент-Джайлз — приход св. Джайлза находился на севере Сити. Здесь, на улице Фор-стрит, родился Д. Дефо.

23

Челси — во времена Дефо пригород Лондона на северном берегу Темзы.

24

Боферт-Хаус — дом, стоявший на Боферт-стрит (в Челси), снесен в 1740 г.

25

Кенсингтон — во времена Дефо лондонское предместье с большим парком, где до середины XVIII в. находился королевский дворец. Впоследствии этот район вошел в черту города.

26

Олд Бейли — центральный уголовный суд. Находился неподалеку от Ньюгетской тюрьмы. Название получил от улицы Олд Бейли, на которой был расположен.

27

Хадслоу — в XVIII в. городок западнее Лондона, в настоящее время входит в состав Большого Лондона.

28

Чертей, Кингстон, Мортлэк — городки в графстве Саррей, к югу от Лондона.

29

Лондонская Степа — улица, составляющая северную границу Сити и проходящая вдоль древней стены, возведенной римлянами.

30

Суконный ряд — район севернее собора св. Варфоломея, где жили суконщики.

31

Уэйр — город к северу от Лондона, в графстве Хертфордшир.

32

Ройстон — город в том же графстве.

33

Бишоп-Стортсрорд — город, находящийся примерно на полпути между Лондоном и Кембриджем.

34

Фены — обширная болотистая местность в графствах Кембридж и Линкольншир. Она тянется на 70 миль с севера на юг и на 35 миль с востока на запад.

35

Сполдинг — город на реке Нин в центре Фенов, графство Линкольншир.

36

Дипинг — город недалеко от Сполдинга.

37

Эл — старинная мера длины, равная примерно 114 см, употреблялась главным образом для измерения тканей.

38

Грантам — город в графстве Линкольншир.

39

Ньюарк — город в центрально-восточной части Англии на реке Трент, графство Ноттингемшир.

40

Мансфилд — город в графстве Ноттингемшир.

41

Скарсдейл — город в графстве Дерби, расположенном западнее Ноттингемшира.

42

Йоркшир — самое большое графство Англии, расположенное на северо-восточном побережье.

43

Уэйкфилд — город в графстве Йоркшир, несколько южнее Лидса.

44

Твид — река, текущая из северной Англии в южную Шотландию и впадающая в Северное море.

45

Келсо — город в Шотландии.

46

Эдинбург — с XV в. столица Шотландии, расположен у залива Ферт-оф-Форт.

47

Лит — во времена Дефо город в Шотландии, ныне часть Эдинбурга.

48

Файф — город в восточной Шотландии.

49

Дугласовский полк — полк, носивший имя Джеймса Дугласа (умер в 1711 г), который принимал активное участие в присоединении Шотландии к Англии.

50

…купить себе офицерское звание… — До 1871 г. офицерское звание в английской армии являлось собственностью офицера, которую он имел право продать или передать другому лицу.

51

Данбар — город на восточном побережье Шотландии, у залива Ферт-оф-Форт.

52

Берик-на-Твиде — город в юго-восточной Шотландии.

53

…зачем нас посылают во Фландрию… — Их посылали во Фландрию, чтобы помешать Людовику XIV сделать ее аванпостом Франции. Территория Фландрии, которая теперь входит частями в состав Бельгии, Франции и Нидерландов, в течение нескольких веков была объектом англо-французской борьбы. В середине XVI в. она попала под власть испанской ветви Габсбургов. В результате войны за Испанское наследство (1701—1714 гг.), то есть за наследование испанского престола после смерти бездетного короля Испании Карла II, Фландрия, за исключением некоторых районов, отошедших к Франции и Нидерландам, перешла под власть австрийских Габсбургов.

54

Хаддингтон — город в Шотландии на левом берегу реки Тайн.

55

Шилдс — порт в графстве Нортумберленд на Северном море.

56

Виргиния — в 1607 г. была колонизована английской Виргинской компанией, в 1624 г. стала первой колонией английского короля на территории Северной Америки. В 1781 г. завоевала независимость, в настоящее время на ее территории расположены два штата — Виргиния и Западная Виргиния.

57

Мэриленд — с 1634 г. колония Англии. В 1788 г. стала седьмым штатом США.

58

Оркнейские острова — группа островов, отделенная от северной оконечности Шотландии проливом Пентленд-Ферт.

59

Потомак — река в Северной Америке.

60

Пенсильвания — территория в северо-восточной части Северной Америки. Получила название по имени Уильяма Пенна (1644—1718), которому в 1681 г. ее пожаловал Карл II, так как Англия была должна его отцу крупную сумму. У. Пенн значительно расширил территорию, скупая землю у индейцев. В 1712 г. он весьма выгодно продал Пенсильванию английской короне. Пенсильвания одной из первых приняла участие в Войне за независимость (1775—1783) и затем вошла в состав США.

61

Новая Англия — территория на северо-востоке Северной Америки, на которой после создания США находилось шесть штатов.

62

Здесь меня не называли Полковником Джеком, как в Лондоне, а просто Полковником и другого имени моего не знали.

63

Подобно Ною… — Здесь имеется в виду библейский эпизод опьянения Ноя (Бытие, X, 21)

64

Так обычно называют владельца плантации, во всяком случае, наши негры называли его так, поскольку он был видным человеком в стране и владел тремя или четырьмя крупными плантациями.

65

Напиться пьяным для негра все равно, что сойти с ума, потому что от рома они впадают в полное безумие и способны тогда учинить любое безобразие.

66

Патаксент-Ривер — город в Северной Америке на берегу Чесапикского залива.

67

Управляющий уже разгадал, в чем дело, и сказал ему так нарочно, чтобы проверить, что он сделает.

68

Управляющий понял, что он хочет просить вашу честь за меня, чтобы меня не повесили за оскорбление вашей чести.

69

Природа всех людей одинакова… — Дефо выступает с просветительской идеей, согласно которой все люди одинаковы, а пороки их — результат жестокого обращения с ними.

70

*** вызвали, и когда господин приказал ему рассказать, как они решили поступить с теми неграми, то есть что с ними делать и как наказывать их, он подтвердил все, что говорил Джек.

71

Вся земля, прежде чем ее превратят в плантацию, покрыта лесом из высоких деревьев, которые следует повалить и выкорчевать.

72

«История Рима» Тита Ливия. — Тит Ливий — знаменитый римский историк (59 г. до н.э. — 17 г. н.э.). Его «Римская история от основания города» доведена до 9 г. до н.э. Из 142 книг «Истории» сохранилось 35.

73

…история… короля Густава Адольфа… — Густав II Адольф (1594—1632) с 1611 г. король Швеции. С 1630 г. участвовал в Тридцатилетней войне (1618—1648) и одержал ряд побед над войсками германского императора; убит в битве при Лусене.

74

…история испанских завоеваний в Мексике… — Мексика была завоевана Испанией в 1519—1521 гг.

75

Воскрешать пережитое горе *(лат.)*.

76

«…чтоб, обеднев, не стал красть…» — Притчи Соломоновы, XXX, 9.

77

Перевод Г.Кружкова.

78

«Ты не много не убеждаешь меня сделаться христианином». — Деяния апостолов, XXVI, 28.

79

«…молил бы я Бога, чтобы, мало ли, много ли…» — Деяния апостолов, XXVI, 29.

80

«Боже, благодарю тебя…» — Евангелие от Луки, XVIII, 11.

81

…ни один волос не упадет с головы… — «…но и волос с головы вашей не пропадет». — Евангелие от Луки, XXI, 18.

82

«Разумеешь ли, что читаешь?» «Как могу разуметь, если кто не наставит меня?». — Деяния апостолов, VIII, 30—31.

83

…великой войной… — Имеется в виду война за Испанское наследство (1701—1714 гг.) между Францией и Испанией, с одной стороны, и Австрией, Голландией, Англией, германскими княжествами, с другой. Джек участвовал в этой войне на стороне Франции.

84

Зона промера — место в водном пространстве, обычно глубиной не более 600 футов, где можно производить измерение глубины лотом.

85

Английский канал — принятое в Англии название Ла-Манша.

86

Залив Сен-Мало — находится в Ла-Манше у северного побережья Бретани.

87

Пролив Святого Георга — находится между Ирландией и Уэльсом, соединяет Ирландское море с Атлантическим океаном.

88

Лимерик — город на реке Шаннон (Ирландия).

89

Клюзы — отверстия в борту корабля для пропускания кабелей, канатов и якорных цепей.

90

...намертво принайтовались к ним. — Принайтоваться — привязаться специальной морской веревкой — найтовом.

91

Бизань-мачта — задняя мачта трехмачтового судна.

92

Булинь-шпринтов — мачта на носу судна, наклоненная вперед.

93

Пиастр — старинная испанская серебряная монета.

94

Индиго — синяя краска, получаемая из сока растения индиго.

95

Пимиенто — испанский красный перец.

96

Остенде — гавань в западной Фландрии (ныне в северо-западной части Бельгии), в Па-де-Кале.

97

Испанские Нидерланды — часть Фландрии, принадлежавшая в XVI—XVII вв. Испании.

98

Гент — город на реке Шельде в восточной Фландрии (ныне Бельгии).

99

Принц Оранский — английский король Вильгельм III Оранский, сын наместника Нидерландов Вильгельма II Оранского и внук английского короля Карла I, правил с 1689 до 1702 г.

100

Ньюпорт — город на острове Уайт в Па-де-Кале.

101

Диль — порт на юго-востоке Англии на Па-де-Кале.

102

Даунс — рейд у порта Диля.

103

Гревская площадь — старинное название площади в Париже, на которой происходили казни преступников. С 1806 г. называется площадью Ратуши.

104

...перешла Рубикон... — Рубикон — небольшая река между Галлией и Италией, через которую в 49 г. до н.э., вопреки приказу сената, перешел со своими легионерами Цезарь и овладел Римом. В переносном смысле «перейти Рубикон» значит принять бесповоротное решение и осуществить его.

105

Тайберн — место публичных казней в старом Лондоне.

106

Диллонский полк — полк, носивший имя графа Артура Диллона (1670—1733), ирландского офицера, служившего во Французской армии. В 1690 г. Яков II отдал этот полк в распоряжение Людовика XIV. Диллон и его полк отличились во многих сражениях.

107

Атака на Кремону. — В 1702 г. итальянский город Кремона, где стоял французский гарнизон под командованием маршала Вильруа, подвергся осаде со стороны императорских войск (см. ниже) под командованием Евгения Савойского (см. прим. ранее), в ходе которой войска последнего проникли в Кремону и взяли в плен маршала, но потом вынуждены были оставить город.

108

Герцог де Вильруа Франсуа (1644—1730) — маршал Франции, проявивший себя ловким придворным и бездарным полководцем.

109

Императорская армия — в войне за Испанское наследство состояла из войск Англии, Голландии, Австрии, Дании, германских княжеств, Португалии, Савойи.

110

Филипп де Комин (1445—1509) — французский государственный деятель и историк, автор мемуаров, содержащих интересный материал об эпохе французских королей — Людовика XI и Карла VIII.

111

Битва при Монтлери — произошла в 1465 г. между войсками Людовика XI и союзом крупных феодалов. Битва не принесла решительной победы ни одной из сторон.

112

Савона — итальянский порт на Генуэзском заливе.

113

Алессандрия — город и крепость в Пьемонте (Италия) на реке Танаро.

114

Пистоли — старинные испанские, мексиканские, португальские и бразильские золотые монеты различного достоинства.

115

Принц Водмон — один из представителей знатной семьи, которой до XVIII в. принадлежала Лотарингия.

116

Король Филипп — король Испании Филипп V (1683—1746), внук Людовика XIV, занимал испанский престол (1700—1746 гг.) благодаря победе своего деда над австрийским домом Габсбургов в войне за Испанское наследство.

117

Мантуя — город и крепость в северной Италии, центр герцогства Мантуанского, которое в 1708 г., в ходе войны за Испанское наследство, стало австрийским владением.

118

Граф де Тесс Рене (1650—1725) — маршал Франции, как полководец играл важную роль в войне за Испанское наследство.

119

Герцог Вандомский — герцог Луи-Жозеф Вандом (1654—1712), выдающийся французский полководец; активно способствовал утверждению Филиппа V на испанском престоле.

120

Кампания 1701 года — серия сражений между французскими и австрийскими войсками летом и осенью 1701 г.

121

Принц Евгений Савойский (1663—1736) — выдающийся полководец. Француз по происхождению, сначала служил Франции, но потом, оскорбленный Людовиком XIV, перешел на сторону Австрии. Одержал ряд блестящих побед над французами в ходе войны за Испанское наследство.

122

Битва при Карпи. — Карпи — город в северной Италии, до 1806 г. входил в герцогство Моденское. В битве при Карпи французы отступили перед войсками германского императора.

123

Катина Никола (1637—1712) — маршал Франции. В начале войны за Испанское наследство командовал крепостью Мантуя.

124

Риволи — город в северной Италии на реке Адидже.

125

Кьяри — город в Ломбардии (северная Италия).

126

Принц Коммерси — один из представителей знатной семьи, владевшей крупными угодьями в герцогстве Лотарингском.

127

Бершелло и Боргофорте — города в северной Италии, немного южнее Мантуи.

128

Луццара — небольшой город в северной Италии на берегу реки По.

129

Ривальта — местечко на реке Скривия (княжество Пьемонт, провинция Алессандрия). Впоследствии стало составной частью города Тортона (северная Италия).

130

Генерал Висконти — граф, представитель знатной миланской семьи.

131

Тичино — река, текущая из Швейцарии в северную Италию и впадающая в По.

132

Генерал Эрбвиль — представитель старинной семьи потомственных военных из Нормандии.

133

Карабинеры — пешие и конные войска, вооруженные карабинами — короткими ружьями, заряжаемыми с дула.

134

Кирасирские полки — кавалерийские части, состоящие из солдат, носящих кирасы — грудные и спинные металлические латы.

135

Маркиз де Креки (1662—1702) — французский полководец. Убит в битве при Луццаре.

136

Французский король. — Здесь имеется в виду Людовик XIV.

137

Кавалер ордена святого Георга. — Так называли Якова Стюарта (1688—1766), сына короля Англии Якова II, низвергнутого в 1688 г. в ходе так называемой «славной революции», совершенной правящими классами, с престола и изгнанного из Англии. Яков Стюарт, прозванный Претендентом, несколько раз пытался завладеть английским престолом.

138

«Бык и глотка» — название таверны, находившейся в северо-западной части Сити, на месте теперешнего главного почтамта.

139

Дословно: «Поглядим в Лилле» *(франц.)*.

140

Ливр — старинная французская серебряная монета достоинством в 20 су, в 1795 г. была заменена франком.

141

«Прочь, бесстыжая!» *(франц.)*

142

…владения герцога Лотарингского… — С 945 г. Лотарингия была разделена на Верхнюю и Нижнюю. Верхняя Лотарингия до 1736 г. управлялась герцогом, затем была передана бывшему королю Польши Станиславу I, а в 1766 г. перешла к Франции.

143

Отец *(итал.)*.

144

…не хорошо быть человеку одному… — Библия, Бытие, 11, 18.

145

Валлоны — народность, населяющая южную и юго-восточную части Бельгии и прилежащие районы Франции.

146

Проливы. — Имеется в виду пролив Отранто, соединяющий Адриатическое море с Ионическим.

147

Остров Занте — находится в Ионическом море.

148

Папистские страны — страны, население которых принадлежит к католической церкви, подчиненной папе римскому.

149

Престон — порт на реке Рибл в центральной Англии, в Ланкашире (см. прим. ранее).

150

Лорд Дервентуотер Джеймс (1689—1716) — сторонник династии Стюартов, казнен после капитуляции в Престоне, перед казнью подтвердил свою верность католицизму и делу Стюартов.

151

Замок Честер — находится в графстве Чешир на западном побережье Англии.

152

…вне владений короля. — Имеется в виду король Англии.

153

Острова Невис и Антигуа — входят в группу Малых Антильских островов, принадлежащих Британии.

154

Топ стеньги — верхний конец вертикального бруса, наращиваемого на мачту и составляющего продолжение ее в высоту.

155

Король Георг I — правил с 1714 по 1727 г.

156

…во владения короля Испании. — Куба до 1898 г. была испанской колонией.

157

Длинные лодки *(исп.)*.

158

Его католическое величество — титул испанских королей, дарованный впервые папой Александром VI королю Фердинанду Католику в 1491 г.

159

Вице-король Мексики. — С 20-х гг. XVI в. до 1824 г. Мексика была испанской колонией, верховным правителем которой был вице-король.

160

Веракрус — порт на Мексиканском заливе.

161

Лига — в английской системе мер обычно равна трем морским милям; морская миля равна 1852 м.

162

Новая Испания — испанские колонии в Америке.

163

Галеоны — парусные суда, которые в XVII—XVIII вв. курсировали между Испанией и ее американскими колониями для перевозки золота и товаров.

164

Южные моря — южная часть Тихого океана или моря, расположенные южнее экватора.

165

Сэр Уильям Фипс (1651—1695) — родился в Новой Англии; был пастухом, стал коммерсантом; заручившись финансовой помощью английского Адмиралтейства, дважды предпринимал попытку поднять со дна затонувшее у Багамских островов испанское судно; вторая попытка увенчалась успехом — судно, на котором было 300 000 фунтов стерлингов, было поднято, деньги были разделены между Фипсом и Адмиралтейством.

166

Курс вест-тень-зюйд — курс судна по морскому компасу, проходящий посередине между направлением точно на запад и направлением запад-юг-запад (вест-зюйд-вест).

167

Сан-Хуан д'Ульва — старинная мексиканская крепость на островке около Веракруса.

168

Картахена — порт в Колумбии (Южная Америка), до 1819 г. принадлежавший Испании. Расположен в Карибском море.

169

Кошениль — красная краска кармин, вырабатываемая из высушенных насекомых кошениль, которые водятся в Мексике.

170

Драгет — полушерстяная, полульняная ткань.

171

Камка — ткань типа дамаста: на гладком фоне вытканы узоры.

172

…изречь, подобно Иову: «Я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». — Библия, Книга Иова, XLII, 6.

173

Престонское восстание. — 9 ноября 1715 г. повстанцы — сторонники Якова Стюарта, вошли в Престон и объявили претендента королем Англии, но 14 ноября они были вынуждены сдаться правительственным войскам.